Из дневников и записных книжек

Эммануил Генрихович Казакевич

SHOUT
SHARE
IT

- Эммануил Генрихович Казакевич
  -
  -
  -
  - 1944
  - КОММЕНТАРИИ (Л. Гладковская)

Эммануил Генрихович Казакевич
Из дневников и записных книжек

В последний том 3-томного Собрания сочинений Эм. Казакевича вошли произведения, написанные автором в последние годы жизни: повесть "Синяя тетрадь", рассказы "При свете дня", "Приезд отца в гости к сыну" и очерки "Старые знакомые", "Ленин в Париже". Значительную часть тома составляют извлечения из дневников и записных книжек Казакевича, которые он вел с 1948 по 1962 г. Они передают широкую историческую и социальную панораму этого периода и приоткрывают творческую лабораторию писателя.

20. I.1948 г.

Сегодня получил письмо от Л. Брик: сестре ее, Эльзе Триоле, и Арагону понравилась «Звезда», они переведут ее для журнала «Europe». Просят мою биографию, "кажется, необычную". Странное и неприятное впечатление произвела почтовая марка на письме — с портретом Маяковского, словно визитная карточка. Вероятно, у нее огромный запас этих марок.

Сегодня утром закончил пятую главу «Старкова». Быстрота, с которой пишется эта вещь, — поразительна.

7. VI.1948 г., Рига.

Читаю первые части "В[есны] в Е[вропе]". Может быть, и неплохо, но не для меня. Типичнейшая беллетристика за редким исключением. Таня, несмотря на все, противна. Кажется, я взял на себя задачу не по силам. Не чувствую в себе изобилия творческих сил.

Здесь миленький приморский курорт — под немецкие балтийские курорты, но сортом пониже. Я снял номер в гостинице в Майори. И хотя тут тихо, солнечно и одиноко — но не пишется, и мыслей в голове нет, и чувство собственного убожества угнетает душу.

В романе — сумбурное, произвольное смешение красок, лиц, наречий. Нет строгих линий "Двое в степи", нету и поэтичности «Звезды». Неэкономность, расплывчатость, детали заслоняют целое. Замысел — какой-то нищий, композиция не ясна мне самому еще, хотя что-то и предполагалось вначале.

Море здесь (Ostsee) — серенькое, совсем не похожее на южные моря. Пляж, однако, хорош — песок. В море не видно пароходов и парусников. Отсутствие скал и гор лишает море

величия и грандиозности, свойственных Черному морю. И самое странное, почти чудовищное для человека средних широт — сосны у самого моря! Как русский на Таити.

9. VI.1948 г., Рагациемс.

А вот теперь я в латвийской рыбачьей деревне. Это очень разбросанная, хуторского типа, деревенька на самом берегу Ostsee. Я называю это море Ostsee, а не Балтика, потому что второе для нашего уха звучит Петроградом и Кронштадтом, наконец — Вс. Вишневским. Здесь же колорит (…) свинемюндевский и рыбацко-контрабандный (…)

Я сегодня катался на лодке с молодым рыбаком Илмаром. Море становится глубоким на очень далеком расстоянии от берега, и еще с километр можно ходить по морю, не замочив колен. Это очень удобно для детей и для Иисуса Христа, которому здесь было бы особенно легко ходить по волнам в открытом море. (Шлиссельбуржец Н. Морозов мог бы на этом основании совершить переворот в истории, открыв, что местом действия Евангелия было юго-вост[очное] побережье Балтийского моря.) (…)

Тут не мечтают о будущем, о счастье многих, наконец, — о своем личном возвышении, выдвижении, карьере. Нет, — мечта об одном: чтобы все осталось по-прежнему. Чтобы налоги были не слишком высоки. Чтобы никого не выселяли. Чтобы рыбы было столько же или даже больше, ежели возможно. Чтобы и не богатеть даже особенно, поскольку это не так просто, а чтобы не беднеть. Чтобы спокойно прожить жизнь. Сбою жизнь.

Во всем этом, пожалуй, есть своя прелесть. Конечно, тут и страсти какие-то кипели, но страсти глубоко личные, никак не общественные, породившие в литературе XX века Гамсуна, Банга и др. Это литература зрелого капитализма, стремящегося не скользить далее, ибо далее пропасть, революция, катастрофа.

Ленинград, 13 июня.

(…) То, что я в Ленинграде, несказанно меня волнует. С.-Петербург, Питер 1917 года, Ленинград 1941–1943 годов, все это вместе и каждое в отдельности живет в этих камнях.

Я сегодня много бродил по городу, видел Казанский собор с Кутузовым и Барклаем, Зимний дворец, Исаакий, Адмиралтейство, Сенат, Главный штаб, Александровскую колонну, Николая I, Екатерину и, наконец, Петра, Медного всадника. Конечно, все это прекрасно и странней всего то, что это точно такое, как описано в книгах. Предстоит белая ночь.

Здесь жили Пушкин, Достоевский и Гоголь. И все непохоже на

правду.

Приятно оставлять такие впечатления на зрелые годы. Нельзя в юности все перечитать и пересмотреть — первые впечатления нужно и на после оставлять. Мне предстоят еще удовольствия: Кавказ, мусульманская Азия, «Идиот» Достоевского. Теперь же я упиваюсь удовольствием, имя которому С.-Петербург — Ленинград (…)

14. VI.1948 г.

От Луги до Ленинграда все перерыто и перекопано старыми траншеями, заросшими травой, завалено ржавой проволокой и спиралями Бруно, уставлено танками — нашими и немецкими, — разбитыми, раздетыми. Развалины маленькими кучами лежат на равнине, как капища языческих идолов. Как раз в момент прохода поезда, на лугу, в километре от железной дороги разорвалась мина и черный (знакомый!) столб дыма поднялся к небу, затем до поезда донесся глухой, короткий звук взрыва. Мы так и не успели разобрать, кто виновник этого происшествия — меланхолическая корова, глупая собака или мальчик, игравший на лугу. Война еще вокруг, хотя все забыли о ней (…)

___

"Весна в Европе" — роман о советском человеке, гвардии майоре Сергее Петровиче Лубенцове. Он прошел огонь, воду и медные трубы. Разведчик, воин, поэт и мыслитель — вот кто такой майор Лубенцов, если хотите знать. Он трижды умирал и трижды воскресал из мертвых. Чувство собственности чуждо ему уже. Долг для него — прежде всего. Он имеет трех братьев, из которых один — генерал-артиллерист, другой — капитан-танкист, третий мастер завода на Урале.

Хотя он кадровый офицер, но не кастово ограниченный, как его помощник Антонюк, а человек мыслящий, сильный, добродушный и прямой, полный интереса к людям и событиям.

Второй герой романа — капитан Сердюк. Это человек ограниченный, живущий настоящим днем, политически необразованный, служака. Он имеет много благородных, прекрасных черт, свойственных русскому человеку. Он храбр, бесшабашен, полон играющих сил. Вторжение в Германию, освобождение Европы заставляет его понять роль советского человека, воина армии-освободительницы. Он начинает понимать свою историческую миссию (…)

___

Итак, началась литературная моя деятельность. Две

маленьких лодочки пустил я в море, и они, удаляясь, теряются в туманном море, становятся уже не моим достоянием, а достоянием волн играющих и ветров бушующих. Два крошечных паруса еле виднеются в безграничной пучине, но пучина требует меня всего. И вот я как неопытный пловец стою на скалистом берегу, готовый к прыжку в пучину. Страшно и сладостно стоять так на открытом ветру.

(К РОМАНУ "ВЕСНА НА ОДЕРЕ")

Унизительная дрожь перед начальством (чувство Кекушева) и поэтому — в качестве компенсации — желание вызвать эту же дрожь у подчиненных.

___

Для того, чтобы быть чем-то для кого-нибудь, надо быть чем-то и для себя самого. Надо верить в себя и надеяться на себя, только тогда можно понадеяться на других.

___

Этот человек — вроде английской транскрипции: читается совсем не то, что пишется.

(2-я половина июня 1948 г.)

Не убили ли популярность, всеобщее признание и далеко идущие надежды людей на меня мою поэзию — робкий цветок, только изредка высовывающий благоуханную голову из-под сумятицы временных и скоропреходящих слов? Я словно опустошен. "Оправдать надежду" — не значит ли это уже превращение во многом стихийного творческого процесса в сознательное ремесло? Тут нужны огромные творческие силы и мужество, чтобы стать выше всего и идти своей дорогой в одиночестве. А ведь путника тянет на огонек, на теплый очаг и ласковое слово. А цель так далека, так неверна, и неизвестно существует ли она вообще и станет ли сил, чтобы дойти. А не дойти хоть на сантиметр — это все равно, что не начинать вовсе свой путь.

За окном дождь, а в Москве 36° жары.

"Крик о помощи" — повесть о гетто, но о гетто с точки зрения русского человека, советского офицера.

Это умница, мудрый разведчик, тайный поэт.

13.9.48 г., Одесса.

Конечно, это превосходный город. И не внешностью своей, хотя и она хороша. И даже не морем, которое здесь очень сужено

мысом и разными портовыми сооружениями. Хороша Одесса своими людьми. Они жизнерадостны, на улицах многие смеются, старые и молодые. Одеты просто, но хорошо, прилично. (…) Южный огонек, темперамент, услужливость, разговорчивость, отменная вежливость — здесь достояние всего народа. Хмурая замкнутость севера тут не в почете. В этом — облик этого города, созданного французом и обжитого южанами (…)

(Октябрь 1948 г., с. Казацкое.)

Нужно твердо усвоить, что «Звезда» и "Двое в степи" хороши только на фоне нынешней литературы, а так это вещи средние, даже — строго говоря слабые. Я ничего еще не сделал, и моя некоторая популярность среди читающей публики основана только на том, что другие вещи — еще хуже. Необходимо это понять твердо и искренне, иначе мне угрожает столь распространенный теперь в литературе маразм. Во мне есть многое из того материала, который может составить крупного писателя: любовь к людям, страстность, такт. Но еще многого нет. Надо трудиться, трудиться без устали, самозабвенно, с энергией Наполеона или Гракхов — на почве литературы. Тогда может что-нибудь выйти. И надо жить с народом, среди народа. Не дай бог отяжелеть.

29.12.1948 г.

Кончается 1948 год, через два дня наступит новый. Мой годовой план далеко недовыполнен: даже роман не закончен, а пьеса только начата, и две маленьких повести существуют только в голове. Однако год был не малого для меня значения. «Двое», вопреки надеждам, поставили меня в положение неприятное — не для самолюбия, оно тешилось немало, — для материального благополучия, которое нужно, чтобы завершить роман. И эта история научила меня ожидать всего, а без этого нельзя писать. Она измотала нервы, но укрепила характер. Роман я начал перерабатывать до критики «Двоих», и сделал это не для того, чтобы приспособить Лубенцова к критике, а для того, чтобы сделать его лучше. Он имел хороший, сильный, музыкальный ритм, но не имел ритма жизни. Толстой чем силен? Кроме прочего, тем, что овладел в своих писаниях ритмом жизни. В жизни есть более и менее важное: писатель, описывающий только менее важное, — бульварный беллетрист. Писатель, описывающий только более важное, — обманщик: он искажает жизнь. Он берет ее в главных чертах, а жизнь нельзя брать только в главных чертах. Во-первых, рискуешь ошибиться, приняв за главное не очень главное. Во-вторых — авторский произвол в

выборе главных черт, как и всякий произвол, не соответствует течению жизни. Создает ритм, но это не жизненный ритм, а ритм литературный, олитературенный, ритм Гюго, а не ритм Толстого. Первый тоже законен или — вернее — узаконен в литературе. Но это — устарело, это не завтра, а вчера. Опоэтизировать обыкновенное, а не выискивать среди обыкновенного поэтичное — вот, кажется мне, верный путь, который я назову путем Толстого (Стендаля и некоторых других).

В первом варианте я опускал второстепенное. Этого делать нельзя, это нарушает ритм жизни, в которой нет второстепенного.

Моя работа над новым вариантом — поиски второстепенного, подробностей, искание ритма жизни.

Первый вариант был как воздушный шар, наполненный недостаточным количеством газа. Да, он не влачился по земле, но и не мог улететь далеко от земли. Он находился от земли метрах в трех, в четырех. Это не полет. Я наполняю этот шар газом — жизненными подробностями. Понемногу он получает округлую, сферическую форму, форму жизни и, надо надеяться, полетит. Не совсем только ясно, что это за шар — детский шарик или настоящая махина. Но это уже от меня не зависит — это талант.

При этом может не раз оказаться, что это второстепенное и является главным, а бывшее главное отходит на второй план. Тем лучше — значит, станет сильнее и то, и другое.

Если говорить о влиянии критики «Двоих» на работу над романом, то оно выразилось только в том, что я больше сомневаюсь, а значит, и больше мучаюсь, тружусь, борюсь с материалом. Ergo — влияние положительное в конечном счете. И любовь ко мне читателей, и настороженность руководителей имеют одно следствие: страстное мое желание, оставаясь самим собой, остаться своим и для тех и для других. Посмотрим в дальнейшем, возможно ли это? Уверен, что возможно, нужно и так оно будет.

(К РОМАНУ "ВЕСНА НА ОДЕРЕ")

Лубенцов — активная ненависть к человеческому злу и к недостаткам, нетерпимость к ним, олицетворяющая молодость строя. Он не дошел (и, может быть, слава богу, не дойдет) до расслабляющего философствования насчет невозможности бороться с этим: основа — позитивная философия, вера во всесильность науки и человеческой воли, немножко наивная вера.

———

Садясь за стол, Сердюк сказал, улыбнувшись:

— У меня в роте столько же народу, сколько христовых

апостолов, только, слава богу, нам сегодня обещают дать пополнение.

Ему вдруг стало жгуче-радостно от того, что его артиллеристы узнали его, и от того, что им наплевать на то, еврей он, или таджик, или русский — он был просто их товарищ, ставший их командиром потому, что знал больше, чем они. И от этого неожиданного, ни разу так ясно не пережитого чувства равенства он радостно задрожал, как может радостно задрожать (затрепетать) рыба, брошенная с песчаного берега в прохладную реку.

Сливенко с удивлением подумал: и Пичугин был когда-то ребенком светловолосым, улыбчивым, с маленькими ручками. А вырос — вот каким прохвостом стал…

16 июля с 15 до 20 часов Гитлер, Геринг, Кейтель, Розенберг и Борман обсуждали, что делать дальше с Советским Союзом. "Только немцы будут носить оружие!" Выпив кофе, стали назначать гаулейтеров. (В Москву — г-на Каше.)

"После пятинедельных операций можно сказать, что цель, вероятно, будет достигнута нами ранее намеченного срока" (письмо Гитлера Антонеску 27 июля 1941 г.).

Какой огромный путь прошло человечество от человекообразной обезьяны до прусского генерал-лейтенанта.

Плотников — доктор исторических наук. Может быть, он единственный из всех, стоящих теперь у Эльбы ("В равнинах, где Эльба шумит" — вспомнил он Лермонтова), знал, что победа еще полпобеды, что перед Родиной и перед миром стоят немалые испытания, что людям придется многое еще понять и победить. Но он знал также, что надо всем будет сиять эта победа. И что справедливость имеет скверную и светлую привычку: скрыться, чтобы потом воссиять.

Жизнь немцев в то время, как тысячелетняя империя капитулирует. Быт, немки, немцы. Жизнь идет своим чередом. Народ понимает, что многое ему придется пересмотреть, многое обдумать. Дай бог ему ума и понимания!

(Без даты.)

Дети думают о своих родителях, что они управляют жизнью и что они всесильны, умны, все знают, понимают и т. д. Потом оказывается, что они (родители) подлецы, сволочи, жулики, нечестные, если они даже честные, благородные, то беспомощны противостоять невежеству и злу и только больше страдают от сознания своей беспомощности и от того, что зло и невежество существуют и что его много.

21.4.1949 г.

Может быть, мой роман будут хвалить, и я сам, обманутый похвалами, решу, что он на самом деле хорош. На этот случай я записываю эти строки.

1) Роман мой имеет много хороших частностей, и в нем передана а т м о с ф е р а тех дней. Но он не имеет главного: г е р о я. Я разбил одного героя на две части: Лубенцов слишком голубоглаз; Чохов — испорчен мной сознательно (для напечатания). Героя настоящего нет. Лубенцов — герой в зародыше, он слишком интеллигентен и не совершает ничего геройского. А военный герой обязан быть героем как таковым.

Чохов — герой как солдат, но не герой как человек. Поэтому роман лишен настоящего стержня. В погоне за пестротой и красочностью упущена возможность создать сложный и великий образ на сложном и великом фоне. Это великий недостаток, и теперь уже непоправимый, так как срочно нужны деньги.

2) Линия полковника Кекушева уязвима вдвойне: с идейной и художественной стороны. С идейной — потому что человек на большом посту отвратителен здесь, с художественной — потому что и идейная сторона заставляла меня быть беспрестанно начеку, осторожным, боязливым. И фигура отвратительная превратилась в фигуру жалкую. Потеряна поэтому сама причина ее написания.

3) Кое-что висит в воздухе (…) Люди введены неизвестно зачем, только потому, что такие были и могли быть. Это Антонюк, Мещерский, Никольский, Вика, частично Плотников. Они все необязательны.

4) Стрелки — хороши, разведчики — плохи. Причина, вероятно, та, что «Звезда» уже написана, и не хотелось повторяться. Но разведчики слабо написаны здесь. Следовало Лубенцова и Чохова сделать о д н и м человеком — командиром строевой роты (без изъянов, но с твердым веселым характером), разведчиков не давать вовсе. История Маргарет происходит с Лубенцовым (без влюбления с его стороны).

23. VI.1949 г.

Вчера, 22 июня 1949 г., кончил, наконец, роман. Миг вожделенный настал. Кончил и еще раз пришел в ужас от его недостатков. Их чудовищно много. Многие люди начаты и не кончены, повисли в воздухе; разведчики бледны даже по сравнению со «Звездой» и не вызывают ничего, кроме глухой досады. Главное половинчато. Негативное — трусливо.

Я очень устал. Если бы не деньги, я бы не печатал роман теперь, а поработал бы систематически над ним — часа два в

день, над углублением людей и завершением лепки сюжета.

Завтра сдаю, иначе нельзя.

Что-то оно будет?

Обет: если роман напечатают и он будет иметь успех (всяческий) уехать в глухие места, вести скромную, трудовую (литературно и физически) жизнь, изучать природу и простых людей и углубить свой талант, который недостаточно еще глубок. Писать просто, проще, чем теперь.

27. I.1950 г., Кисловодск.

План 1950 года:

1. Написать рассказ "Человек, пришедший издалека".
2. — " — повесть "Крик о помощи".
3. Закончить «Колумба».
4. — " — «Моцарта».
5. — " — пьесу о Германии (?)
6. Думать об эпопее.
7. Делать заметки о колхозной деревне (имея в виду "Письма из колхоза" и др. рассказы).
8. 4-я часть "В. на Одере" (?)

Писать только хорошо.

9. V.1950 г., Ленинград.

Я в гост[инице] «Астория», и за окном Исаакиевский собор, а за ним Медный всадник, к[ото]рого я еще в этот приезд не видел. И странно подумать, что стоит мне выйти из гостиницы, и я увижу Медного всадника, Сенатскую площадь, Неву.

9 мая — День Победы. В этот день тысячи ленинградцев шли на братское кладбище — место погребения умерших в блокаду.

Я зашел в пивную. Два инвалида и слесарь-водопроводчик — старые ленинградцы — пили пиво и вспоминали войну. Один плакал, потом сказал: Если будет война, я опять пойду (…)

Осматривал Алекс[андро]-Невское кладбище. Здесь: Чайковский, Ломоносов, Стасов, Глинка, Бородин, Балакирев, Римский-Корсаков, Рубинштейн, Мусоргский, Карл Росси, Даргомыжский.

Суворов лежит в соборе.

Петропавловская крепость. Саркофаги русских императоров: Петр и все остальные — белый мрамор, Александр II с супругой — малахит. Николай II отсутствует.

Грандиозный иконостас.

В соборе холодно и светло. И очень буднично поэтому. Таинственности ни на грош.

Один из героев должен испытывать боязнь высоты. Нужно

описать это паническое чувство — глупое, нелогичное, и зависть к другим людям женщинам, детям, спокойно идущим по кромке обрыва.

Если подумать, то я вовсе не беллетрист. В сущности говоря, я насилую себя, пиша беллетристику. Лучше было бы — суховатую прозу, полную мысли, углубленную, бессюжетную. Только лишь ощущение читателя заставляет писать то, что пишу я.

Женщина имела стройное тело, сильные полные ноги, выше которых угадывались очень теплые бедра, а лицо уже было усталое, глаза — потухшие. Ей было вовсе не до баловства, и она удивилась бы, узнав, чего от нее хотят.

Нужно научиться изображать женскую внешность, это очень важно.

Тая Григорьевна. Странно видеть пожилую одесситку в Ленинграде. Все время кажется, что она долго дрейфовала, продвигаясь от Черного моря на север и, наконец, остановилась у Балтийского.

Он пел всегда: "Мы кузнецы, и дух наш молот". Ему не приходило в голову, что дух может быть молод.

(После 9.5.1950 г.)

Ленинград, гостиница «Астория».

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мысль о создании этой книги (или, вернее сказать, серии книг) пришла мне в голову неожиданно и, придя, ошеломила меня. Ошеломила своей дерзостью, грандиозностью замысла. Потом испугала невероятным обилием трудностей различного порядка, среди которых немалое место занимает цензура строгая* (* Хотя и справедливая (примеч. автора).). Но, отдавая себе полный отчет во всех этих трудностях, я уже, сам того не зная, был в плену категорического императива. Случайная задача стала казаться неслучайной, нужной, ценной, необходимой, наконец неизбежной, неотвратимой, как сама смерть. Я говорил себе:

1) Не надо! Это — 12 лет жизни. Это — беспрерывное, на всю жизнь копание в старых газетах, бумагах, книгах. 2) Не следует: это — ковыряние в исторических фактах, о которых я не могу иметь суждения ввиду недоступности почти всех подлинных материалов. 3) Нельзя — объективность тут так же опасна, как и яростная субъективность — первая фальшива, вторая — неубедительна. 4) Брось — куда тебе справиться с задачей, которая по плечу людям типа Толстого, Бальзака, Золя. 5) Гляди — ты можешь ошибиться самым роковым для писателя образом — ты мастер в новелле, делай то, что ты умеешь делать наиболее

хорошо, не увлекайся заманчивым, но обманчивым желанием охватить все, что ты знаешь.

Но жгучее стремление быть творцом в большом смысле слова — т. е. создать целый гармонический мир, а не детали мира — это стремление победило все. Количество переходит в качество. Количество — тоже качество. До изнеможения боролся я с этим, но не смог побороть.

Поборотый, я хочу немногого. Пусть эта книга станет настольной книгой моего поколения, пусть она будет художественным учебником революции, пусть по ней будущие люди увидят и оценят всю нашу боль, всю нашу радость такую боль и такую радость, какие немногие поколения знали.

31.7.1950 г., Глубоково.

Я все тщусь писать о других, а иногда так хочется писать о себе. Но это — потом, в старости, которая уже не за горами. Трудно — о себе, потому что мне, не так как другим, приходится отсечь очень многое в детстве и юности (…) В одной жизни — много перевоплощений, не очень обычные перемены. Но все это — потом.

А теперь — главное: собрать силы для написания самого главного эпопеи, энциклопедии советской жизни за 25 лет, с 1924 по 1949/50. Это огромный, может быть, не по силам труд, но я должен совершить его и, надеюсь, совершу.

Это — большой, гигантский роман, в котором вся наша жизнь, главные и второстепенные ее стороны должны найти отражение — верное, объективное.

Итак, время — 1924–1949.

Объем — 240–250 авторских листов, 5000 страниц (…)

Место — Москва, деревня Владимирской области, завод старый (Сормово?) и новый (Магнитогорск? Автозавод им. Сталина?), фабрика (Вязники?), Ленинград, Киев, Одесса, Крым, ДВК, Германия, Польша, Китай, Венгрия.

Круг героев: крестьяне, рабочие, интеллигенты, писатели, дипломаты, офицеры, генералы, солдаты Сов[етской] Армии, нэпманы, студенты, партработники, хозяйственники.

Главный герой — советский народ, страдающий, побеждающий.

24. IX.50, Глубоково.

Ничего *изящного* не будет в моей книге. Это будет жизнь — с ее радостями и тяжестями. Оборони меня боже от изящного.

Вечерняя и утренняя заря — в шалаше с подсадными утками

и чучелами.

Четыре утки. Моя самая крикливая. Почему она кричит все время? Ей больше, что ли, хочется селезня, чем другим? Не поэт ли она среди уток? Да, по-видимому. Чуть чернея на белом фоне сумеречной осени, она кричит то в глубоком отчаянии, то полная надсадной радости или тоски. Вот она замолкнет на минуту, потом скрывает голову в воде и плещется там, полная дум о самоубийстве, но дружественная ей стихия не признает жертвы. Тогда она в ужасе начинает хлопать крыльями.

Наконец появляется селезень. И тут выясняется, что эта фрейдистка столько шумела только по причине похоти. Но не грубо ли это? В похоти ль только дело? Не лучше ли сказать, что это — тоска о счастье?

И тут раздается выстрел.

15.11.1950 г.

(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")

Старик все время хвастает: "Тут было поместье графа Сергея Дмитриевича Шереметева. Всюду были расставлены дощечки: "Охота воспрещается". Мне раз мальчишкой влетело от людей его сиятельства! Сколько тут было дичи — лосей, барсуков и т. д. А стрелять не позволяли. Сергей Дмитриевич был на этот счет строг…" Он говорит о графе с благоговением и о притеснениях — также. Сын молчал, молчал, наконец не выдержал: "Нравится рабская жизнь, а, папа? Приятно вспомнить?.."

(Конец 1950 г., дер[евня] Глубоково.)

На колхозном собрании выступает старушка, которая говорит, что "не даете нам на обе ноги стать. На одной стоим, на другую никак не станем".

Главная обида колхозниц, когда им говорят: "Плохо работаете". Этим они возмущаются больше всего. "И мы были не из последних, — говорит пожилая женщина с видом оскорбленного достоинства, — да вот нет руководства. 20 председателей сменились за эти годы" (вспоминает фамилии председателей, ей активно помогают вспоминать из публики).

(Конец 1950 г.)

Все шло внешне нормально. Были дети, служба, интерес к людям. Но в то же время — страх, что распадется связь, что все неверно и связано гнилыми нитками, и вот-вот все распадется, и пойдет по швам разлезаться.

(1950 г.)

Вы любите положительных героев. Я тоже. Но вы сплошь и рядом принимаете процветающих героев за положительных героев. Между тем (даже у нас) чаще всего бывает наоборот

(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")

Начало — зима 1924 года. Крестьянский парень по командировке комбеда приходит в Москву учиться. Мальчик выдающихся способностей. Отец — кузнец, бедняк, но консервативных взглядов.

Учеба в Москве. Рабфак. Полуголодное существование.

Действуют:

1. Иван Рысаков — рабфаковец, рабочий, 35-тысячник, партработник
2. Алексей Татьяничев — " рабочий, мастер, инженер, директор завода (Урал)
3. Павел Татьяничев — бес*(призорник)
4. Сеня Зубиков — беспризорник, трудколония, армия, арест, армия (война, полковник)
5. Петр Зубиков
6. Ленин
7. Сталин
8. Маяковский
9. А. Толстой (граф)
10. Станиславский
11. Мейерхольд — Пастернак (под именем…)
12. Есенин
13. Ворошилов
14. Молотов
15. Каганович
16. Микоян
17. Валя Груздева
18. Зоя Снегина
19. Сима Гуревич
20. Борис Гуревич
21. Горшков — коммунист, пред[седатель] колхоза
22… - судья
23. Фадеев
24. Витя Бирюков (из Вязников, летчик, Герой Сов[етского] Союза)
25. Чкалов (под др[угим] именем)
26. Дегтярев (или Лавочкин)*
27. Клюева и Роскин
28. Жуков
29. Твардовский

30. Давидович
31. Лейвик
32. Андре Жид
33. Горький
34. Роллан
35. Е. }
36. Я. } вредительство
37. Сычев
38. Моисей (величие и падение)…
39. Дядя Леня и его сын
40. Рапповцы
41. Рамзин или Туполев
42. Микулин (?)*
43. Ген. Королев — Женя — Советова — майор
44. Нем[ецкий] антифашист — Zux, парт[ийная] работа в армии
45. Димитров
46. Рискинд
47. Носов (директор комбината)
48. Хавкин (вождизм)
30
x
8

_____

240 п. л.

Т о м п е р в ы й. Юность (1924–1929). Учеба; трудколония. Коммуна. Борьба с оппозицией.

Т о м в т о р о й. (1929–1936). Колхоз. Индустрия.

Т о м т р е т и й. (1936–1937). Заговор. Борьба. Перегибы.

Т о м ч е т в е р т ы й. (1938–1941).

Т о м п я т ы й. (1941–1942). Москва, ополчение.

Т о м ш е с т о й. (1943–1944).

Т о м с е д ь м о й. (1944–1945).

Т о м в о с ь м о й. (1946–1950).

Должны быть отражены:

1. Колхоз
2. Предприятие на Урале
3. Рыбаки на Днепре
4. Крымские татары
5. Армия: штаб академия
пехота
авиация
артиллерия
6. В.-М. флот

7. Речной флот
8. Москва: строители
автозавод им. Сталина
планирование
9. Сов[етский] театр
10. Сов[етская] литература
11. Колония беспризорных
12. Суд
13. Лагерь
14. Тюрьма
15. Райком ВКП(б)
16. Министерство
17. Обком ВКП(б)
18. Ленинград
19. Съезд партии
20. НКВД
21. Милиция
22. Крым
23. Кавказ
24. Жилищный вопрос
25. Одесса
26. Киев
27. ДВК
28. НКИД
29. Америка 1941 — 1950
30. Германия 1933 — 1948
31. Польша 1924 — 1948
32. Англия 1940
33. Франция 1940 — 1950
34. Школа
35. Кремль
36. Нац[иональный] вопрос
Беседы с: Штейном (дипл[оматом])
Манфредом
Гуревичем (жил[ищный] вопрос)
Горшковым
Алферовым (карьера, партработа)
Становским (труд. колония, безраб.)* (* Зачеркнуто автором (примеч. составителя).)
Назаровым (- " — " — " —)
Соловьевым (погранохрана)
милиция
Адвокатом, судьей
Работники ГБ

Идой
Ушаковым
Мельманом (о НЭПе)
Назаровым, Глушковым, Карусковичем и др.
(о комендант[ской] службе в Германии)
Госплан

(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")

В минуту, когда Рысцову становится невмоготу и он хочет бросить учиться, он думает о том, что борцы уходили по Владимирке на восток для того, чтобы он, Рысцов, мог по ней же прийти в Москву учиться. И он остается. (Конец 1-й книги.)

Книга третья — Заговор.

(Январь 1951 г., Глубоково.)

История с матерым умным белогвардейцем Шульгиным, в 1925-м приехавшим нелегально в СССР. Работники ОГПУ, узнав об этом, не тронули его, а вместе с ним «посетили» все организации, «скрывали» его и благополучно проводили обратно за границу. Прекрасный пример умной разведки. *П о д р о б н о* описать его поездку. Через нее показать все остатки черной сотни в СССР меньшевиков, эсеров, кадетов, монархистов.

31.1.51 г.

"Четыре сердца", которые я сейчас пишу, — кроме прочего — интересный для меня эксперимент. Во-первых, это — впервые за мою прозаическую деятельность — интерьер. Действие происходит не на больших просторах, как в «Звезде», «Весне» и "Двое в степи", а в обычной московской квартире. Во-вторых, автор не вмешивается. Должно создаться впечатление предельной объективности. Тут мастерство играет величайшую, решающую роль. Действие разворачивается как бы без всякого вмешательства творца. Это — почти протокол совершившихся в течение одного дня событий. Внутренние переживания выражаются так, как они выражаются в жизни: через разговоры, жесты. Людей читатель будет судить и оценивать не под нажимом, а в соответствии с их собственными поступками и речами. Это — продолжение метода "Двое в степи", однако там важна и острота сюжета, здесь сюжет дело второстепенное.

Не будет ли утомительно читать? Не рассчитано ли это только на знатоков, смакователей? Нет, кажется. Посмотрим.

План 1951 года
1. Написать "4 сердца".

2. — " — "Крик о помощи".
3. Заготовки к роману.
4. Заготовки к 2-й книге "В. на Одере".
5. Моцарт, Колумб.

(Февраль — март 1951 г.)
(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")
1924

В нем жила святая, до трогательности наивная уверенность в том, что никакой человек не пошевельнет пальцем без выгоды.

1932

Художник Дудник — бандит, вор. Попал на Беломорканал. Выпущен досрочно за хорошую работу. Попал к Горькому (на приеме выпущенных). Нарисовал эскиз (Горький). А. М. позвонил в Моск[овский] худ[ожественный] ин[ститу]т: "Примите товарища". И Дудника — очень способного, неграмотного человека приняли. Приехал впоследствии (1936) в Феодосию (где бандитствовал) вместе с художниками для работы. Пришли на базар. Перепуг торговок: Дудника узнали.

1941–1943

Фотокорреспондент "Комс[омольской] правды" Ананьев попал в окружение, стал партизаном, к[оманди]ром роты в партиз[анской] бригаде под Минском. 2 раза ранен, получил 2 ордена. Перелетел на самолете в госпиталь в Москву. Там поправился и пошел в редакцию просить фотоаппарат — потренироваться, давно не фотографировал. Зашел к секретарю редакции А. Сурову. Тот плюгавый пьяница — спросил:

— А куда вы дели два аппарата, которые числятся за вами?

Ананьев сначала не понял, потом пришел в дикую ярость. Разбил все на столе у Сурова, и почти потерял сознание, не помнит, как он очутился в кабинете редактора, к[ото]рый успокоил его. Ему дали аппарат. Он сохранил свой партбилет, а фотоаппараты не сохранил, Суров — сволочь.

1919

Он думал, что мир, как создан испокон веку, таков он и будет и есть. Это мир благополучный, веселый и главное — необычайно целесообразный. Все в нем устроено верно, так, чтоб людям, в частности ему — было хорошо (вернее целесообразно). Но позднее оказалось, что это не так. Он узнал тайну рождения. Умер отец, умерла мать. Из людей, казавшихся авторитетами, ничего не получилось. Нецелесообразность жизни стала ясной. И только гораздо позднее он понял, что она целесообразна, но целесообразностью высшей, не на человека рассчитанной, а на всю природу.

Тайна рождения, узнанная им в детстве, и тайна смерти (при смерти отца) — эти 2 тайны нанесли непоправимый удар его блаженному представлению о целесообразности жизни и справедливом устройстве мира.

Ревность — чувство стихийное и, может быть, уподоблено весеннему паводку или лавине. Для того, чтобы ревновать, вовсе не нужен Яго, клеветник и интриган. В этом отношении "Зимняя сказка" вернее передает возникновение ревности, чем «Отелло». Причины здесь не нужны, ибо отсутствует логика (…)

10. III.51, дер[евня] Глубоково.

Обе бригады — глубоковская и сингирьская — собрались праздновать 8 марта. Позвали меня. Пили, пели, плясали до упаду. Женщины большей частью пожилые, порядком измотанные (…) (почти все вдовы). Но энергии много и много неизрасходованной неясности. Плачут потихоньку от жалобных песен.

Молодых женщин и девушек — очень мало, почти нет: они учатся в городе или работают там же, в Вязниках, в Мстере — ткачихами, фельдшерами, счетоводами, учительницами и т. д.

Зато в субботу молодежь появляется в деревне. Это приходят дети колхозников — рабочие, служащие и студенты — на воскресный день. Все оживляется. Топятся бани. Молодые русые девушки в валенках на босу ногу (полные колени поблескивают в промежутках) идут к колодцу, помогают родителям в хозяйстве.

(Начало апреля 1951 г., Глубоково.)

Бюро РК ВКП(б) утверждает тракторные бригады к посевной кампании. Ребята — крепкие, с открытыми и хитроватыми лицами, в замазанных мазутом ватных костюмах. Так много молодых мужчин вместе я, находящийся в деревне, давно не видел: там все бабы да бабы. На вопрос Бориса Васильевича о настроении каждый бригадир чуть-чуть улыбается и, медленно вставая, отвечает с неким детским самодовольством и самоуверенно:

— Хорошее.

Или:

— Боевое.

Некоторые, из тех, что были в армии, встают быстро и по-военному (их сразу отличаешь). Приятно смотреть на них. У них — почти без исключения умные, выразительные лица. Много красивых парней.

(…) Беседа с бабами, сушащими зерно на асфальте шоссе. Это четыре женщины — одна старушка лет 55, остальные — от 38 до 45. Вокруг дети. Дети — 10 — 12-летние, матери выглядят значительно старше своих лет. Все молодые — вдовы, мужья

погибли на войне. Все — умные, даже мудрые, простонародной, хорошей житейской мудростью. И хотя очень бойки, и в карман за словом не лезут, но в то же время покорны. Да, покорны. Вот примеры: Б. В. спрашивает их, как они смотрят на то, что у них собираются отрезать приусадебные участки с 0,40 до 0,25, да еще 0,15 из них отвести в полях, не при доме. Они мнутся и говорят, что, дескать, да, решили так; конечно, трудно с малыми детьми обрабатывать свои участки далеко от дома; но что, мол, сделаешь? Б. В., который уже знает о письме ЦК, отменяющем левацкие на этот счет установки, говорит, что все останется по-старому. Они рады.

Потом он спрашивает, как они оценивают сселение (тоже отмененное уже тем же письмом ЦК). Они покорно говорят, что-де решили и это. "А вот как будет с моим домиком-то, — говорит та, что постарше, — совсем же развалится. Думала его крыть железом и подремонтировать, да вот приходится его переселить". "Можете ремонтировать, никуда вы не переедете", — говорит Б. В. (Кстати, он необычайно и даже наивно рад тому, что может им сообщить "благие вести".)

Они очень рады такому обороту дела, и тут только одна из них (сильная, большая, самая молодая, в матерчатых валенках, с крупными, могучими икрами, еле влезающими в эти валенки, говорит чуть застенчиво: "Конечно, наша Лихая Пожня (так называется деревня) такая красивая, разве есть лучше деревня по всей шоссе!" "Тут военные в войну проезжали, говорит старуха, — они все говорили, что наша деревенька лучше всех". "Место высокое", — говорит третья. "Всюду деревья растут", — говорит четвертая.

То ли от возраста, то ли от того, что это в самом деле трогательно, я растроган немного и уезжаю молча.

(7 апреля 1951 г., Вязники — Владимир.)

Важно, чтобы каждая часть романа, а частей будет много — была все же чем-то целым сама по себе. Нужно это по двум причинам: 1. Ради читателя. 2. Ради автора, который может умереть посредине работы.

1-я часть: несколько атмосфер:

а) Вязники, Мстера в старину. Быт этих мест. До самой седой старины должен чувствовать себя герой книги глубоко связанным со своими местами.

Не думая об этом, он все равно чувствует себя связанным с этим прошлым, с историей и географией родных мест. Вот эту связь нужно передать очень ярко.

2. Послереволюционная история (1917–1923) — вся атмосфера этих лет в данном месте.

3. НЭП (в Москве).

4. Студенчество (в Москве).

5. Первая любовь (в деревне) и забвение этой любви через короткое время после приезда в Москву. (Увлечения.)

Итак — 5 атмосфер. Пока в 1-й книге все (или почти все) должно быть локальным, почти без намека на будущие широты сюжета истории. Тем сильнее они покажутся потом. Пожалуй, это должна быть физиология и психология талантливого подростка, но не в отрыве от среды, в которой он живет. Напротив, в живом окружении проблем, стоявших на очереди в то время, и людей, так или иначе решавших эти проблемы.

Моя задача, т[аким] о[бразом]: проникновение во внутренний мир молодого русского человека после Октябрьской революции.

___

Надо учиться графомании. Не будучи в некоторой степени графоманом, нельзя много написать, а хочется много написать. Какое блаженство писателя (и читателя затем) — создать серию романов, в которую можно окунуться с головой, как в другую, очень похожую и необычайно непохожую жизнь. Вроде Диккенса, Бальзака, Золя, Шекспира, Толстого.

Основной конфликт 1-й книги, или, м. б., первой ее части, — конфликт между буйной молодостью и осторожной старостью; между молодежью, рвущейся к новой жизни, и кондовым старинным бытом. К счастью для молодежи, ее поддерживает государство, созданное в 1917 году.

(Весна 1951 г.)

Моим объектом до этой книги было пространство, в этом романе — время. Не назвать ли его "Новое время", или "Новые времена", или "Время и пространство".

Пространство бесконечно как время. И наоборот. Более того, это одна и та же сторона одного предмета. Вроде широты и долготы. Пространство можно делить на километры, градусы, планеты и солнечные системы, так же, как делят время на часы, минуты и столетия. Но это условно, ограниченно, как все человеческое.

(Без даты.)

"Хочу быть как все" — пламенное желание героя, но потом он понимает: "Надо, чтобы все были как я". Тешил ли он этим свое самолюбие? Не зазнавался ли? Нет, он знал свои несовершенства, но главное — отношение к собственности, любовь и ненависть, вера в будущее — были ему свойственны в большой степени.

Были ли несовершенства? Да, были. Близко ли к человеку коммунизма? Иногда ему казалось, что близко, а иногда, что

очень далеко…

(2-я половина апреля 1951 г.)

(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")

1941 г.

Начало войны. В Москве появились офицеры, грязные, с полевыми петлицами и знаками, небритые, и это казалось странным людям, привыкшим к подтянутости и шикарному виду Красной Армии. И глаза у них были такие, немного подчеркнуто значительные (гордость перед тыловой Москвой), но в то же время — оглушенные — словно они побывали в другом мире и принесли оттуда страшную тайну, которую они не имеют права рассказать. (Вначале еще считалось, что поражение можно скрыть.)

22. IX.51 г.

Опять я в старом, баженовском здании Румянцевской библиотеки, той самой, где когда-то работал В. И. Ленин. Эти старые камни большой красоты, и царящая здесь атмосфера книги, навевают грусть и тихое желание быть незаметным среди всех. Здесь я когда-то — до войны еще — мечтал о Колумбе и Моцарте. Теперь в период скучной зрелости, буду воссоздавать картины современной моему поколению жизни. Наступает Время Большой Работы. Тихой, неспешной — работы крота — по углублению своих знаний, представлений о жизни. Не по расширению, а по углублению. Впрочем, это связано.

Писатель ничего не доказывает — он рассказывает. Его рассказ доказывает.

Л. был прав — я работал до сих пор в белых перчатках, вместо того, чтобы живьем сдирать с себя шкуру. Настало время сдирания шкуры. Хватит ли у меня для этого страсти к мученичеству?

Девушка была похожа на крупного грызуна — нечто вроде хомяка или ласки. Ее клетчатая юбка, туго облегающая широкие бедра, внизу расходилась клешем, причем сзади была несколько длиннее, что походило на хвост, прибавить мелкие жемчужные зубки, гладко причесанные волосы на остром черепе, тонкая мордочка, большие красивые, но бессовестные глаза, бледная кожа на лице, в обтяжку, красивая длинная шея, на которой плавно покачивается маленькая головка (почти змеиная).

Толя же не замечал ее недостатков. Нет, не то. Пожалуй, он замечал их, он в любой другой замечал такие недостатки с большей легкостью, а в ней — нет. Они, недостатки, не относились к ней, казалось ему.

Надо выяснить для себя один важнейший вопрос. Дело вот в чем. Необязательно подмечать и описывать грязь жизни только из

чувства противоречия к течению, не разрешающему ее подмечать и описывать. Нужно описывать грязь жизни только тогда, когда художник считает невозможным обойтись без этого для характеристики данных обстоятельств и данных людей в них. Только на пользу целому, а не ради интереса детали.

В конце концов — моя литературная точка зрения ясна с юных лет: долой кроватный быт, затхлую бытовщину вонючих портянок. Я — за романтическую героику в конце концов. Это следовало бы помнить и не беспокоиться на счет мнения разных "критически мыслящих" личностей, считающих, что чем больше говнеца, тем талантливей. Эти люди, в конечном счете, ищут не правды, о которой бормочут все время, а фрондерской фразы. Конечно, такая реакция понятна, но она не должна заслонять ясный взгляд на вещи и на задачу литературы.

(2-я половина марта 1952 г.)

(К ПОВЕСТИ "СЕРДЦЕ ДРУГА")

Баренцево море — до 12 баллов зимние штормы. Студеное море — называли его на старинных московских картах, а иностранцы называли Московским морем.

Тебе под сорок и ты не сантиментален, самоуверен, силен, как подобает человеку нашего времени, и все-таки ты хочешь, чтобы возле тебя иногда сидела старая женщина, рожденная в XIX веке. И пусть это будет твоя собственная мать.

Угольные кучи горят, никто не гасит ("не мое").

Лес для построек и дрова возили с нашей территории (Печенга) — здесь, в Норвегии, лес нельзя было рубить — частный. Мост для них же строить нет леса.

Люди жили в пещерах: немцы все сожгли (армия «Норд», Дитль?). Оставшиеся дома были вначале заняты нашими, потом последовал приказ: выселиться, отдать норвегам (наши солдаты называли их так), а сами — в землянки.

Взяли лодку для «Эпрона». Где лодка? Обвинение против командира части. Оказывается — лодка стояла несколько ниже по фьорду. "Нет, непорядок, — говорит норвежец, — это не моя земля, а чужая и берег чужой, и могут лодку взять". Узкие полоски берега — каждый принадлежит другому хозяину. Попробуй разберись, где лодку ставить!

Хороший, свободолюбивый, но слишком перекормленный народ.

В Осло не здоровались на улице с королем Гоконом: "Я с ним не знаком". Каждый — король на своем участке.

Пассивная ненависть норвежцев к немцам.

Наша оккупационная политика. Снабжали местное население всем необходимым.

Иск по поводу зажигалки, сброшенной на соседний сад с крыши!!!

Это европейское захолустье — Норвегия.

(Конец июня 1952 г.)

Не успел я закончить повесть об Акимове, как мне уже мерещится другая вещь, бессюжетная, суровая и горячая. Книга «Признания». Монолог — суровый и страстный — о жизни и душе современного человека, о моей собственной душе и мыслях, связанных с личными переживаниями, с будущим нашего мира, с войной прошлой и предстоящей, исповедь о людях, местах, размышлениях, страхах и сомнениях, — и бесстрашных свершениях, битве с собой и победе над собой.

И еще думаю о сатирической повести о районном городке и его обитателях.

И о колхозе маленькую повесть. О плохом колхозе.

Озеро Рица, 13 июля 1952 г.

Это — прекрасный уголок. Горное озеро, окруженное двумя ярусами гор. Второй ярус — снежные горы (…)

Отдыхающие приезжают на экскурсии. Мужчины, небрежно одетые, похожие в своих соломенных шляпах на гоголевских бурсаков. Женщины, загоревшие до безобразия, с выгоревшими волосами, похожие на ободранных кошек. С 5-ти часов — тишина и спокойствие. Молчание гор, густо поросших хвойными лесами. Странно сознавать, что Сталин, отдыхая здесь, видел этот самый пейзаж. О чем он думал?

Заканчиваю «Акимова».

Ощущение, похожее на то, которое было у меня при окончании «Звезды». Тогда, правда, была полная неуверенность, теперь уверенности больше, но сомнений не меньше. Персонажей я теперь чувствую лучше, вижу их яснее, все вещественнее. Я их теперь люблю больше. Насколько помню, я при писании «Звезды» заставлял себя работать, и только вработавшись, начинал любить своих героев. Я не любил их. Если они получились такими теплыми, то это лишь потому, что в них — бессознательно для меня — отразилась моя собственная любовь к людям. Теперь я уже люблю своих героев как отдельных от меня людей. Как существующих людей. Акимов (в отличие от Травкина) кажется мне реально существующим, от меня отдельно, человеком.

Кажется, «Акимов» — лучшее из всего, что я до сих пор написал. Наиболее близок он к «Звезде», но надеюсь — на высшем этапе мастерства.

18 июля 1952 г., Рица.

Вчера писал сцену смерти Акимова и все время плакал во время писания. Все лицо мое стало мокрым от слез и пришлось

снять очки, совершенно залитые слезами. Этого со мной никогда не было.

Сегодня я снова полон сомнений. Не мельчит ли конец повести всю повесть? Не слишком узка ли та чисто политическая задача, которая разрешается концом повести и т[аким] о[бразом] всей повестью в целом? Стоило ли из-за нее огород городить, терзаться самому и вести за собой читателей, полных надежд на прекрасный конец вещи? (Прекрасный не в смысле «счастливый», а в смысле — величественный, полный гармонии и красоты.) Не из пушек ли по воробьям стрелял в течение четырех месяцев и в течение восьми-девяти печ[атных] листов автор? Вот такие мысли не дают мне покоя. Чтобы отвязаться от них, надо сделать заключительные 2 главы очень хорошо, лучше прежних. Но смогу ли я это сделать при малом знании материала флота, севера, Норвегии? По сути дела я и так совершил подвиг, описав это все!

И еще кажется бесцельным: вести человека, героя по книге, чтобы умертвить его в конце. Правда, так и в жизни: живет человек, потом умирает. Но, по-видимому, мои сомнения в этом смысле все-таки не лишены основания. Возможно, смерть Акимова еще плохо написана, неоправдана внутренне; еще чувствуется авторский произвол: автору нужно, чтобы герой умер. Вот в чем слабость пока. Надо это улучшить, иначе я ее не выпущу из рук. Как бы это ни было трудно, необходимо это сделать.

Вчера, плача во время писания, я себя ловил на том, что это не мешает мне следить за стилем того, что я пишу. Это — уже в крови.

(19 июля 1952 г.)

Закончил сегодня, 19 июля, повесть об Акимове. Весь конец — 2 главы, даже 3, - все еще вчерне. Я скорее набросал ряд картин, чем писал по-настоящему. Мне нужно было прежде всего воссоздать, хотя бы в общих чертах, незнакомую мне ситуацию на чужом, незнакомом мне фоне. Но даже с этим я справился более чем посредственно. Не знаю быта морской пехоты начисто. О Норвегии знаю, оказывается, очень мало. В этих условиях герой чувствует себя тоже неуютно и все время не знает что делать. Все это должно прийти в результате последующей работы, иначе дело плохо.

Завтра приедет Галя. Одиночество гнетет меня, сомнения — терзают.

Перечитываю первые главы и смеюсь от радости — так хорошо. Но ведь это тоже я написал. Надо остальное сделать не хуже — вот и все. Это адская работа, потому что я не знаю материала.

(Без даты.)

Мои любимые в слове: Данте, Шекспир, Толстой, Пушкин, Гейне, Достоевский, Стендаль, Франс.

Из современных художников слова я больше всех ценю — Пастернака, Бабеля, Цветаеву, Фадеева, Твардовского, Олешу, Хемингуэя, Ремарка, А. Камю.

В музыке: Моцарт, Шуберт, Мусоргский.

В живописи: Тициан, Рембрандт, Веласкес, Ренуар, Сислей, Писсарро, Джорджоне.

(1953 г.)

МЕТАЮЩИЙ КОПЬЕ

ОПЫТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ШЕКСПИРА

Всем известно, что о Шекспире до сих пор идут разнообразнейшие споры, связанные с малым, ничтожным количеством биографических данных о нем, основоположнике современной литературы. Некоторые критики, среди них Георг Брандес, с самым серьезным видом собрав крупицы биографии актера Вильяма Шекспира и дополнив их собственными, более или менее остроумными предположениями, разработали вымышленную жизнь писателя, подкрепляя свои домыслы материалом из произведений Ш[експира]. Другие, без видимых оснований, не считая возможным признать автора великих пьес в ничтожном актере, считают его только лишь автором своего завещания. (Что автор завещания не может быть автором Гамлета, для меня совершенно ясно.) В связи с этой точкой зрения возникают разнообразнейшие теории. Некоторые шекспироведы называли автором пьес Шекспира Френсиса Бэкона, другие лорда Рутлэнда, третьи — Марло и т. д.

Я думаю, что все эти предположения, как и самое распространенное предположение, что автором пьес является актер В. Шекспир, не выдерживают никакой критики. Шекспир — имя собирательное, как Гомер. Произведения его — очень своеобразный народный английский эпос XVI века, последний великий, — м. б., самый великий эпос в мировой словесности.

Стоит подробнее ознакомиться с произведениями Шекспира и с шекспироведением, а так же с произведениями других авторов английского Возрождения, чтобы прийти к этому единственно правильному выводу.

Слово «народный» тут не означает «простонародный». Цикл пьес Шекспира создан не в недрах народных масс, но группой людей, связанных с массами (в том числе и с аристократией), — актеров, литераторов, любителей искусства среди молодых аристократов. Известные бродячие сюжеты из исторических хроник и сборников новелл, изложенные в более или менее

совершенной форме, затем все больше изощрялись, утончались, совершенствовались в недрах современного театра, в обработке тогдашних заядлых театралов, в стоустой молве посетителей театров.

Театр в елисаветинской Англии был тем источником и двигателем литературы, равного которому не знает другая эпоха, кроме, быть может, Древней Эллады. Это была та трибуна, пожалуй, единственная, на которой можно было высказать свои политические и общественные воззрения.

Редко какая из пьес Шекспира не имеет предшественницы — то это "первая редакция", то пьесы на тот же сюжет, но в другой, более грубой обработке, то бродячие актеры ставят какого-то "Амлета датского принца", более грубую форму, ту глину, из которой впоследствии вырабатывается хрусталь позднейшего Гамлета; но это вовсе не другая пьеса, это та же пьеса, но еще не обработанная в горниле массового творчества.

То обстоятельство, что в данном случае эпос отливается в драматическую форму, не должно никого смущать. В Англии того времени театр, искусство были наиболее массовыми, наиболее демократическими, книга не могла идти ни в какое сравнение с ними при наличии ничтожного кол[ичест]ва грамотных людей; в ту эпоху расцвета национ[ального] самосознания английского народа лишь театр мог стать и действительно стал наиболее серьезным и влиятельным рассадником культуры. В нем, в театре, находил удовлетворение спрос на культуру, на образование. В свою очередь театр впитывал самое мощное, крупное, рвущееся из глубин народного гения и ищущее выхода, ищущее воплощения в образах.

"Вороной, рядящейся в чужие павлиньи перья", назвал Шекспира один из крупнейших драматургов англ[ийского] Возрождения Грин. Это справедливо в том смысле, что Шекспир-актер, вероятно, был тем театральным «помрежем», который хранил, переписывал, сводил тексты сложившихся в театре пьес, основанных на полубалаганных представлениях, перешедших по наследству Возрождению от Средневековья.

Именуемый произведениями Шекспира эпос настолько же выше Марло и др., насколько Гомер выше Пиндара, Алкея и прочих реально существовавших поэтов. С др[угой] стороны, преимущество Марло и др[угих] реально существовавших поэтов перед Шекспиром, как и Пиндара и др[угих] перед Гомером, заключается в том, что они реально существовали и их труд и подвиг является их личным трудом и подвигом. Оценивая их творчество, не следует их сравнивать с Шекспиром — это несравнимые величины.

(Январь 1953 г., лесхоз, Кост[ромской] обл[асти])

Что я — создание природы — смог у нее отвоевать (…)

Труд — это беспрерывная, жестокая борьба с природой.

Лес не хочет стать ни топливом, ни строительным материалом. Он делает все от него зависящее, чтобы сопротивляться этому. Остальная природа поддерживает его: засыпает высоким снегом, заливает дождями. Валить лес голыми руками невозможно. Человек изобрел топор, потом пилу. Для его первоначальных надобностей этого было достаточно. Но потребности увеличились, развилась индустрия, строительство, бумага и прочее. И началась борьба. Строят дороги — ледовые, санные, железные. Для этого строят вагоны, паровозы, тракторы, мастерские для ремонта их (…), изобретаются газогенераторные автомашины и тракторы с местным топливом. Мороз мешает, все мешает. Трелевка. Лебедки. Электропилы. А снег все засыпает — сызнова, а ветер все забивает, а мороз тщится не дать завестись машинам, не дать рукам работать.

И вдруг мне почудилось: нет у меня дома и крова, и я один на земле.

Что ж!

(Апрель 1953 г.)

Я живу теперь в маленькой деревеньке Аннино на 32 км. по Киевскому шоссе. Здесь не слышно людей, только петухи, гуси, куры, блеянье овец и мелькание козлят. Коз здесь много. Время от времени раздается гуденье садящегося на ближний аэродром самолета. Но не этот шум мешает работать, а шум внутри тебя, беспрестанный шум, как будто мельничный, от всей литературной сумятицы, неразберихи, фальши, лицемерия, подлости, бессмыслицы, но это пройдет, успокоится и мысли потекут, и строчки начнут множиться.

(2-я пол[овина] апреля 1953 г., дер[евня] Аннино.)

Какие бы ни были на небе тучи, какой бы ни был мрак, все-таки не мешает помнить, что высоко над этой мглой имеется и так же ярко светит солнце. Утешение, правда, небольшое.

25.4.53, дер[евня] Аннино.

Начинаю форсировать "Дом на площади". Разумеется, нелегкое дело в нынешние изменчивые времена писать политический роман. Ситуация неустойчива. Но думаю, что писать это можно, если придерживаться строго основ марксизма-ленинизма, не учитывая вовсе разных конъюнктурных соображений.

Работа пока идет туго. Кажется иногда, что я совсем: отвык, разучился писать. Критика помогла!

Впрочем, чувство, что ты разучился писать, возникает каждый

раз, как принимаешься за новую работу. Надо «вписаться» и все будет хорошо.

Сколько событий произошло за последние два месяца! Следовало бы все записать, чтобы не забыть. Прежде всего, умер И. В. Сталин. До сих пор трудно представить себе, что его нет. Все мое поколение жило в беспрерывном сознании того, что он есть, независимо от того, чувствовал ли человек его влияние непосредственно или нет.

Придет время, и о нем можно будет писать.

27.4.53. Аннино.

Работа современного — в особенности советского — писателя необычайно усложнена по сравнению с трудом писателей XIX века. Прежде всего она обращена к неизмеримо большему кругу читающей публики. Притом — к публике различного уровня культуры, грамотности, различного восприятия действительности. Тут отпадают и не могут не отпасть всякие интимности, столь обаятельные у писателей прошлого, намеки, обращенные к избранному кругу друзей, весь расчет на близких людей, которых писатель чуть ли не всех знал лично.

___

Она все хворала, не выходила и ничего не знала, что совершается вокруг. Но, непрестанно ревнуя своего мужа, она ухитрялась по неуловимым признакам, по самым тонким интонациям, по мимолетному смущению, слишком длинной (лишняя 1/100 секунды) паузе, слишком быстрому (быстрее на 1/100) разговору, догадываться обо всем, что творилось вокруг нее; почти безошибочно, непонятным и часто удивлявшим его, граничащим с чудом, инстинктом, продиктованным любовью и ревностью, она знала все, что касается его. Но так как она была больна и боялась от переживаний заболеть еще больше и умереть, она не доводила дело до скандалов, а если и доводила, то только изредка, и больше язвила его, упрекая разными бабами, которых никогда не видела и имена которых как-то невероятно проницательно угадывала. Она иногда ошибалась, приписывая ему женщин, с которыми он ничего общего не имел, и тогда он сердился, вернее — напускал на себя сердитый, оскорбленный вид.

Для писателя не может и не должно быть работ более важных и менее важных. Любой очерк, рассказ, статью, даже письмо он должен писать так, словно пишет великое произведение. (А главное — кончить.)

30. VI.(1953 г., Аннино.)

Назвать роман "Новый мир" с эпиграфом из Интернационала:

"Мы наш, мы новый мир построим,

Кто был ничем, тот станет всем".

(Июль 1953 г.)

Новая Каховка — город со стрекозами. Всюду полно стрекоз — красных, синих, зеленых, золотых, с прозрачными крыльями. В чем дело? Я с ними лично не беседовал, но думаю, что это потому, что они еще не поняли, что здесь город. Слишком быстро возник этот город на пустынном берегу Днепра. Стрекозы еще не очухались.

Самое трудное в писательском деле — не начать, а кончить.

Первый гидромеханизатор — Геракл. Он прочистил Авгиевы конюшни, пустив туда русло реки.

20.7.1953 г., Каховка.

Еще в прошлом году думал приступить к роману "Новое время", но больше думал о нем, чем писал. Влез в договорные обязательства по "Дому на площади", потом отвлекся на "Сердце друга". Эту вещь закончил, а "Дом на площади" теперь писать нельзя — слишком много нового и еще не определившегося на мировой арене вообще, в германском вопросе в частности. Тем не менее "Дом на площади" следует написать, что и будет сделано в будущем году. В конце концов сама по себе жизнь советских офицеров в оккуп[ированной] Германии интересна и никем не описана еще.

Но вместе с тем надо приступать уже и непосредственно к "Новому времени". Пора. Дни и годы летят. Написать это, да еще "Р. в Г." и можно сказать, что что-то сделано. Впрочем, я уже убедился в том, как трудно планировать творчество в наше время и вообще. Неблагожелательная критика дополнительно тормозит работу, как ни стараешься оставаться спокойным.

Будем надеяться, что эта зима на даче будет спокойной и продуктивной. Весной уеду на большой завод — Уралмаш или Магнитогорск.

21.7.53., Каховка.

Только что закончил X том Истории франц[узской] революции Луи Блана. Написано с блеском. Но, боже мой, что такое мелкобуржуазность! Какая половинчатость под маской объективности! Какая неуверенность под видом справедливости. Любя революцию, он осуждает ее крайности, как будто без крайностей может быть совершена революция. Он всех жалеет — и Людовика, и Жиронду, и Дантона, и Робеспьера. Ненавидит он только гебертистов и это тоже мелкобуржуазность. Сам понимая шаткость своей позиции, он оправдывает «злодейства» революционеров злодействами контрреволюции, но тут же, под влиянием своей мелкобуржуазной сущности, опять взывает к «общечеловеческой» гуманности и осуждает опять-таки

революционеров. Полный филистерского прекраснодушия, он хотел бы, чтобы все было красиво и гуманно. А разве я этого не хотел бы? Разве меня (и любого коммуниста) не ужасает зрелище кровавого разгула? Но что же делать, когда другого выхода нет, а человек не поднялся так высоко над животным, чтобы он мог все делать по совести?

Но один вопрос волнует меня больше всего: где же граница революции? Неужели она может кончиться только девятым термидора, только реакцией? Реакция кроется в недрах каждой революции, как революция кроется в недрах старого порядка? Можно ли миновать термидор? И как? Постоянным, продолжающимся до бесконечности террором или мирным, основанным на законности, закреплением завоеваний революции? Вот в чем весь вопрос. Затем. Современникам бывает очень трудно отличить красный террор от белого, рядящегося в красный. Ведь 9 термидора начался террор тоже "против тирании", лозунги революции по-прежнему оставались на поверхности общественных отношений, во имя этих лозунгов, как бы по инерции, дрались революц[ионные] армии и побеждали старый порядок за рубежами Французской республики. Учреждения революции оставались под прежними названиями.

Видимо, истина заключается в том, что революция (буржуазная) выполнила свою задачу, сделав буржуазию командующим классом. Робеспьер оказывался ненужным более. А теперь?

Надо прочитать Олара.

27.7.53.

(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")

Семья Андреевых, хотя и была простой крестьянской семьей, тем не менее очень гордилась собою. Не было конца разговорам — особенно по вечерам, — о достоинствах семьи, о разных дядьях, сватьях, крестных отцах и матерях, о дедах и бабках, которые все — по мнению Андреевых отличались то физической силой, то ловкостью в делах, то хитрецой в нужных размерах, то многодетностью, то способностью к ремеслам, то умением здорово выпить, то мужской силой, то женской добродетелью.

"Мы, Андреевы", — говорили они. "Это по-андреевски", — похвалялись они чьим-либо хорошим поступком. Бывало, когда появлялся на свет очередной Андреев, родичи обступали его, не спеша оглядывали, покачивали одобрительно головами: «Андреев», — говорили они, и одно это звучало как похвала. Нередко, огорченные поступком кого-нибудь из своей семьи, они сваливали этот поступок за счет матери (или отца) из породнившейся с ними семьи: "Этот в Семеновых".

Особенно много было разговоров тогда, когда кто-нибудь из девушек выходил замуж; или из юношей женился. Тут вечное прославление рода Андреевых доходило до чего-то гомерического. Болтовня о достоинствах невесты, а главное, не так о ее личных достоинствах, как о тех, что связаны с ее принадлежностью к роду Андреевых, превосходила всякое вероятие.

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

Киносценарий музыкального фильма.

Навеян маленькой трагедией А. С. Пушкина

ПРОЛОГ

Начало: современная Москва. Осень, сильный ветер, он сдувает с деревьев улицы Горького листья, и они летят, быстро крутясь и кувыркаясь, по асфальту, касаются стен и домов, падают под колеса автомобилей. Экран то и дело заполняется весело летящими листьями, а когда аппарат отъезжает — мы снова видим московские улицы и кутающихся в пальто прохожих, которым, впрочем, не грустно, а весело, потому что осенний ветер бодрит и дразнит, раздувает платье, сдувает шляпы. Но вот мы добираемся до площади Пушкина, перед нами памятник поэту. Листья летают вокруг него.

Кр[ылатый] пл[ащ]. Пушкин среди летящих листьев.

И тут после некоторой паузы случается чудо, возможное только в кинематографе: Пушкин поднимает руку и надевает шляпу. Он ожил. Плащ начинает шевелиться на ветру. Самые проницательные в мире глаза усмехаются. Он поворачивает голову то вправо, то влево, с той неповторимой свободой и грацией, которые, как мне кажется, были ему присущи. Впрочем, это не тот Пушкин, что был в начале двадцатых годов, до декабристов. Здесь уже не только живость и свобода в движениях, но много размышлений и тайной грусти.

Аппарат отъезжает, и мы видим, что Пушкин стоит у особняка в стиле русского ампира. Видно, он чего-то ждет. Осенний ветер рвет его плащ, треплет бакенбарды. Осенние листья, как в начале пролога, летят мимо, то и дело задевая Пушкина.

Появляется карета. Пушкин садится в нее. Она едет по Москве двадцатых годов прошлого века. Копыта цокают по булыжной мостовой. Карета мчится по Тверской, обгоняя другие кареты, возки, коляски, крестьянские телеги. Иверские ворота, карета поворачивает налево и едет по Охотному ряду Охотному ряду начала прошлого века.

Карета подъезжает к Большому театру — не нынешнему, а тому, который существовал до пожара: чуть пouже, чуть повыше,

колонны чуть потеснее.

Возле театра много карет и колясок, под колоннадой — мужчины и женщины. Но особой суеты нет, есть некоторая старинная степенность во всем.

Пушкин входит в театр, вовсе не вызывая шепота "он, он", как это представляют себе наивные историки и восторженные читатели. Время от времени он раскланивается со знакомыми. Он проходит в ложу.

Большой театр снаружи. Зажигаются свечи. Темнеет. Кареты продолжают прибывать.

Афишка на театре:

БУДЕТЪ ПРЕДСТАВЛЕНА ОПЕРА МОЦАРТА

"ДОНЪ ЖУАНЪ"

Пушкин в ложе. Темнота. Увертюра к "Дон Жуану". Лицо Пушкина. Оно ни в коем случае не должно сопровождать музыку, "изображать переживания" и т. д. Оно должно быть неподвижно и все.

Начало оперы.

Пушкин сидит, опершись на перила ложи.

И в заключение — улица Горького, автомобили, листья летят. Пушкин. Он всходит на пьедестал, снимает шляпу, медленно опускает руку и — перед нами памятник.

Пушкин. Листья.

(Август 1953 г.)

Человек с отвислой губой. Неспособный восхищаться, смотрящий на все будничными, белыми глазами. Борьба с таким человеком, вокруг которого тускнеют цветы, и Днепр теряет свой блеск, и все оказывается только скопищем домов и бетонной кладкой. Даже само электричество тускнеет. Отвислая губа. Я узнал эту губу: она принадлежала критику Х (хотя он известный критик, назовем его Х-м). Неумение и нежелание радоваться, гордиться, восхищаться. Зато как рассыпается он, когда нужно хвалить Гоголя или Чехова! Какие слова восторга находит он в арсенале, хотя он же, будь он современником Гоголя и Чехова, мучил бы их, уничтожал, измывался бы над ними не хуже, чем над нами, грешными.

Эта сутулая спина, короткие ножки. Острый, ко всему принюхивающийся носик. Из двух с половиной метров, нужных на костюм, два метра уходит на пиджак и только полметра на штаны. Я однажды застал его пьяным в задней комнате одного кафе. Он сидел в обнимку с весьма легкомысленной дамой и пел… акафисты. В своих писаниях он особенно нападает на пьянство, легкомыслие и религию.

28.10.53, Переделкино. ("В собственной даче")

"Кулак Никифор Ошкуркин" (для "Н. В."?) Раскулачен, попал в

ссылку; жизнь там; бегство через Гималаи; проклятие; эпилог — наша делегация в Батавии. Встреча на набережной. Желание ехать на родину, слезы, снятие проклятия (в связи с войной) и главное: понимание, что справедливо изгнан из общества, — в случае войны был бы, вероятно, тем, кто мешает. Сын? Да, сын! Оба — главные.

11. XI.53.

План конца 1953 — всего 1954 г.

1. Закончить роман "Дом на площади".
2. Написать повесть "Никифор Ошкуркин".
3. Поездка в Ср. Азию (на месяц апрель?).
4. Поездка на Урал (май — июль).
5. Думать (и записывать) о "Н. В.".
6. "Куриное перо" (на досуге, ежели таковой будет).
7. Закончить "При свете дня".
8. Закончить "Исповедь г-на Скорцени".
9. Издать "Сердце друга".
10. Закончить очерк "Летние впечатления".
11. Стихи «Признания».

21. XI.53.

Уединившись на своей дачке, я, как буриданов осел, сижу среди начатых рукописей и не знаю, какую делать раньше. За какую ни возьмешься интересно, а потом вспоминаешь другую и тоже интересно. Надо ждать, какая зажжет настоящим огнем сердце? Роман надо кончать из-за денег, это ясно. Хорошо бы закончить очерк "Летние впечатления". Острая и умная статья о Скорцени — тоже пора кончать. В мозгу, кроме того, вертится и "Никифор Ошкуркин". Временами тянет на продолжение стихов и на комедию "Куриное перо". 5 дней мне нужно, чтобы привести в порядок Моцарта. Вот и попробуй выбирай.

26. XI.53

Роман и обязательно роман. А. Т. отговаривает: не пишите, не нужны никому «облегченные» романы. Нет, это будет не облегченный роман. Это будет книга лирическая, грациозная и назидательная. Верно, кое в чем она будет далека от того критического реализма, по которому тоскуют души после слащавых книг прошлых лет. Ну и что же? Зато это будет книга интересная, народная, очень поучительная. Ведь даже у Пушкина был не только "Медный всадник и "Моцарт и Сальери" — был также и "Домик в Коломне" и "Граф Нулин". Нужно только, чтобы было при этом настоящее мастерство. А в "Доме на площади" оно будет, надеюсь. Верно, в отличие от этих вещей-безделушек, моя вещь будет иметь ярко выраженную политическую нагрузку. Она будет учить тому, каковы должны быть советские люди за

рубежом своей родины. Разве это не благородная задача? Разве не нужно настоятельно и страстно учить этому многих и многих людей. Разве это не даст свои плоды и не понадобится в будущем? А если это будет сделано с душой и мастерством чего же боле? К тому же в контексте, столь богатом возможностями, будет много настоящей правды по этому поводу.

Нет, определенно, нужно писать "Дом на площади", и я напишу. Нет ли в этом компромисса? Т. е. не означает ли это, что я ради реального успеха топчусь на месте, не иду вперед в своем творчестве? Да, означает. Вероятно, те творческие силы, которые я употребляю на роман, можно было бы использовать на нечто более высокое в смысле искусства. И что же? Ведь я и борец, не только художник. А проблема, которую я выставляю здесь, очень важна, необычайно важна для всех нас. Я сам дал себе гос[ударственный] заказ, и ничего худого не вижу в этом. Моцарт и Рубенс выполняли заказы и делали это прекрасно.

Я спрятал в ящик стола "Летние впечатления", «Скорцени» и «Моцарта». Роман, в первую голову, и ни о чем больше не надо думать. Через 5–6 месяцев надо иметь готовый роман. Потом пойдет великий «Ошкуркин» — самое интересное, что я написал до сих пор по замыслу. А там "Крик о помощи" и прочее (…)

(Конец декабря 1953 г.)

Конец декабря. Не помню числа, залез в эту дачку и пишу, думаю, страдаю потихоньку за людей. Роман идет хорошо, но больше в голове, чем на бумаге. Придумал (и записал, что важно) много безусловно интересного для романа. Это будет настоящая книга "Наставление по комендантской службе". Никто лучше не служил общему делу, чем я этой книгой. И это будет художественно, почти уверен. Там будет много милого, прелестного и даже подлинно драматического и правдивого. И он принесет мне деньги и, ergo, возможность писать "Н. В." и "Р. в Г.". В конце концов оказалось, что роман пошел быстро, как только я отложил все остальное.

Кончается наполненный событиями 1953 год. Год спасения. Год надежды.

Для меня он начался с № 1 "Нового мира", где было напечатано "Сердце друга", которое было изничтожено лицемерами, и окончился № 12 "Нового мира", в котором меня походя лягнули за "Весну на Одере" (…)

Весь мир кишит сюжетами. Чехов потому так много написал, что не мудрствуя брал эти сюжеты и писал. Перед ним не стоял вопрос о том, напечатают ли тот или иной рассказ.

Здесь в нашей дачной слободке, каждая дача, жизнь ее обитателей, дает тьму сюжетов (…) Сюжеты валяются на белом

снегу, и никто их не поднимает.

(К "ДОМУ НА ПЛОЩАДИ")

Через 3 года после того, как фюрер Германии, Адольф Гитлер, со свойственной ему правдивостью и проницательностью сообщил миру о том, что русская армия уничтожена и более не существует, русская армия заняла Германию.

___

Так же трудно поверить в злой умысел человеку нормальному, как ненормальному, болезненному трудно поверить в отсутствие злого умысла. (Подозрительность — антипод бдительности.) Касаткин был уверен во вредительстве; Лубенцов — нет; он колебался. Прав в данном случае был Касаткин, но зато в другие разы оказался прав Лубенцов. Касаткин потребовал ареста Воробейцева — и он был прав; но он же потребовал ареста Чохова — и был неправ. "Нельзя впадать в панику", — сказал Лубенцов. Нельзя так сильно переживать из-за того, что один человек оказался подлецом, и уже подозревать всех в подлости. Зачем вы так пугаетесь? Ну, подлец Воробейцев убежал. Да хрен с ним! Это ведь небольшая потеря, это, м. б., хорошо, что он разоблачил себя и ушел, что он не с нами. Такие случаи еще будут и были. Они не так уж противоестественны при нынешних обстоятельствах в конце концов, когда два лагеря — лагерь тунеядцев и лагерь трудящихся — борются между собой с такой решительностью. Зачем же приходить в уныние и, тем более, впадать в панику?

30.12.53.

Я все один и один на даче. Роман понемногу движется, мелкой сеткой, как дождь. Еще ничего почти не написано набело, все — сплошной черновик; идет захват территории, закреплять ее буду после. Пока у меня работа более административная, чем художественная. Я воображаю, с какими проблемами сталкивается комендант и что бы я на его месте сделал во всех случаях; я создаю образ идеального, вернее — отличного коменданта; я, иначе говоря, воображаю себя комендантом. Идет создание воображаемой жизни, которая является материалом для будущего романа. Когда роман не идет, пишу стихи «Признания» и другие.

(10.I.1954 г.)

Новый год, вроде встреча его прошла хорошо. Много хороших светлых надежд. Много планов. Впечатление — все более укрепляющееся — мудрости, спокойствия и трезвости правительства.

29.7.54.

Мучает бессонница. Сегодня всю ночь не спал. И в этом

тяжелом состоянии самое страшное то, что вполне терпимые и приемлемые вещи кажутся невыносимыми, такими, что при их наличии жить нельзя. Любая дневная досада, обида, недоразумение кажутся невозможными, страшными — умри и только! Кажется, что ты задыхаешься, что нет тебе воздуха, нет жизни, что нельзя мириться с этим всем, что есть плохого на свете. В то же время разум работает, хотя и туманно, но четко. Он говорит и твердит: это тебе все представляется таким невыносимым; на самом деле все не так страшно; это — только от бессонницы и, м. б., от болезни — ты, вероятно, болен.

(Без даты.)

"Разве построишь коммунизм с такими людьми, готовыми уничтожить товарища?"

(Февраль — март 1954 г., Венгрия)

Моя жизнь превратилась в калейдоскоп событий и встреч. Как все писатели, я жаден до новых впечатлений и, как губка — извините за банальное сравнение, — впитываю в себя эти впечатления (…)

___

Народность, близость к народу. Общество писателей и общество вообще. Мой опыт: колхоз. Можно жить в колхозе и быть за 1000 верст от народной жизни; можно жить в столице и быть связанным с народом. Можно жить в Москве и не знать Москвы (о писателе, который умер, так и не повидав Третьяковскую галерею, хотя жил рядом с ней). Раз трудящиеся — в центре жизни, трудящиеся в центре литературы. С этим ничего не поделаешь. Это логика истории.

Но некоторые понимают это однобоко. Производство становится самоцелью. Как будто мы пишем о производстве как таковом, а не о производстве как средстве улучшения жизни людей, как о средстве воспитания людей. Поэзия Верхарна, ужас перед промышленностью…

Традиция — промышленность — новое, село — старое, бывшее всегда. На заводе человек не так виден, вокруг него "меньше воздуха", писатели в грохоте машин не слышат человеческого голоса, под копотью не видят человеческого лица. Пути преодоления этого — изучение жизни индустриальных рабочих. Фадеев, его жизнь в Магнитогорске. Моя предстоящая поездка на Урал.

Отношение к критике. Здоровое отношение писателей к ней. Заботливое отношение критики к ним — такое же, как вообще отношение к людям в социалистическом обществе, где критика — средство воспитания, а не путь к инфаркту миокарда. Поиски верного в любой критике.

И в то же время критика должна учиться… Критик должен сам знать жизнь не хуже, если не лучше писателя — тогда он может учить писателя.

С. Рихтер — прелестный человек, простодушный и, вопреки своей позе простодушия, он на самом деле простодушен. Поза у значительных людей не расходится с их характером, а только сознательно подчеркивает его.

Конференция читателей. Человек 250 — из заводов и учреждений Будапешта. Любят «Звезду». И особенно "Весну на Одере". Одна милая смуглая красивая девушка рассказала, что ее освободила в Германии из лагеря Сов[етская] Армия. Она многого не понимала, и "Весна на Одере" помогла ей многое понять. Она часто перечитывает эту книгу в минуты уныния, и эта книга всегда вселяет в нее бодрость и уверенность (…)

Значение сатиры общеизвестно.

В буржуазном обществе сатира играла прогрессивную роль, ибо она обнажала язвы общества, воспитывала людей в духе критики существующего строя, вооружала революционеров острым оружием. Всем известна нежная любовь В. И. Ленина к суровому, могучему и прекрасному таланту Салтыкова-Щедрина, всем известно, что поколения революционеров воспитывались на сатирических произведениях Гоголя, Некрасова, Салтыкова.

После революции, в период строительства соц[иалистического] общества и в эпоху построения социализма, некоторые теоретики л[итерату]ры считали, что сатира изжила себя, что, поскольку создан новый строй, основанный на справедливости, поскольку у власти стоит народ, — сатира отжила свой век. Дескать, как можно подвергать сатирич[ескому] бичеванию своих людей, вышедших из народа и т. д. Эти теоретики, весьма далекие от идеологии марксизма, не понимали той элементарной истины, что не может революция сразу уничтожить собственническую психику, не может сразу одним махом перевоспитать всех людей в духе коммунизма, что перевоспитание всего народа в духе коммунизма — процесс довольно длительный, требующий немалых усилий и широко поставленной идеологической работы.

Изъять из литер[атуры] сатиру — значит лишить ее оружия критики и самокритики, лишить писателя этого права, к[ото]рое у нас имеется у любого гражданина, права — открыто и смело бичевать недостатки и язвы. Сатира развивалась, вопреки этим горе-теоретикам. Произв[едения] Маяковского.

Ни для кого не секрет, что и в соц[иалистическом] об[щест]ве еще имеются всякие проходимцы, сволочи, что некоторые люди, да и просто головотяпы, своим недомыслием

часто наносят немалый вред народу. Да и нередко бывает, что хорошие люди страдают серьезными недостатками, от которых не могут так просто освободиться.

Бороться с этими явлениями методами искусства — задача важная, серьезная; надо ее выполнять и компартия поставила этот вопрос. Нельзя замазывать недостатки — это опасная вещь. Нельзя (…)

Писатели все острее пишут о недостатках в работе, круг их тем становится все шире, но основная тема — бесстрашная, пламенная борьба средствами искусства против бюрократизма, отрыва от масс некот[орых] работников, против зазнайства, против забвения того, что деятели в соц[иалистическом] обществе работают для народа и являются слугами народа; против тех, кто не выполняет указаний партии на этот счет, кто ставит личные интересы выше общественных, у кого еще не изжит подлый инстинкт собственности, хамское отношение к людям, к женщине, к обществу, против двурушников, говорящих одно, делающих другое, — одним словом, против прыщей, вскочивших на могучем здоровом теле социалистического общества.

Здоровое тело!

Не боимся критики, говорим на весь мир открыто о своих недостатках и ошибках.

Что теперь важнее — идейность или художественность — так ставить вопрос нельзя. Идейность и художественность неразрывны.

Генеральная линия! (…) Нельзя говорить: с одной стороны, с другой стороны (…) А где линия, от которой отклоняются? (…) Этакая пропаганда "золотой середины" — детки, все будьте довольны, кушайте хорошо (…)

Генеральная линия: воспитание любви к новому и ненависть к старому, буржуазному порядку. Образ положительного героя, новый человек, строитель народной демократии.

1.4.54.

Здесь прохладно, солнца почти нет. Очень тихо. Думаю, что работа пойдет быстро и ладно. Такое у меня предчувствие…

Море серое, довольно угрюмое, но и такое оно радует сердце…

Я всему рад — признак наступающей продуктивной работы…

Приехавший из Москвы писатель сообщил о том, что Президиум ЦК разрешил печатать поэму Твардовского, оставил Твардовского редактором и т. д… Это хорошо для литературы, и я рад.

21. IV.54.

Почти три месяца ничего не вписывал в эту книжку. Это было

время довольно интересное. С 17 февраля по 18 марта был членом сов[етской] делегации в Венгрии. Объехал эту небольшую, интересную страну. Уразумел, что такое народная демократия. Много чего видел, понял, обдумал. Приятно было убедиться в том, что народная демократия в принципе правильное и жизненное дело. Кроме того, мне пришлось много выступать, говорить и даже вмешиваться в литер[атурную] политику. И что же! Я блестяще справился с этой работой, проявив и такт, и политическую прозорливость, и настойчивость. Ох как легко заниматься лит[ературной] политикой и руководить л[итерату]рой и как невероятно трудно писать! Дело в том, по-видимому, что, руководя, и тем более, если ты понимаешь толк в делах, тебе помогают разные люди. Чем лучше руководитель, тем больший круг людей помогает ему. Писатель же — один как перст. Он и руководитель и руководимый. Он создает мир, он населяет его людьми, он руководит их поступками, речами, ужимками, улыбками. Он и администратор, и политик, и отриц[ательный], и полож[ительный] герой. Он — один, и несть человека, который может помочь ему. Хорошо, если созданный им образ сразу схвачен верно, и сам начинает как-то жить. Конечно, хорошо, но как бы он ни жил, как бы ни подсказывал поэту свои дальнейшие поступки, но ведь все это надо еще и написать! Просто написать на бумаге!

В этом секрет малописания у наших писателей. Они имеют возможность руководить. А это легче — вот в чем дело.

Роман за эти три месяца не сдвинулся с места. По приезде счел необходимым написать очерк о Венгрии. Закончу его завтра. "Глазами друга" будет он называться. Постараюсь написать хорошо, хотя очень трудно писать о стране, по которой проехал галопом.

7.7.54.

Говорить всерьез? Хорошо, если такой, как Чехов. А если такой, как Куприн? Дана ли мне сила прозвучать трубой на дорогах моего времени? Или только бабочкой махнуть крылышками по дорожке? Ведь я прирожденный драматург — и не написал ни одной пьесы. Ведь я чувствую настоящее кино и знаю, как его делать, — и не написал ни одного сценария. Я почти ничего не сделал — я, созданный для большого дела. Зная, что и кого винить в этом, я не могу не винить и самого себя.

Надо отказаться от суетности. Надо забыть, что у тебя семья и надо ее кормить, что есть начальство и надо ему потрафлять. Надо помнить только об искусстве и о подлинных, а не о мнимых интересах народа.

М. б., тогда можно еще что-нибудь успеть, хотя все равно не

все, что было бы возможно.

(Без даты.)

Какая радость описывать мирные картины, труд рыбовода, бакенщика, крестьянина, тихий смех девушек и чуть хрипловатые голоса парней, парочек, идущих к реке с таким видом, словно они идут в межпланетное пространство, плеск уток в озере, лай собак… Неужели мне не суждено все это? Неужели опять писать о боях, сражениях?

(31.VIII.1954 г., Махачкала.)

Очерк и его роль. Полезность очерка для работы над точностью слова, выражения, пейзажа. Жизнь — очерк. Очерк можно планировать. Очерк нужно делать. Очерк приведет к рассказу, новелле и т. д. Очерки Пушкина, Короленко, Чехова, Горького, Фадеева и др.

Отрыв писателей от читателей, от их нужд, приводит к отрыву читателей от писателей, к потере интереса читателя к писателю.

От незнания жизни — бесконфликтность, упрощение человеческих характеров, то, чем болеют мн[огие] писатели. Если знаешь жизнь — тебя не собьет редактор ("Хлопок", Овечкин). Незнание жизни мстит за себя надуманностью ситуаций и характеров.

Идейность ее будет только мнимой, поверхностной. Воспитательное значение ее будет неглубоким и скоропреходящим.

Отсутствие анализа произведений литературы — общее несчастье многих докладов и учебников (и статей).

Овладение методом соц[иалистического] реализма невозможно без овладения марксизмом-ленинизмом, этой важнейшей из всех наук. Не казенно, как бухгалтер. Без этого писатель, как дикарь, попавший в огромный город. Он видит: люди спешат, заходят и выходят из каких-то дверей, ездят странные козявки на колесах. Он замечает: такие-то люди, так-то одеты, так-то бегут (если он талант), но он не знает, куда, зачем и для чего.

О б р а з п о л о ж и т е л ь н о г о г е р о я. Он есть — смогите увидеть его. Это человек сложный, умный, мыслящий, деятельный, страдающий, как и полагается человеку, при встрече с недостатками, неполадками, при столкновениях со старым, которое кое-где еще сильно; но не опускающий руки, готовый драться за коммунизм; человек, полный оптимизма: человек светлый, прекрасный, хотя и обыкновенный.

Образ! Это слово я произношу тихо. Образ человека! На ум приходят сотни людей. Выбрать то, что нужно — слово, улыбку,

жест; м н о г о е о т м е т а т ь.

Статичное изображение действительности: так было в старину, так стало теперь: все сделано — и дороги, и колхозы, и души, и тем более горы. Между тем жизнь идет в противоречиях, в борьбе нового со старым.

Положительный герой в сатире. Чацкий, Гулливер, Мертвые души, ч. II, Дон-Кихот и т. д. Тем более у нас. Нужно только, чтобы положительный герой был так же сильно написан, как и отрицательный. А ведь многие делают ту ошибку, что в сатире вовсе не считают необходимым работать над образом п[оложительного] г[ероя].

О литературной критике. Слабость ее. Строгая, но товарищеская и заботливая критика, без крикливого тона, без любви к пустым сенсациям. Критик должен знать жизнь, иначе — писатель плохо знает жизнь и пишет, а критик еще хуже знает жизнь и пишет о произведениях писателя, плохо знающего жизнь.

23. IX.54.

Она прожила жизнь в молчании. Властность его характера и его эгоцентризм не позволяли ей сознаваться в своих слабостях, чувствах, интересах. Он, при его силе и связанной с силой самоуверенностью, брал все на себя и был удовлетворен ее подчинением и робостью. Позднее он возненавидел ее за ее молчание, потому что уловил за ним многое, не всегда благоприятное; он хотел, чтобы она была с ним свободна и откровенна, но было уже поздно. Так закрылся перед ним добавочный источник вдохновения. Сомнения в ее подлинных чувствах язвили его.

Так бывает с мужьями и правительствами.

24. IX.54.

Полное и безусловное неуважение к человеческому достоинству — пафос всех русских правительств за много сотен лет (читая Костомарова).

9.10.54.

Обожествление насилия.

Надо при необходимости уметь пользоваться насилием; надо знать, что в некоторых случаях нельзя без насилия. Но нельзя обожествлять насилие. Это мстит за себя впоследствии.

Оправдывать целью средства опасно. Средства действуют на цель и видоизменяют ее. В конечном счете, не верно ли будет сказать, что нельзя применять подлые средства для достижения благородной цели в той же степени, как не может быть благородных средств для достижения низкой цели.

27.10.54.

— Уважаемый читатель! — произнес он, насупясь, — эта

книга, которую я писал в продолжение нескольких лет, описывает то, что она описывает. Но дело не в том, что она описывает, а в том, к а к она описывает. Ибо то, о чем здесь написано, писали уже и до меня, но у меня оно описано лучше, потому что я понимаю явления глубже и к тому же обладаю некоторым талантом. Здесь, уважаемый читатель, описывается молодой человек 40-х годов, деятельный, умный, сложный, с достоинствами, свойственными людям с ясным и оптимистическим мировоззрением; мечтатель, способный претворять мечты в жизнь; деятель, умеющий поэтизировать свою деятельность; молодой человек, силой обстоятельств поставленный на место, дающее ему возможность развернуть полностью свои способности политика и администратора, самостоятельно мыслить и принимать решения — то, чего недостает многим молодым людям, из-за чего некоторые из них оскудевают сердцем и остывают умом. Фигура живая, но до некоторой степени условная — без чего нет литературы, а то, что я предлагаю вам — литература. Слишком сильная регламентация — враг молодых людей. Чем сильнее становится государство, тем больше простора должно оно давать духовному развитию личности особенно такое государство, как наше, основанное на стремлении к благу трудовых людей. Развитие личности, публичность, борьба с опостылевшим доктринерством вовсе не предполагает отсутствия дисциплины, напротив, создает дисциплину сознательную, как раз ту самую, что творит чудеса, уважаемый читатель. Принуждение — большая сила, но и большая опасность. Оно загоняет язвы вовнутрь. Оно создает оболочку, но не рождает ядра. Оно — родовспомогательница, но не мать. Принуждение порождает лицемерие; лицемерие порождает неверие; неверие приводит к загниванию общества.

27.12.54.

(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")

Он шел в Кремль в необычайно взволнованном и торжественном настроении. Предстоящая беседа с «хозяином», как его называли с легкой руки одного французского писателя, с первым человеком огромной и могучей страны, с вождем армии и «хозяином» идеологии половины человечества, возбуждала в нем бурные и разнообразные чувства. Однако главным среди этих чувств было чувство преклонения перед мощью и властью одного человека, вера в почти сверхъестественное его могущество. Этому чувству содействовал и пейзаж зимнего Кремля — царивший здесь образцовый, четкий порядок, такой, что уже безразлично, где запорошенный снегом часовой, где заснеженная елка; громада соборов чудовищно старинных, но как будто вчера только

построенных, настолько были они отлично содержимы; чугун решеток, своды полукруглых проездов, через которые никто не проезжал; гулкое эхо, отдающееся среди зданий, среди ниш, колонн и древних звонниц. Все здесь стояло могуче и твердокаменно, все ходило размеренно и торжественно и все тебя подозревало во вражде к тому, кто был единственным хозяином и жильцом всего этого единственного в мире ансамбля, к тому, кто царил здесь с большею властью, чем те, чьими заботами воздвигались здешние каменные палаты.

Повернув за угол какой-то церкви, он увидел нечто, что заставило его отвлечься от своих торжественных и робких мыслей. Старушка с белым фартуком, надетым на ватный полушубок, старушка с широким добрым лицом, с черным платком на голове, подметала снег большой дворницкой метлой. На ее обыкновенном лице с маленькими лукавыми глазками не было написано никакого благоговения. Она подметала снег так, как сотни других старух делали это на других, ничем не примечательных местах. Рядом на деревянном помосте у стены церкви сидел старичок, который латал стену раствором цемента. Он делал свое дело старательно и умело. Внизу стоял другой мастеровой, молодой, белесый. Все трое разговаривали негромко, буднично.

— Да, Настя вышла замуж, — сказала старуха. — Муж ее работает на складе кладовщиком.

Старик закурил и ответил что-то тоже очень обыденное. В их облике было очень обыденно все. И это глубоко поразило его. Ни страха, ни благоговения. Между тем весь здешний порядок, вся здешняя красота была сделана и поддерживалась этими людьми. И то, что снега нет на асфальтовых дорожках, а дорожки чисты и строги — это дело рук этой и других старушек; и сам асфальт был здесь выложен рабочими-дорожниками; и стены, такие строгие, были такими потому, что сюда приходили эти мастера с ведерком, полным раствора цемента. И эти люди жили в коммун[альных] квартирах. И дело свое все они делали спокойно, размеренно. И ему стало совестно своих рабьих чувств, etc.

13.2.55.

Нужно обратить теперь главное внимание на диалог. Он должен быть естественным, но содержательным, богатым, глубоким. Раньше, когда я был моложе и, следовательно, самолюбивее, и к тому же начинал — т. е. во время «Звезды», — я самые лучшие мысли приписывал не героям, а себе, автору, чтоб казаться читателю глубже и умнее. Это надо изменить. Авторский монолог — «Звезда». Конфликт личного с общественным — "Двое в степи"; внутренняя жизнь человека и его внешность — "Сердце

друга". "Дом на площади" — диалог. В этом, по крайней мере, центр моих стараний.

9.3.55.

Написать бы сценарий «Шаляпин». Но не липу, как наши пошлые биограф[ические] фильмы, а истину. Показать этого человека во всей его противоречивости, в хорошем и плохом — рвача и широкую натуру, скромного и тщеславного, русского народного человека и русского барина, европейского артиста и дикаря; друга М. Горького и сантиментального квасного патриота. Показать его сначала на Волге среди босяков, бурлаков и т. д., потом первые шаги. Известность. Подкуп человека из народа привилегированными классами; коленопреклонение перед Николаем. Раскаяние. У Горького на Капри: самоуничижение. Революция. «Дубинушка». Выступления на кораблях, на заводах — но за огромную мзду: сахаром, мукой и т. д. Единственный человек в Петрограде — сытый, гладкий, процветающий. Ленин голодает, Павлов замерзает — Шаляпин процветает. Уэллс у Шаляпина. Глазунов. Колебания Горького (…) Ленин и Горький. Шаляпин эмигрирует. Шаляпин в Европе. Великий артист. Выступления в Париже, Н[ью]-Йорке, Милане. Встреча в Париже с к[аким]-н[ибудь] молодым советск[им] инженером; гуляют по Парижу. Рассказ о России. Чтение «Правды» и т. д. И в то же время — дар епископу Евлогию. Маяковский в Париже. Последнее — старик Шаляпин (после сцены смерти «Дон-Кихота» Ибера) думает о России, вспоминает. Русский волжский пейзаж.

11.3.55.

Вспоминаю, как при писании «Звезды» я ужасался обыкновенности всех слов, которыми приходится оперировать. Не только слов, но и фраз. "Воцарилось молчание". "Наступило утро". "Пошел дождь" и т. д. Они мне казались столь избитыми, что я морщился от стыда, пиша их. К счастью, оказывается, что дело не в словах и даже не во фразах (и не в сюжете, разумеется) — дело в индивидуальности пишущего. Те же семь нот — в распоряжении Моцарта и Дунаевского. Ничтожества делают банальными слова и предложения. Таланты освобождают слова и предложения от дерьма банальности.

…Способна ли наша литература выполнить свою сложнейшую задачу? Да, способна… (д а л е е н е р а з б о р ч и в о)

Законы роста экономики и искусства не менее различны, чем законы роста кедра и белки.

Червячок живет на дубе, кормится его соками; однако он в отличие от дуба превращается в куколку, затем куколка расправляет крылья и превращается в чудо-создание.

Однако не будем забывать о белке. В кедровнике белка рождается и питается его плодами. Нельзя требовать от белки, чтобы она вымахала ростом с кедр. Надо ее мерять ее мерками, а не мерками кедра. И вот, когда меряешь литературу ее мерками, видишь, что она располагает несколькими десятками крупных талантов и несколькими сотнями менее крупных.

В условиях поразительного оживления идейной жизни в стране, восстановления ленинских норм (…) эти таланты способны (з а п и с ь н е о к о н ч е н а)

16.3.55.

С тех пор (после войны, когда я стал зажиточным литератором), как я начал интересоваться музыкой по-настоящему, я обрел новый мир — прекрасный и неожиданный, здешний и соседний, источник наслаждения, о котором даже не могут догадаться люди не хуже меня, живущие рядом со мной, но не интересующиеся ею. Музыку надо слушать с таким же вниманием, с каким приходится читать Гегеля, чтобы не пропустить главное и полностью насладиться. Речь идет о великой музыке. Настоящая музыка, кроме прочего, отличается от деланной тем, что она выражается только музыкой же. Грусть, растерянность, печаль, страсть она изображает самой собою, а не паузами, придыханиями, многозначительными исполнительскими вывертами. Пауза в музыке должна тоже выражаться средствами музыки. Так всегда делают Бах и Моцарт. Так не всегда делает Чайковский (…)

Слушал сегодня концерт для виолончели с оркестром Дворжака (…) Очень хорошо.

Роман-черновик пока идет быстро и лихо.

29.3.55.

Я превратился в машину для писания романа "Дом на площади". Утром я встаю и думаю только о Нем. Когда я завтракаю, я думаю о Нем и о том, что я должен мало есть, т. к. обильная еда мешает работе над Ним. Я ем мало и думаю о Нем. Для Него я гуляю, вовсе не испытывая удовольствия от гулянья. Я на все смотрю — на снег, на лес, на собак, на людей с той точки зрения, не может ли это дать еще что-нибудь Ему. Вечером, когда я встречаюсь со «слобожанами», я и то это делаю не для себя, а для того, чтобы не думать так много о Нем, чтобы завтра Он лучше двигался вперед.

2.4.55.

Пафос советского писателя — вера в народ, в простых людей, о которых и для которых он пишет.

Пафос наших редакторов — пафос неверия в народ, в простых людей, для которых они выпускают книги. Неверия в их разум,

вкус, в их советские убеждения. По сути дела оторванные от живой жизни эти редакторы представляют себе читателя большим, молодым и глупым недорослем, не способным разобраться в том, кто прав, кто виноват, что хорошо и что плохо. Как жалкий маньяк такой редактор, погребенный под ворохами рукописей, думает, что от него зависит, будет ли читатель за или против.

Если он, хитрый и умный редактор, вычеркнет место, в котором показано, что на войне убивают людей, — большой, глупый читатель убедится в том, что на войне не убивают, и охотно пойдет на войну; если он, хитрый и умный редактор, вычеркнет место, где показано, что некие люди живут еще трудно, большой и глупый читатель решит, что у нас все живут хорошо; если он, хитрый и умный редактор, не выпустит книгу или пьесу, где рассказано, что у нас есть бюрократизм, большой и глупый читатель будет уверен в том, что у нас бюрократизма нет. Если он, хитрый и умный редактор, вырежет абзац, в котором мужчина и женщина сближаются как муж и жена, большой, глупый читатель придет к выводу, что дети рождаются постановлением президиума райисполкома. Этот страус с автоматическим пером как он вредит нашему общему делу, как он деморализует и приучает к лжи советских людей!

О, как надоело хитрить, убеждая себя, что простым людям правда вредна!

7.4.55.

Разница между его и моей точкой зрения заключается в том, что когда ставится великий, чуть ли не гамлетовский вопрос: "Пущать или не пущать", он всегда говорит: "Не пущать", а я почти всегда — «Пущать».

15.4.55.

Какая это радость, вовсе лишенная даже оттенка тщеславия, прочитывать свое только что написанное и находить в нем красоты, мысли, характеры. Это чистая и высокая радость — удивляться не себе вовсе, а тому, что ты умеешь, не тому, что ты умен, талантлив, а тому, что в тебе — непонятно как, почему, откуда — есть что-то умное и талантливое, кое даже от тебя и твоего сознательного труда не очень зависит; при этом сознавать и сознавать все яснее, что твоя творческая сила — не твоя, она часть большой, всеобщей; ты только сосуд, и тебе глупо гордиться собой так же, как глупо глиняному сосуду гордиться вином, которое в нем содержится.

Почему так трудно побороть религию, суеверие, хамство, расовую ненависть далее в условиях, когда общество — против них? Почему все это так цепляется за человека, так цепко держит

его душу? Разгадка во впечатлениях детства. Дурной опыт передается поколениями друг другу с огромной силой, озаренной всеми сантиментами и всеми красками детской поры.

9 мая 55.

10 лет со дня победы над Германией. Это гордое чувство — быть одним пусть из миллионов победителей, участников этой самой тяжелой и самой великой из войн.

А роман идет к концу. Дней через 7–8 поставлю слово «конец». Теперь важнее всего — не спешить. Никому не давать до той поры, как я решу, что книга готова к печати. Кажется, это будет крупная книга, серьезная. Серьезная! Ведь важней всего, чтобы она была именно серьезной, т. е. чтобы события, описываемые, были взяты до глубины, и люди — тоже. Ведь главное, хотя и не сформулированное, требование читателей к литераторам: пишите серьезно. У нас пишут почти все про серьезное, но пишут не серьезно.

Время идет с ужасающей быстротой. Надо успеть кое-что сделать. Только бы не помешали внешние события. Думаю, что мы лет 10 продержимся без войны как минимум.

30.5.55.

Закончил роман "Дом на площади".

Теперь нужно бороться с желанием напечатать поскорее.

9 июня 55.

На днях рожала Эльба. Она принесла пять штук щенят. Рожала она всю ночь, каждые 1/2 часа — час выкидывая одного щенка. Я думал, что к утру она уже превратится в человека — так велики были ее страдания, ее чудовищная тревога, так взволнован и просветлен ее взгляд. Она звала меня посмотреть на ее детей, хватая зубами за штанину. Она спрашивала у Гали, как более опытной матери, как быть со щенятами. Потом она дня три-четыре не отходила от собачек. Поняв, в чем дело, она кормила, грела и чистила их. Но уже спустя четыре дня оказалось, что она, к моему удивлению, осталась собакой. Она стала лаять на прохожих и делать другие собачьи глупости.

6. VII.55.

Путешествие на Гарц.

Начинаю дневник.

Больше увидеть — вот главное настроение. Успеть увидеть как можно больше. До того это желание владеет душой, что уже в первые часы поездки жалеешь, что не можешь видеть обе стороны пути одновременно. Боишься, что когда смотришь в окно, — в другом окне пропускаешь нечто интересное.

Мои жизненные планы на ближайшее будущее понемногу выкристаллизовались. После поездки — закончить роман (ну, и

фильм), потом — поездка в Южную Россию — на Дон и Волгу, оттуда на Урал. А там подыскать интересный завод, поступить туда на работу и год жить там. Без семьи. На свою зарплату. Написать «Ошкуркина». Начать "Новое время".

15. XI.55.

1955 год (…) подходит к концу. Принято, что в эти дни народы и отдельные люди подводят итоги прошедшего года.

Попробую и я подвести такие итоги. Как всегда, я недоволен собою. Мне кажется — и, к сожалению, я не ошибаюсь, — что за прошедший год сделал мало и не так хорошо, как мне хотелось бы. Это вечное недовольство горько как желчь, но, пожалуй, плодотворно; оно язвит сердце, но заставляет требовать от себя большего, стремиться к большим задачам, к большему совершенству.

(1955 г.)

Он требовал от всех скромности, сам же был одержим бешеным честолюбием. Он требовал от всех бескорыстия, а сам жил, как миллиардер. Он требовал от всех моральной чистоты, а сам был глубоко аморальным человеком в семье и политике. Он учил всех быть марксистами и пролетарскими революционерами, а сам был обыкновенным царем. Ни Иуда, предавший своего бога, ни Азеф, предавший свою партию, ни Филипп Орлеанский, предавший свое сословие, не наделали столько вреда своему богу, своей партии и своему сословию, сколько он — своему делу.

(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")

В начале 23 года в Москву прибыли два молодых человека, совершенно разных по всем статьям и схожих только своей глубокой преданностью советскому строю, возникшему неполных шесть лет назад. Впрочем, обоим было по 15 лет, и поэтому им казалось, что революция произошла очень давно и новый строй жизни установлен чуть ли не от веку. Для молодых почти 6 лет это полжизни, время длиннейшее, для стариков шесть лет — мгновенье.

Один из них русский человек был сыном крестьянина Владимирской губернии, звали его Петр Корнеевич Еремеев. Второй — еврей, сын зубного врача, мещанина города Новозыбкова, его звали Григорий Борисович, или по метрике Гиршем Ботлиховичем Богуславским.

Монолог парижской проститутки (при виде русского в кафе):

— Какого черта вы молчите? Угостите черным кофе. Мне холодно. Я не встречала американцев, а негры из дансинга денег не дают. Женщины им платят. Глядите — эти, в темно-серых пальто, полицейские шпики. Кьяпп им всем роздал темно-серые пальто. Мне до того холодно, что я согрелась бы в Сене. Если вы

скучаете, я могу вам предложить соседнюю гостиницу или Сену — раз и навсегда. Мы ищем американцев, но какие это негодяи. Они платят за шампанское 100 франков, а женщине дают 10… Если вы не хотите любви, дайте белье — я стираю, как паровая прачечная. Вы норвежцы? Вы чехословаки? У вас деньги, вы купцы?

Но он не был чехословаком, у него не было белья, у него не было денег, он не был купцом.

На площади маленького городка гудит трактор «фордзон»; это практические занятия школы трактористов. Кто-то из обывателей замечает: "А как же с навозцем-то быть? Ведь трактор не лошадь — навозцу не дает?!"

— Отстали от века, почтеннейший. Химизация земли… Суперфосфат, почтеннейший.

___

Маяковский: Как жизнь? Довольны ли вы сегодня своей жизнью? (…) Придумали ли за ночь смену огню или написали марсельезу? Как вы думаете, будет этой весной война? Неужели сунутся? Ужасно не хочу войны. Если случится — приду с чекой в Париж. Знаю состав этого города. Буду полезен. Как у нас с газоубежищами? Строят ли? Сомневаюсь. Ужасно мне жалко, что не мы украли Кутепова — чисто сработано. Пусть боятся нас. Вдруг сопрем Кьяппа. Как полагаете, нужен нам Кьяпп?..

— Вчера вечером — заводская аудитория, только что с работы. Один читает: "Работать, работать, работать. Отдых будет потом". Хамский тон. Так разговаривают буржуи, хозяева с рабочими. Треплет свысока по плечу усталых людей.

— Рабочий поэт — это работать днем и ночью. Напрягаться над строчкой до слез. Просыпаться ночью и искать нужное слово, плакать от удовольствия, когда строка наконец сомкнута. Пролетарский поэт! Глупость и дрянное качество компрометируют термин (…)

(…) — Вы читали Чернышевского "Что делать?"? Я сейчас читаю. Меня книга занимает с одной определенной стороны. Тогда проблема была в том, чтобы разрушить семью, теперь — в том, чтобы строить семью. Очень трудно это. Легче строить социалистические города, заводы… Ох, как плохо у нас пишут в газетах, как серо о красном, глухо — о звонком, пресно — об остром. (…)

— Читали в «Правде» Ермилова против вас и Сельвинского?

— Против Сельвинского согласен. Против меня — чушь.

— То же самое говорит Сельвинский, только наоборот.

— Несомненно. Он всегда говорит наоборот… Пошли завтра на мою выставку? Вы были, м[олодой] че[лове]к, на выставке

Маяковского XX лет работы? Нет? Приходите завтра. Приму вас по-царски. А сейчас спешу в Краснопресненский клуб, там заводские комсомольцы меня ждут. Очень уважаю эту публику. А Ермилов что? Пьявка. Толстенькая. Синеватая. Жизнь замечательна. Жизнь очень хороша. Правда?

Неопытность на совершенно новых путях в вопросах морали. Доносы и т. д. для блага родины — дело сложное и обоюдоострое в высшей степени. Ради любого высшего блага делать подлости должно воспрещаться (…)

12.4.56 г., Кисловодск.

Месяцев пять ничего не записывал в эту книжицу. Позор, конечно. За это время испытал свои силы, как гл. редактор сборника "Лит[ературная] Москва". Окончил и напечатал роман "Дом на площади" — напечатал раньше, чем следовало бы, уж очень хотелось вовремя выпустить сборник к съезду. Съезд партии, как и ожидалось, стал большой вехой. И это самое главное, самое главное, что сказаны слова правды. Это даст, не может не дать, великих результатов. Теперь правда — не просто достоинство порядочных людей; правда теперь — единственный врачеватель общественных язв. Правда и только правда — горькая, унизительная, любая (…)

13.4.56.

А роман? Что роман? Хорош ли он?

Он — конец периода.

28.7.56.

Пространства так велики и так еще необжиты. Можно проплыть много километров, прежде чем увидишь огонек избы, деревню, пристанешку, даже сенокос. И это не Сибирь, не Уссурийская тайга, а Россия — Волга и Кама. Как странно! Все время кажется, что люди делают не то… Похоже, что и начальство стоит, уставившись, и глядит как заколдованное в одну точку Москву. А когда Москва говорит: делай, то делают, но спустя рукава и только то, что нужно сейчас, сегодня, завтра, не больше (…)

29.7.56.

Проехали Чистополь. Город не виден, он на обратном скате высокого берега. Здесь жили в эвакуации писатели и их семьи. Пастернак, Алигер, Асеев. Здесь бедствовала одинокая Марина Цветаева. Скоро будем в Елабуге, где она повесилась, бедная. О ней я еще напишу. Здесь еще будет памятник ей поставлен, если есть хоть какая-нибудь справедливость.

Впрочем, не в памятнике дело. Надо оживить, поднять эти места. Чтобы всюду были веселые люди. Да, есть плотины, есть электростанции, элеваторы попадаются, — но все это редкие

изюминки в огромном бедняцком пироге.

Каждый вечер, перед тем, как я ухожу спать, я с непритворной нежностью прощаюсь с рекой: "Ну, будь здорова, завтра увидимся". С ней трудно расставаться, как с любимой.

1 августа 1956 г.

Пароход не очень быстро, но неотступно движется вперед, и это равномерное движение наполняет сердце покоем. Мы въехали в Пермскую область. Берега Камы очень красивы. Левый — низменный, порос осокорями, ивами, иногда видны остроконечные верхушки елей. Правый — высокий, зеленый. Там пасутся козы, эти коровы бедняков. Коров не видно. Навстречу попадаются плоты, плоты, плоты… Иногда — пароходы. Как приятно встретить знакомые имена: Вс. Вишневский, Вл. Маяковский.

Всюду хочется быть. Хочется плыть в избушке, установленной на длиннейшей барже. Хочется жить в домишке на склоне высокого берега, среди сосен. Хочется закидывать сети с баркаса, хочется плыть на плоту с рыжей дворнягой и рыжей простоволосой бабой. Хочется всюду остаться надолго, навсегда, на всю жизнь, с тем, конечно, чтобы жизнь была не одна (…)

Сегодняшнее утро я провел в 4-м классе. Беседовал с плотниками, выпил со сплавщиками. Поговорил с интереснейшим православным священником, отцом Иокинфом, о котором можно и нужно написать рассказ. Это — рассказ о русском долготерпении и о могучей силе ленинских идей. Ему 72 года. Он окончил Тамбовскую духовную семинарию. Он разуверился в боге и православной церкви и был готов громогласно уйти из нее, но тут его арестовали и выслали в Соловецкий монастырь. Это было в 1929 году. С тех пор до 1944 года он был в тюрьмах и ссылках. Затем его выпустили. Он пытался было сказать, что не будет служить и что церковь им забыта, но с удивлением заметил, что это воспринимается почти как контрреволюция. Он смирился и ради освобождения согласился быть попом.

Мальчик в шитой-перешитой вельветовой курточке, вправленной в штанишки, в школьной форменной фуражке, конопатый, любопытный, всегда голодный, вечно жаждущий чего-нибудь вкусного или на худой конец нового.

Цену вещам знают только дети. Любая вещь для них — большое переживание. Она для них — новости, вот в чем дело. "Цену вещам" не в смысле их ценности покупной, потребительской, а в смысле их абстрактного, абсолютного значения.

Уже 1 августа! Кончается седьмой день поездки на пароходе. Сегодня стало очень тепло, даже жарко. Река вся в солнечном

свете (…)

Хочу быть редактором. Мне скоро пятьдесят лет. Не из честолюбия, а зная, что я могу это делать (…) Невозможность дать свой максимум приводит к неудовлетворенности. (Это личный момент.)

КРАСНАЯ НОВЬ

Журнал революционный, ленинский, (…) ставящий острые вопросы жизни и воспитания, партийно влияющий на молодежь, на фрондирующую часть интеллигенции, ведущий пропаганду не для уже давно распропагандированных, а для сомневающихся, ищущих, думающих, заблуждающихся, трусящих, брюзжащих, дрейфящих — т. е. пропаганду среди тех, которые в ней нуждаются. Диалог с буржуазной интеллигенцией, перетягивание ее на нашу сторону, переубеждение ее, а не отталкивание. Борьба за нее с буржуазией, а не отталкивание ее в лагерь буржуазии. История показывает, что многие интеллигенты буржуазные переходили на нашу сторону, видя нашу правоту.

Нет ничего вреднее головокружительных вознесений и головоломных падений. И то и другое увечит писателя. Не надо спешить с оценками, не надо слишком часто подбивать итоги. Это создает иерархию, которая не всегда является иерархией таланта. Нужны дискуссии, где исход не предрешен заранее, участие в которых не опасно для чести писателя; дискуссии, отчет о которых в печати не будет перевран, а в случае чего, можно добиться печатного же опровержения. Этот жанр вывелся. Честь мундира дороже чести литератора. Нужно искоренить грубый тон, привычку чернить друг друга под предлогом "партийной страстности".

Литература растет не от заседания к заседанию, а от произведения к произведению.

(Без даты.)

(…) "В нескольких словах"! Господи, сколько же самонадеянности скрывается даже в таких скромных людях, каковым считаю я себя. Чтобы дать представление о событиях последних десятилетий, нужно написать сто томов такой же реалистической многогранности и точности, как "Война и мир" или "Божественная комедия", и одновременно такой же правдивости, как «Западня» или "В погоне за утерянным временем". Нужно собрать в этом сочинении весь душевный пыл миллионов, весь фанатизм десятков, одиночек, всю кровь и все слезы, весь пот (…)

Люди будущего! Я не знаю, как сложится ваша жизнь. Я пытаюсь представить себе это, как могу, но это мне трудно. То я полон оптимизма, и я думаю, что вам хорошо, что ваша жизнь

полна до краев переживаний, сердечных смут и преодоления их, то мне начинает вдруг сдаваться, что жизнь у вас грязная и темная, мутная. Не знаю. Мне хотелось, чтобы всем было хорошо, дети моих правнуков. Мы мечтали об этом, мы волей и неволей, по душе и за рупь старались добиться этого, как умели. Если это не получилось — не наша вина: мы просто, значит, не знали как.

Но как бы то ни было, я обращаюсь к вам с просьбой помнить и никогда не забывать:

1) Цель не оправдывает средства. Средства хитрые, они любят потихоньку отодвигать цель, затем подкраситься под нее и притвориться ею.

2) Каждый человек в отдельности — большой, сложный и драгоценный мир; если же у него талант — то тем более он сложен, драгоценен и единственен.

3) Как нельзя достигнуть красивыми средствами низкой цели, так нельзя и достигнуть прекрасной цели низкими средствами. Это не политический сантиментализм, а исторический опыт. Надо только помнить, что не насилие само по себе дурно. Без него нельзя обойтись. Д у р н о н а с и л и е н е н у ж н о е.

НИКИФОР ОШКУРКИН*

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В селе Куриловке Н…ского уезда Ярославской губернии в 20-х годах нашего бурного века жил зажиточный хозяин Никифор Фокич Ошкуркин. Он был родом из дворовых людей графа Шереметева. Отцу его, Фоке Демьяновичу, была дана вольная еще до освобождения крестьян за то, что Фока Демьянович во время разлива Волги спас не то от смерти, не то просто от простуды одного из барских сынков.

_____

* Одно из начал задуманной повести. (Примеч. составителя.)

Кроме вольной, Фока Демьянович получил и какую-то награду деньгами, и эти деньги оказались счастливыми — Фока Ошкуркин, занимавшийся дублением шкур, бросил свой малодоходный промысел и стал возить в Москву живую рыбу. Рыбу эту возил он в садках, обложенную льдом, на санях и в дровнях. Особенно славилась волжская стерлядь, и эту чудесную красивую рыбу Фока Ошкуркин возил к «Яру» и в другие московские трактиры по 12 рублей пуд. Старший сын его, Никифор, после смерти отца, продолжал это доходное дело. У него к началу первой мировой войны работало две артели рыбаков; он имел 10 лошадей; когда стали делать холодильные вагоны, Никифор Фокич сразу понял преимущества этого диковинного устройства: заарендовав один вагон, он стал возить

стерлядь по железной дороге и поставил дело на широкую ногу.

Политикой Никифор Фокич не интересовался, царя и его чиновников тем не менее не уважал, считая их тунеядцами и обдиралами. По его, Никифора, мнению, вопреки Св. писанию, всякая власть была не от бога, а от диавола; и искусство жизни состояло в том, чтобы жить обособленно, вольно, независимо, откупаясь от власти взятками, а от босяков и любителей чужого добра защищаясь своими, наемными людьми.

Падение царя он поэтому воспринял хотя и с удивлением, но безо всякого уныния. Наоборот, он шел одним из первых на манифестации, устроенной городской управой в честь Февральской революции. Будучи человеком среднего достатка (у него в банке было денег 12 тысяч рублей), он тем не менее считал себя причастным к великой братии предпринимателей и надеялся в скором времени при помощи долгосрочного кредита выбраться в крупные воротилы. Дело в том, что он задумал сам открыть трактир в Москве и продавать там свою рыбу, загребая большие деньги. Трактир этот, или как их нынче называли «ресторан», должен был называться «Ярославль». В его памяти глубоко засели удивление и зависть к владельцам больших трактиров, которых он видел, когда езживал ребенком вместе со своим отцом и очередным грузом стерлядей в Москву.

Никифор Ошкуркин был человеком невысокого роста, но крепкий, кряжистый, с незначительным, медно-красным лицом и светлыми волосами, которые уже с тридцати лет стали выпадать, что увеличило лоб, сделало лицо более благообразным, чем оно было в юности. Бородка его, реденькая и желтоватая, росла туго и так и не смогла стать большой и окладистой, как у покойного отца. Притом он имел глаза черные, как угольки, цыганские, и они так не шли к русым и редким волосам, что иногда казалось, что они с другого лица взяты или оттяганы по суду. Одевался он, несмотря на приличный достаток, весьма просто, по-мужичьи, и только зимой выглядел довольно нарядно в бекеше с каракулевой опушкой и черном картузе с высоким околышем и лакированным козырьком. Летом он ничем не отличался от остальных мужиков. Водки не пил и только изредка — раза три в год запивал дня на два, на три, и тогда становился безобразен, плаксив и терял всякое человеческое обличье. Было замечено, что такого рода запой случается с ним после какой-нибудь несправедливости, совершенной им. Так, например, случилось после того, как он выселил свою мать из большого отцовского дома в курную черную баньку на окраину деревни, т. к. старуха была строптива и начала впадать в детство. Баньку эту он, правда, привел в неплохой вид. То же было и после нашумевшей истории в 1916

году, когда его кассир-артельщик Степан Иванович Белобородов, возвращавшийся из Москвы с выручкой, был ограблен в дороге. Старику Белобородову грабители нанесли две ножевых раны. Но Ошкуркин подал в суд и, давши много взяток судейским, добился того, что Белобородова присудили к каторге — как соучастника грабежа, и к возвращению убытков. Ошкуркин забрал все имущество кассира, человека тихого и безответного, считавшего себя к тому же виновным в убытке, так как грабеж удался по его неосторожности.

После таких случаев Никифор Ошкуркин пил два-три дня, а после запоя ходил в церковь, хотя в бога не верил и ни во что не верил, кроме как в рупь.

Дом Ошкуркина был лучший в селе. Он находился напротив церкви, рядом с поповским домом. Первый этаж его был кирпичный, второй — деревянный. В доме внутри было полутемно, тихо и прохладно в любую жару, потому что кругом стояли старые липы, ставни оставались всегда закрытыми, а внутри крашеные полы были всегда чисто вымыты, свежи и сыроваты.

Впрочем, дом этот был очень ветх. Балки в нем прогнулись, потолок второго этажа вогнулся и внутри стен иногда слышался шум — потрескивание и вроде как бы тихие, почти человеческие голоса. Голоса эти наводили страх на Акулину Тимофеевну, жену Никифора, и она вообразила, что в доме поселилась нечистая сила. Однако Никифор Фокич, привязанный к своему дому, к его сыроватой тишине и темным закоулкам, отвергал новшества. Службы свои он перестраивал несколько раз, а дом не трогал, только поправлял то венец, то завалинку, то ставя новый столб для поддержки потолка. Столбов этих набралось много, они уродовали дом, но Никифор Фокич оставался к этому вполне равнодушен.

Старший и младший сын — разница в шесть лет. Старший нянчил младшего. Они очень похожи, но эти 6 лет оказались решающими для направления ума. Два разных поколения. Одному в 1917 году было 16 лет, другому — 10 — и разные поколения. Первый — тяга к собственности, к уединению, к семье, центростремительный, второй — к обществу, общественный темперамент, центробежному движению души.

___

Клятва: пока будет кровь в жилах и сердце будет биться — пусть в пыли, во прахе — буду бороться против собственничества — источника всех человеческих бед, жадности, подлости.

___

Федя почти не думал о матери, она, сгинув с его глаз, исчезла

и из его души. Слишком незаметно прожила она жизнь, растворилась, как соль в воде, в доме, семье, белье. Но в это мгновенье он вспомнил всю ее, от маленького лба до носков черных катанок, и ему вдруг захотелось броситься перед ней на колени и целовать ее морщинистые жесткие руки, обливая их слезами. Ему казалось, что ее руки с порезами от (секачей) ножей, острого хвороста он видит, и он их нюхает, и запах лука, навоза и молока, запах кухни и стирки поражал его в самое сердце.

Федя в 1945 году (для получения справки о хозяйстве отца — в связи с кознями "доброжелателей") едет в родную деревню. Красивая станция, электричество, улучшена дорога; в деревне — одни женщины; предсельсовета (знакомый) — пьет; многие дома пустуют, все знакомые — в городах; в церкви зато — колокол звонит; старый попик (знакомый?), народу много.

12.1.57.

Монолог бюрократа: "Нет, так дело не пойдет! С нами так нельзя! С нашим братом церемониться — всему конец. Нас надо держать в узде, страхе, в ужасе, в состоянии подавленности и унижения. Да попробуй и дай нам волю — и мы все государство растащим, и народ против государства возбудим, и сами себе таким путем могилу выроем. Нам надо говорить: делай вот так, а не сделаешь — голову долой! Тогда мы сделаем и сделаем приблизительно так. А не скажут нам, не спросят — мы и не сделаем, мы на службу приходить будем, но ничего делать не станем, а если станем — то все не так, все наоборот, все ногами кверху, шиворот-навыворот. Пройдет годик-два, народ оглянется и увидит: они-то ничегошеньки не делают. И нас попрут и все у нас отнимут. Нет! Нас надо держать в узде, в ужасе, желательно даже, чтоб нам давали в морду — разумеется, не публично, а келейно, тут же в кабинете, может быть, — в определенные часы".

Бездарные люди пишут много из стремления прославиться. Таланты пишут много, потому что им доставляет удовольствие сам по себе процесс писания.

Поездка в Ярославскую область.

31.3. - 14.4.57 г.

В Ярославле я пробыл полтора дня. Побывал на областном совещании по сельскому хозяйству. Оно протекало казенно, скучно, без задора, без души. Доклад предоблисполкома и выступления — почти без исключенья — читались с бумаги и состояли из надоевших до колик в животе выражений. Большой театр им. Волкова лежал под прессом невыносимой скуки. Публика, состоявшая из колхозников, председателей, животноводов, либо переговаривалась меж: собой, либо уныло

глядела выше сцены. Нужно иметь терпение русского крестьянина, чтобы все это выслушивать в который раз.

Исключением среди выступавших был один пред[седатель] колхоза Дормаков Василий Яковлевич. Сидевший рядом со мной человек, в ответ на мой вопрос, сказал, что это — бывш[ий] пред[седатель] райисполкома, пошедший три года тому назад в предколхоза и поднявший за это время колхоз из "самых отсталых в самые передовые". Дормаков говорил без бумажки, просто, ясно. Мне понравилось его лицо. Пользуясь своей писательской экстерриториальностью, я попросил одного сотрудника облисполкома, знающего кто я, познакомить меня с Дормаковым. Мы познакомились, и я сказал ему, что завтра буду у него в колхозе.

2 апреля я приехал в колхоз "Луч коммунизма" (…)

Я с председателем в санках поехали на "скотный двор". Неблагоустроенность фермы потрясающая. Доярки и скотницы работают в очень тяжелых условиях. Грязно и скученно. Но работают отлично. Молодые девушки, больше всего 23–25 лет, незамужние: работа забирает все время, с рассвета допоздна. Девчата прекрасные — скромные, умницы. Одна из них Нина Крылова — прелесть, само обаяние: некрасивая, рыжая, длиннолицая, застенчивая и работящая до исступления. Дормаков сумел установить четкую прогрессивно-премиальную оплату и превосходный учет. Каждая доярка точно знает, сколько выдоила и что за это получит. Соревнование тут не простой звук, а точная арифметика. Существуют переходящие "вымпел лучшей бригады" и "вымпел лучшей доярки колхоза". Эти вымпелы вместе с премиями выдаются ежемесячно.

3 апреля в 10 ч. утра началось заседание правления вместе с животноводческими бригадами для вручения вымпелов и выдачи премий. Все это заседание я слушал с захватывающим интересом и чувствовал себя как в театре. Конечно, все решает Дормаков, его работа, его мудрый, усталый взгляд, его интеллигентность, его простота, его умение управлять людьми, уважать людей, влиять на них.

Это заседание я попытаюсь точно описать, хотя самое лучшее было бы его застенографировать.

Вступительная речь Дормакова отличалась той же ясностью и хорошим стилем, как и его речь в Ярославле; здесь он был больше в своей тарелке, и говорил интереснее. Разумеется, он рассказал и о том, что видел вчера на ферме (в бригаде № 2) (…)

Конечно, Дормакову пришлось тут поработать, сломать рутину, выдержать серьезную борьбу. Особая оппозиция — бывшие председатели колхоза, а имя им легион. Один из них

теперь зам. председателя, (…) большой, черный, красивый, представительный, вероятно, честный, но глупый мужик. Члены правления и бригадиры — старательные в меру, есть среди них живые люди, особенно приятна бригадирша 2-й фермы, Ольга Строителева — разумный человек, но легкая на слезы женщина с милым лицом и большими глазами. Но замены Дормакову нет. Можно с ужасом представить себе, что будет, если он выйдет на пенсию или просто уйдет: он человек немолодой, с потрепанным здоровьем, больными ногами и явно подпухшими руками: сердечник. Все 9 деревень не могут дать работника такого размаха и ума. Когда он уехал в Кисловодск, все бригадиры стали пить водку, и дело пошло вкривь и вкось.

(…) Молодежи в колхозе много, но все на нее жалуются: работают не важно, ведут себя плоховато. Секретарь комсомола — кокетливая девица Маруся — конечно, не в состоянии что-либо сделать, да и не знает толком, что делать.

На правлении обсуждали проступок одного комсомольца — Наумычева. Он самовольно взял лошадь и привез себе дров. Маруся в ответ на вопрос Дормакова, пролепетала, что "он ведет себя на собраниях тихо, но хоровой кружок посещает редко". Кто-то сказал, что он много читает. Дормаков использовал это, сказав, что Наумычев читал про молодую гвардию и "Как закалялась сталь", а сам не следует этим примерам. Эти прямолинейные параллели звучат слабо. С воспитанием дела обстоят из рук вон. Молодежи не хватает настоящей идейной заинтересованности в жизни. Одна работа и связанная с ней большая зарплата не в состоянии удовлетворить. А кроме работы, рабочей дисциплины и разговоров о той и другой, нет ничего.

На правлении разбирались заявления колхозников — главным образом о предоставлении им леса для ремонта домов и других матер[иальных] делах. Дормаков умен и щедр, хотя и с разбором. Одной семье выдали 7 тыс. рублей — ссуду на покупку дома — выдали, не поморщившись. С лесом дело сложнее — у колхоза леса почти нет, а лес, получаемый из других источников, нужен для строительства общественных построек.

Работать нужно до завтрака. Попробую установить такой порядок: вставать в 7.30, работать с 8 до 12 — завтрак, потом час спать, потом работать еще три часа (но не писать, а читать и заниматься делами письмами и т. д.) и остальное — как сложится (…)

* * *

Возвращался в Ярославль на машине секретаря райкома. Шофер Михаил бывший матрос Северного флота, умный и дельный человек; хорошо бы ему обменяться ролями с секретарем

райкома (…) на годик-другой. Много читал, ясный ум, знает положение в колхозах до тонкостей.

Он раньше работал у директора МТС Бубнова. Теперь Бубнов — пред. колхоза им. Чапаева. Больной человек. Полный энергии, напора, прекрасно знает сельское хозяйство. Бывало, едут они, вдруг Бубнову станет плохо; он останавливает машину, сидит несколько минут молча, потом едут в деревню, он в первой попавшейся избе лезет на печь, лежит минут 15, потом слезает и снова бегает, кричит, орет — действует. Колхоз стал хорошо работать. Жена Бубнова, простая пожилая женщина (она ехала со мной до Ростова) рассказывала, как она отговаривала его идти в колхоз, но он пошел все-таки. "Ну, умрет, разве государству от этого польза?" — говорит она, но в ее тоне гордость за мужа.

5. XI.57.

В последние месяцы произошла научно-техническая революция. Земля имеет двух спутников, одного — с летающей собакой. Да, вокруг Земли вертится с гигантской скоростью вагон, в котором лает собака. Несмотря на все ухищрения и софизмы религии, это — окончательное доказательство отсутствия бога и ангелов его. Это, кроме того, решающее достижение на пути к другим мирам. И то, что это сделали мы, — очень важно и знаменательно. Это — плоды тридцатипятилетних трудов великой науки и целеустремленности в главном — чаще всего за счет остального. Только народ, отказывающий себе во многом, может добиться этого.

План 1958–1959 гг.

1. Ленин в Разливе (повесть).
2. Столица и деревня (повесть).
3. Крик о помощи (повесть).
4. Рассказ «Отец».
5. Окончат[ельный] план 5-й части романа.

Далее:

1. Роман.
2. Ст[алин] на Рице.
3. Конч[ить] "При свете дня".

12.12.57.

Поезд стоит на станции Сызрань. Глубь татарской Руси. Темно и неприютно. Лежит предвечерний голубоватый снег — основательный, уемистый, молодой, сильный, и кажется, что тут и лета никогда не бывает.

Настроение — состояние вечного, застарелого ипохондрика. Я еле узнаю себя — полное отсутствие жизнерадостности, несмотря на то, что я всегда раньше был путешественником живым, непоседливым и любознательным. Не хочется сходить на

станции, разговаривать с людьми. Вдоль железнодорожного полотна ходят люди. Они здесь живут. И если бы мне суждено было здесь жить — жил бы. Глушь — что такое глушь? Вся наша планета — глушь планетной системы.

14.12.57.

Оцепенение и отвращение к жизни понемногу уходят. Чудо — за одну ночь все изменилось. Вчера поздно вечером впервые вышел погулять на станцию стоял мороз, все в валенках. Сегодня мы едем вдоль Сырдарьи. Степь вся освещена солнцем. Снега нет вовсе. Верблюд время от времени проходит мимо. Глубина Азии и все интересно. Старуха и девушка на черном ослике медленно трусят по серой дороге вдоль рельсов. Впервые в жизни видел глинобитное магометанское кладбище. Небо чистое, голубое. Воды Сырдарьи не замерзли. Степь необъятна. Здесь и есть родина моего Джурабаева. И я очень точно описал ее, еще не видев. И его характер — под стать ей.

Кругом — серые мазанки под плоской крышей, продолговатые, одно, двух и даже трехтрубные, похожие на глиняные пароходы. Вся степь облита нежарким солнцем. Лица людей — плоские, узкоглазые. Кочевники некоторые с рысьими шапками. Вместе с тем — городская одежда, автомашины и мотоциклеты. Огромные псы — надо думать, пастушьи. Длинноухие ослики радуют душу.

МИФЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ

Повесть

Старик и мальчик. Соленое море. Юрты кочевников. Первые посевы. У царя. Одежда и утварь. Зависть Старика. Он поет. Свара с другим рапсодом Бородатым. Их зависть. Его досада: они поют его песни. Они избивают его. Он стал много плакать — особенно во время пения. Начинает плохо видеть.

Первая песня. Битва богов. Бог Света — Илен, бог Тьмы — Тилес. На острове большом, где живут боги, Тилес отравляет Илена, переодевается в него. Царствует вместо него. Затем убивает всех его детей, которые начинают догадываться обо всем. Война хлебопашцев. Хлебопашцы захватывают город втайне от Тилеса и объявляют себя его детьми.

Смерть Тилеса. Борьба с его трупом. Вонь. Курение фимиама. Мальчик: "Надо его вынести". Мальчика выбрали царем (…)

Миф о Слове и деле.

Миф о Цели и средстве.

Миф о зле и добре.

Миф о теле и о части тела.

Миф о сыне Солнца.

БОРЬБА МИРОВ

Тьма освещается. Свет помрачается. Мировой пожар. Мужчина и женщина. Ой и Ая. Новое поколение, потомство: первые уроды; вторые — уроды; третьи — хорошие люди, сильные и глупые.

Запретные пространства — т а б у (больше на юг и на запад нельзя идти под страхом мучительной смерти).

Рознь двух миров. Мир света темнеет и поэтому гибнет.

Миф о пяти тысячах поэтов в одной деревне.

Миф о тысячах флейтистов в одной деревне.

Миф об ученом, изобретшем крылья.

Миф об инородце.

Миф о простоте, к[ото]рая хуже воровства.

Редко когда Старик смеялся. Жизнь казалась ему глупой и горькой. А если смеялся, то желчно и зло, и Мальчик в таких случаях боялся за него Старик после своего желчного смеха дня три ничего не ел и ни с кем не разговаривал. Это был, по сути дела, отвратительный, злобный старикашка, и никто не мог бы подумать, что ему присущ дар высоких песен. Не было юмора и в его песнях. Он появлялся изредка и тоже в злобной форме.

Конец мифа о Тилесе. Он однажды заметил, что его обделили мясом (это было в доме у царя Катари), закончил неожиданно быстро и резко. Но этот конец, никем не ожидаемый, всем очень понравился. Много раз затем его просили закончить именно так, но он неизменно отказывался, так как считал это святотатством. Однако Бородатый, прослышав о новом, смешном конце, долго приставал к Мальчику, чтобы тот ему рассказал, в чем дело, и Мальчик ему рассказал, и Бородатый стал петь песнь с этим концом, правда — гораздо более грубый и менее изящный.

Старик находит новые метафоры: "Ясная улыбка обожгла его лицо", "лицо ее вспыхнуло" и т. д. — и счастлив своим находкам. Эти метафоры начинают называть «омирическими».

20.12.57.

Приехал в Самарканд. Теперь вечер. Я еще ничего не видел, но чувствую, что это очень своеобразно, судя по слабо освещенным улицам и домам.

23. XII.57.

Эти восточные республики представляют собой зрелище чрезвычайно интересное. Тут странная смесь — национальная, главным образом — разных племен, производств, даже эпох…

Самарканд требует отдельной записи. Самое интересное: мечеть Биби-Ханэм, Мавзолей Шах-и-зиыда, Гур-Эмира. Мечеть (действующая). (Надо о ней специально записать.)

Бухара, 23.XII.57.

Один день был в Бухаре. Осмотрел старину. "Башня смерти".

Муэдзины 4 на все стороны света.

Запишу отдельно.

(Конец декабря 1957 г. Средняя Азия.)

Одно дело — показать, что ты понимаешь жизненные процессы, другое показать жизненные процессы. Во втором случае авторские отступления, самые гениальные, помочь не могут. В первом случае можно создать блестящие произведения, но нельзя создать великие.

У одного — орден Ленина, у другого — два ордена Красной Звезды. Последний сердится: не гордись своим, мне тоже не задаром дали.

(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")

Узнав, что Шаляпин уехал за границу и не вернулся, Ваня очень жалел об этом, а главное — недоумевал, как это мог великий русский артист уехать, когда здесь — все так хорошо и правильно? Он не мог поверить, что кому-то — кроме буржуев — может не нравиться справедливый правопорядок. Он думал: человек, который так пел «Дубинушку», из простых людей и так поступил.

1926 — 28

Приходя в этот дом, Ваня испытывал великое наслаждение и трепет. Всюду — книги, среди них — много иностранных (к ним Ваня питал особое уважение), статуэтки — копии греческих, пианино и огромная кипа нот: романсы с лиловыми портретами цыганок и прилизанных теноров с бачками; романсы Глинки, целые партитуры и клавиры опер — с двумя текстами русским и немецким или итальянским.

Хозяин приходил вечером. Он скидывал кожаную куртку и смятую кепку и сразу же преображался. Он читал, смакуя, декадентские стишки и играл на рояле с дочкой. Особенно любил Чайковского. Ваня с удивлением прочитал его статью, в которой он честит Чайковского "художником упадка русского дворянства, помещичьих усадеб, поэтому антинародным и вредным".

Он спросил об этом Ник[олая] Петровича. Тот смутился и сказал: "Для неподготовленных неискушенных людей он вреден… А я… Я другое дело". "А я?" — думал немного обиженно Ваня и не находил ничего вредного в П[етре] И[льиче].

В этой большой арбатской квартире Ваня иногда встречал известных людей: Пастернака (?) и т. д.

Кстати, это в 37 г. сыграло свою роль в его судьбе. "Были ли Вы у Н. П.?" — "Да, но мне ведь было 18 лет". — "И что же? Не 12 же?" Действительно, — думал он, — 18 лет довольно солидный возраст. Но я то ведь был ребенком.

10. I.58.

В поезде Алма-Ата — Петропавловск. Со мной в купе — 19-летняя девушка Фая из Алма-Аты, работающая крановщицей в Кустанае. Зарабатывает 1500 рублей в месяц. Еще девочка, но умна, умеет себя вести — скромно, но не робко. Много читает. Хочет быть учительницей. Не прошла по конкурсу в Алма-Ате — принимают казахов преимущественно. О нац[иональном] вопросе надо специально подумать. Он принимает у нас иногда уродливые формы. Какое-то беспрерывное впадание, то в грех великодержавности, то в не менее отвратительную ересь местного национализма — нет линии.

В купе — башкиры из Уфы, шоферы-механики. Милые, культурные люди. Мухаммед (Миша) — красавец, усатый, веселый, раскатисто смеется, здоровяк, открывал зубами пивные бутылки (…)

Фая не хочет жить дома. В Кустанай уехала против воли родителей. "Дома скучно. Отец года 3 не жил с семьей".

11. I.58.

О, русские девушки! В Сибири и на Урале, среди косооких жителей Киргизии и Казахстана, на Дальнем Востоке и на Дальнем Севере едете вы в поездах, на нартах, в кузовах грузовых машин, в розвальнях и на подножках. Гладко причесанные, русые, с большими серыми глазами, с нежными лицами и грубыми руками, вы проходите по всем городам, весям, неся в себе преданность и любовь к людям, презрение к грубости, хамству, жалость к бедности и ничтожеству, равнодушие к неудобствам жизни, привычку к любым лишениям, кротость и душевную силу, зоркость и простоту. В вашей кажущейся простоте столько понимания и всепрощения. Вы способны на любую работу, самую тяжкую. Нежность ваша — неумела — в ней нет изощренности. Русские девушки, я видел вас в самоотверженном труде и любовном утомлении. Морозы севера и южный зной неспособны вас сломить. Вы серьезно трудитесь и серьезно отдаете свое тело и душу полюбившемуся вам человеку.

29. I.58.

Тридцатые годы

Итак, Магнитогорск. Это великое проявление мощи советского рабочего класса, народа и партийного руководства. Следует только выяснить, так ли необходимы были задуманные в то время темпы. М. б., действительно, без этого чудовищного нажима нельзя было создать индустрию? Дело тут было не в полугодии или годе, а в необходимости чудовищного усилия. Это надо обдумать. С другой стороны, темпы диктовались политическими соображениями — международными и внутренними. Для того, чтобы уничтожить действительных и

мнимых врагов и возможных соперников и противников, надо было создать — и быстро — нечто крупное, серьезное, существенное, доказать этим свое "бож. помазание" на престол, и на этой основе ликвидировать маловеров и опасных людей. Все это, может быть, верно — для размышлений в кабинете. Все это верно и так. Но вот предо мной живой факт: огромный завод, дающий больше продукции, чем вся Россия до революции, и прекрасный, удивительный город с 300-тысячным населением, пестрым, но интересным и влюбленным в свой город и завод.

Немецкие специалисты — гл[авным] обр[азом] обер-монтеры на ЦЭС. Были приглашены от разных фирм. Им платили в наших деньгах и иностранной валюте. Для них была создана специальная столовая и «немецкий» магазин. Этот магазин зовется так и до сих пор. Для них возили из Верхнеуральска пиво. Пиво часто оказывалось несвежим, и тогда они не выходили на работу, шумели и обижались. Сала требовали. Им возили сало. Отказывались есть, если официантка была несмазливая. Горком комсомола посылал в немецкую столовую смазливых молодых комсомолок. Немцы приставали. Они отказывались работать, но горком их уговаривал: ничего, терпите, они нам нужны.

Немцы ссорились между собой — они были из конкурирующих фирм скрывали секреты друг от друга. Нашим они тоже не показывали чертежи. Говорили, что русские — народ способный, переимчивый, все узнают. Все равно, наши, приглядываясь, узнавали дело. Притворялись дурачками.

На работу в ЦЭС немцев возили в санках, запряженных тройкой или парой. Санки специально заказывались в Троицке (там в старину их мастерили) — красивые, с рисунками и украшениями старых времен. Расстояние от квартиры до работы было метров 300–400, но немцы требовали, чтобы их отвозили и привозили.

В 1933 году, после прихода Гитлера к власти, многие немцы уехали на родину. Одна 14-летняя девочка, учившаяся у нас в школе, отказалась уехать. Рабочие многие остались. Один из них возглавил озеленение города и немало сделал. «Соцгород» обязан ему своей богатой зеленью.

Суровые нравы. За прогул выкидывали койку и вещи из общежития выселяли. В Магнитке был сухой закон. Пили, конечно, — приходит партия одеколона, все пьют, бараки воняли одеколоном. Но водку не ввозили. Семейных коммунистов решением горкома обязали оставить семьи в квартирах и жить в бараках с рабочими — для их воспитания, влияния на них.

Перв[ичными] органами Магнитостроя руководили партработники высокого класса и великого энтузиазма. 30

человек прибыли сюда (в 32 г.) после окончания Свердловки. У одного из них умерла жена от родов. Он решил похорон не устраивать, ч т о б ы н е о т в л е к а т ь л ю д е й о т р а б о т ы. (Работали по 12–16 часов.) Он сам, вместе с двумя-тремя близкими товарищами, выкопал могилу, сказал: "Прощай, мой верный друг", заплакал, и они ушли. Вечером он проводил партбюро. Фамилия его Гарматин, он шахтер из Донбасса, теперь — директор школы где-то на севере.

Уровень партработников того времени.

Работали много. Но бывало, возвращались после 16-часового дня, ложились отдыхать, вдруг появляется человек из управления: "Прибыл состав с лесом, надо сгружать!" Все безропотно вставали, шли, сгружали и — снова на работу. Коммунисты были первыми.

В первые 2–3 года здесь умирали — неизвестно от чего — дети. (Узнать у старого врача, в чем было дело?)

(…) Доменщиков уважали особенно — была пущена первая домна, гордость завода и страны (1931–1932).

На домне № 1 вначале работали два американских ст. горновых (…) Бывало, сидят, дымят трубками, ноги на стол. (…) Горновых учили кое-как, работали как-то с холодком, не то, что наши. Наши осваивали дело быстро, за месяц — и парень уже умеет управлять домной. (Американцы-руководители "упрямые, злые". Как не по-ихнему — свернул чертеж и ушел.) (…)

Гора! (Montagne!) Ее надо описать отдельно. Обогатительные фабрики и агломерационные — это гениально придумано. Вообще весь металлургич[еский] цикл — необычайно остроумная выдумка человечества.

В 30–31 годах это было довольно унылое многохолмье. Главная вершина Атач — 540 м. (или 450?) над уровнем моря. Белели палатки геологов и их буровые вышки. Потом появились землянки. Начались земляные работы и добыча руды. Работали люди в лаптях, лопатами и кайлами, грузили на телеги и позднее в вагонетки. Первые американские экскаваторы появились в конце 31 года. (…) Все рабочие шли пешком. Гора заросла березками, потом от взрывов, осыпей и т. д. они все пропали (…) Выше «Березок» стояли два домика-сруба (…) Потом там построили нынешние двухквартирные восьмикомнатные дома (…) В каждом двухквартирном доме жило по 2 американца. Столовая ихняя — роскошно обставленная. Они ездили на работу на лошадях, в санках. Летом к некоторым приезжали жены. Другие «женились» тут, а уехавши, оставляли своих жен.

Мистер Смит, геолог, удивлялся дикости. Транспорт — верблюды. Он держал себя надменно. Не верил в то, что мы писали о кризисе в США, говорил, что это коммунистические

выдумки (…) На Магнитке получались газеты и вывешивались на 6 языках (англ[ийском], франц[узском], нем[ецком], татарск[ом], украинск[ом], гл[авным] обр[азом], - левые). Затем стал получать письма от близких из США о кризисе, безработице. (Раньше он хвастал, что, дескать, у нас безработные такие: лежит, спит в порту, а на подошве написана цифра 5 или 10, т. е. меньше, чем за 5 или 10 долларов не будить.)

Вскоре он уехал и прислал письмо с просьбой принять его снова на работу в Магнитку. Ему не ответили. Затем писал он с Ньюфаундленда, а спустя месяца три — снова из США, два раза писал, просил, чтобы приняли его на работу у нас, даже соглашался перейти в сов[етское] подданство. Ему не ответили.

(Узнать, какая растительность покрывала Магнитную гору!)

Узнал. Ковыль. (…)

10. II.1958.

Я думал о том, верен ли метод бесед с людьми и вопросов бесконечных: как было в старину то, и как — это? Можно ли таким путем восстановить картину? Конечно, лучше всего было бы быть тогда на Магнитке. Тут картина была бы подлинная. Но и этот метод не только единственно возможен, но и в принципе верен. Не надо только рассчитывать получить от каждого собеседника полную или даже просто широкую картину прошедших дней; надо терпеливо собирать по крупицам — у каждого то, что я бы увидел обязательно, если бы был тогда здесь. Терпеливо, спокойно. И не охаивать этот метод. Ведь сколько бы дал исторический романист за то, чтобы иметь, в связи с работой над романом о Древнем Риме, возможность побеседовать с Брутом, Катоном Утическим или Долабеллой, либо, на худой конец, с любым завалящим всадником или замухрышкой-плебеем!

(…) (Герасимов Г. И.) В 33 году делегация Магнитки в составе 4 человек — Фомин от горсовета, Герасимов и еще двое (кто?) (…) были приняты Серго. Он их расспросил. Герасимов предъявил претензии к шихте. Она была неравномерна, и это нарушало режим домны. Кроме того, не хватало ковшей. Просили автобусы, автомашины, троллейбусы… От троллейбуса отговорил, сказал: "Лучше трамвай, он — резиновый, в него много народа входит". Просили радиоприемники, патефоны, пластинки. Вызвал тут же людей и распорядился. Велел директору дать членам делегации подарки: по приемнику, патефону и пластинки. Спросил: "Сколько дашь пластинок?" — "По три". — "Ну и скупой! По 10 штук давай". Звонил всюду. "В Большом театре были?" — «Нет». — "В Малом, Художественном?" — «Нет». — "Обязательно побывайте". На след[ующее] утро секретарь дал им билеты в

театры. Серго направил их к Микояну и Бубнову. При этом наказывал: "Будете у Бубнова, обязательно у Крупской побывайте. Обязательно". Оки были у Бубнова, получили тетради и карандаши и распоряжение об отпуске книг. Потом пошли к Крупской. Маленький, длинный кабинет Портрет Ильича в детстве. Она их все время упрекала: почему в делегации нет женщин. "Вы по такому делу приехали, по вопросам быта, культуры. Тут женщина понимает в сто раз больше, чем вы, мужчины. Она только взглянет и поймет. А вы что? Нехорошо…" Сама отбирает книги для Магнитки. Классику. Затем у Микояна. Он угостил их пивом — наилучшим — с разной отеч[ественной] закуской. Все их требования об отгрузке товаров выполнил — тут же вызывал директоров и обо всем договаривался, как и Серго. Они просили открыть гастроном и построить базы для товаров (склады). Он распорядился и дал телеграмму в Свердловск. Их он называл "питомцы Орджоникидзе" Напоследок они были у Калинина — Серго их туда послал, договаривался с ним при них. М. И. побеседовал с ними, расспросил, звонил в разные места, проверяя, выполняются ли распоряжения о помощи Магнитке.

Спустя год Серго приехал на Магнитку. В цеху (Г. И. работал тогда мастером домны) его знакомят с ним. "Да мы знакомы! Герасимов! Конечно, знакомы! Здорово, Герасимов!"

(Герасимов Г. И.) Вначале не умели работать на домне. Скрап достигал кранов. Хламу тьма. Домну обслуживало 50 человек. Работа была архитрудная. Питьевой воды не было, люди напивались из шланга, работавшего для охлаждения домны, окатывали себя водой — от жары. Было несколько старых мастеров, крупных специалистов. Ус, например, Фищенко. Они закрывали и открывали летку вручную. Когда появилась пушка Брозиуса, они не хотели ее применять. За применение пушки трех горновых, в том числе Г. И., премировали полными кожаными костюмами: сапоги, штаны, куртку, фуражку. В 34 г. Серго подарил им по автомашине — «газику». Американцы возражали против темпа пуска и освоения. Они твердили, что без опыта нельзя ее освоить так быстро, нужно время, время.

(Точно узнать все перипетии работы, домен.)

___

Отец (рассказ). Старик вдовец женился, и его сын от первого брака был фактически выгнан из дому. Сыну было 15 лет. Он приехал на Магнитку, кончил ФЗО, стал работать. Работал хорошо, всем нравился светлым нравом и умом, стал выдающимся рабочим, ударником на стройке, затем сталеваром, мастером. Ему подарили машину, построили дом со всеми удобствами. Он женился, завел хорошую семью, семеро детей. О

нем писали газеты. Все эти годы он посылал отцу 250 руб. в месяц. Пригласил отца в гости. Отец приехал, с месяц пожил. Его возили на рыбалку, угощали, сын, счастливый от встречи после долгой разлуки, водил его по гостям. Когда отец уехал, сыну прибыла судебная повестка на алименты. Суд присудил отцу 50 руб. в месяц (из-за многодетности сына).

___

Надо в pandan к "Ленину в Разливе" написать повестушку "Сталин на Рице", в которой изобразить приезд И. В. на озеро Рицу, на свою дачу, его мысли, его окружение, атмосферу вокруг, историю создания так называемого "Комбината оз. Рица". Рядом с "Лениным в Разливе" это будет равно шекспировской драме по контрастам, величию и дыханию века. Там могут быть воспоминания о Ленине в Разливе. Написать?

Приехал негр-инженер, поселился в Соцгороде, но американцы запротестовали, и его перевели в дом на 11 уч[асток]. Ее (врача) однажды позвали к нему (он заболел). Он удивился, увидев белую женщину, и спросил, знала ли она, куда идет? Она сказала, что, конечно, знала. Он повторил, знала ли она, что он негр? "Да, знала". Он удивился, потом сказал с грустью: "Мне придется отсюда уехать". Она возразила: "Что вы! Мы к вам относимся с уважением, у нас нет расизма". (…)

(4.4.1958 г.)

3 апреля, вчера, провел весь день с управляющим треста «Магнитострой» Л. Г. Анкудиновым. Это было интересно. Мы посмотрели строительство аглофабрики, туннеля для отвода русла речки Башик (она мешает строительству коксохима) и слябинга. Потом я побывал на приеме его. (…) Как разнообразны люди! Анкудинов очень умен и спокоен, приветлив, нетороплив. Решения принимает безошибочно-правильные, разбирается в людях. (…)

(2-я половина 1958 г.)

"Забвение великих, коренных соображений из-за минутных интересов дня, погоня за минутным успехом и борьба из-за них без учета дальнейших последствий, принесение будущего движения в жертву настоящему" (особенности оппортунизма, указанные Энгельсом).

(2-я половина 1958 г.)

РАССКАЗ "ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ"

Дормаков, бывший председатель Петровского райисполкома Ярославской области, встречается с Бубновым, бывшим директором МТС. Оба теперь председатели колхозов соседних. Оба — замечательные, но больные и пожилые люди, чистые до самопожертвования. Подводят итоги соревнования и жалуются,

что в колхозах обоих нет должной замены. Сессия райсовета. Совместная прогулка обоих председателей. Доброе и ревнивое отношение друг к другу.

(1959 г.)

МОЯ ЖИЗНЬ

Все, что я расскажу в этих автобиографических заметках, — прежде всего правда, хотя и не вся правда, но и ничего, кроме правды. Еще точнее будет сказать, что здесь — правда в том виде, как воспринимал ее я — т. е. определенный человек, имеющий данные ему границы опыта, разума и интуиции. Это относится к любой автобиографии, но я хочу это тем более оговорить, что почти вся жизнь моя казалась мне грезой, вся она проходила в некоем тумане, похожем на очень, правда, прозрачную, родильную плевру, которой я, казалось мне, был окутан. (Или, м. б., напротив — весь мир казался мне окутанным таким образом, а я находился как бы за прозрачной его гранью.) Затрудняюсь сказать, свойственно ли такое ощущение мне одному, или оно общий удел всех людей, или по меньшей мере людей, занимающихся художественным творчеством, или, наконец, людей, живших в тех условиях, в которых жил я. Не знаю. Но так или иначе, я ощущал все окружающее, как жгуче-любопытную, вязкую, не совсем реальную среду, в которой я временно действую и мыслю, а затем… что затем? В юности мне казалось самым ясным образом, что вскоре я прорву эту родильную плевру, и все станет подлинным, что вся прожитая жизнь — черновик, набросок к чему-то более высокому, совершенному и уже взаправдашнему. Теперь же, когда выяснилось, что черновик это или не черновик — но это и есть все, ты начинаешь с пристальным интересом изучать это все — не потому, что ты оцениваешь, смиряясь, свою жизнь выше, чем раньше, а потому, что она — единственная.

В этом и цель этих записок — изучение, осмысление собственной, плохо изученной ранее жизни. Могут ли такие записки вообще иметь цель? Могут ли они принести пользу? Я сомневаюсь в этом. Какую имели цель и принесли пользу "Поэзия и правда" Гете, «Исповедь» Руссо, «Признания» Гейне, "Былое и думы" Герцена, "История моего современника" Короленко? К тому же все эти произведения, написанные искусно и довольно искренне, — еще не искусство, а полуфабрикат искусства. (Эту мысль надо развить.)

Они были интересны потому, что интересны были нам их авторы, выражавшие свое время наиболее ярко, почему они и были для нас интересны. Самое реальное время, прошедшее и не оставившее по себе письменных памятников, становится

нереальным, перестает существовать. В этом — высшая реальность литературы. Литература — это та иголочка, которая пишет на пленке волнистую линию, отражающую идущую рядом мелодию. Если эту иголочку на минуту снять, то музыка не прекратится, она останется той же реальностью, она будет существовать, звуковые волны разной длины будут по-прежнему вырастать и сокращаться, но на пленке окажется тихий пробел, и музыка канет в вечность, — в великую яму, подобную той, в которую канули бесчисленные времена, не имевшие письменности.

Более того — не только времена, но и пространства. Ибо страны или области, реально существующие на карте и по сие время, но записанные только в конституциях и законоположениях, а не в произведениях литературы, являются как бы не существовавшими для человечества. С этой точки зрения Древняя Греция — гораздо большая реальность, чем Греция современная; Донская область, описанная Шолоховым в его романе, в сто раз реальнее, чем не менее реальный и в сто раз больший по размерам Красноярский край, а Смоленская область, благодаря поэзии Твардовского, — в сто раз реальнее соседней с ней Калужской, хотя вообще-то эта последняя ничуть не хуже первой.

Так как нынешнее время необычайно осложнено потрясающим изобилием вещей и понятий — изобилием, не сравнимым ни с какой эпохой, то отражение этого времени становится для одного человека задачей непосильной. Золя еще недавно сумел — хуже или лучше — отразить в труде своей жизни Францию трех десятилетий, во всем многообразии стоявших перед ней проблем. Я тоже пытаюсь и буду пытаться это делать, но это необычайно трудно. Ведь мы, столь же сыновья, сколь и невольники своей исторической поры, лишены возможности оценить ее во всем ее многообразии, т. е. в связи с прошлым, так как оно быстро и безвозвратно ушло, и с будущим — так как оно никогда еще не было столь неясно. По сути дела самыми большими реалистами оказались авторы фантастических романов. Мне представляется, что мир наш живет в атмосфере романов Уэллса — писателя великого и не вполне оцененного. Но фантастическая пора, какую мы переживаем, перегружена таким обилием подробностей человеческого быта, переход в новую эру столь неравномерен в разных местностях и даже в соседних домах, что художник поневоле останавливается в отчаянии перед задачей отражения действительности. Помимо того действительность переходных эпох вовсе не желает быть объективно познанной и отраженной. Она сопротивляется

объективному познанию, она не хочет и страшится его. Она диктует художнику свою волю быть прикрашенной и подлакированной. Она как бы пугается быть изображенной правдиво, не без оснований полагая, что увидит Вия с железными веками и встретится с его взглядом. Она боится частного и стремится к общему. Иначе говоря, она оказывается ярым противником искусства. Каждый художник, т. о., не может не быть в разладе с ней. Этот разлад не может не углубляться с каждым часом. Конфликт может кончиться только нравственной смертью художника, т. е. полным или частичным его отказом от своего максимума — либо его физической смертью.

Отказ от максимума равен отказу от искусства.

При этих условиях художник приходит к мысли об «исповеди», или, говоря на современный лад, к мысли об автобиографических заметках. Если разобраться в окружающем его бурно изменяющемся мире и отразить его так трудно, то не попробовать ли разобраться в своем маленьком мирке, чтобы, отразив его по мере сил, охватить и окружающее. Это — способ несовершенный, верно. Капля морская состоит из той же материи и мыслит так же, как и океан. Но требуется немало воображения, чтобы по этой капле воссоздать огромную толщу океана. Но поэт, может быть, не простая капля? Он надеется на это. И он идет на создание полуфабриката, не являющегося еще искусством, ради правды. Шекспир, Толстой, Данте, Пушкин — это искусство. Он отказывается от жадного стремления стать ими — ради правды. Он готов сойти на нет, стать удобрением для будущих Шекспиров и Толстых ради правды.

I

Каждому молодому человеку жизнь его кажется вполне заурядной как потому, что он все время находится в предвкушении и ожидании чудес, так и потому, что даже если с ним и случаются чудеса, то он этого не сознает, ибо все, что с ним случается, поскольку это случается именно с ним, человеком, которого сам он так хорошо знает (вернее, думает, что знает) и к внутреннему миру которого привык, не имея еще возможности и способности поглядеть на себя со стороны, кажется ему обыкновенным и рядовым. Такими же заурядными, рядовыми кажутся ему окружающие люди, главным образом родные и родственники, так как они привычны, представляются ему существовавшими от века, предопределенными заранее, тем более, что он еще не способен их сравнивать с другими людьми.

Отец мой был человеком незаурядным и замечательным.

(1959 г.)

МИФЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дорога шла в гору. Старик еле тащился. Он устал и был голоден, вполголоса бранился самыми уродливыми ругательствами полуострова, какие только слышал за свою долгую жизнь. Поистине он испытывал облегчение и удовольствие, произнося их на жаргоне невольников и мелочных торговцев. Его уста, привыкшие петь перед царями и на многолюдных ристалищах или шумных торжищах торжественные песни, приводившие в трепет и исторгавшие слезы, как будто отдыхали на площадных выражениях боли и ненависти, облеченных в необыкновенно бесстыдные, но не лишенные изощренной наблюдательности образы.

Хотя брань была на его устах, но в голове всё время проносились возвышенные и торжественные картины и теснились красивые и громкие слова богослужебных песен, старинных од и легенд. Эти образы и слова всё время, нередко и во сне, клубились у него внутри, иногда потрясая его и вызывая слезы на его глаза. В одиночестве своего жилья он повторял их вслух, варьируя и находя новые, более сильные выражения. Иногда ему так нравилось то, что он пел своим надтреснутым, но еще сильным голосом, что он плакал от гордости за свой дар, данный ему бессмертными богами, потом долго кашлял, сморкался и проклинал свою старость.

В последние годы он жил очень одиноко. Он стал ненавидеть общество людей, шум, ими производимый, причинял ему боль в ушах. Но нужда в зерне, мясе и вине выгоняла его из хижины на побережье и заставляла идти на пиры к царям, на храмовые праздники и сборища царских дружин. Он пел им свои песни, бряцая на лире. Его глаза, устремленные вдаль, слезились, но в наиболее выигрышных местах своих песнопений голос его крепчал, лира громко звенела, седая редкая борода топорщилась. Нет, более молодые рапсоды не могли с ним сравниться и понимали это. Они думали, что ему помогают темные силы, Ор, покровитель человеконенавистников, и Луна, покровительница ночи. Старик мешал им, его пение и вариации старых песнопений вызывали их зависть. Они заискивали перед ним. Приносили иногда в его хижину лепешки и вино и просили учить их. Он никак не мог им объяснить, что ему нечему их учить, что всё его умение от него не зависит, что его вдохновение — божий дар. Они не верили ему и сердились. Он отбивал у них слушателей. Народ, забывший его подлинное имя, звал его Стариком, и, видя его, кланялся ему, и кричал на праздниках:

— Старика сюда! Пусть поет Старик!

Если бы ноги его были покрепче, он бы жил хорошо. На голос он не жаловался, и голова служила ему отлично. Память у него была удивительная, пугавшая его самого. Он вспоминал изречения, произнесенные кем-то лет 70 назад, вдруг ему со всей точностью представлялась девчонка, виденная пятьдесят лет назад у подножья городской стены, поворот ее стройного тела и жест ее руки. В его лысой небольшой голове гнездились старые песни, множество слов и картин, и он, глядя в воды заливчика, возле которого жил, ощупывал свою голову и удивлялся ее малым размерам.

Жена его умерла очень давно, и рабыня, оставшаяся в их доме, спала с ним, а утром плела сети для рыбаков побережья. Но и она умерла давно. Иногда его посещала нищенка Ая, не умевшая говорить, хотя ей было уже лет двадцать, и вообще ничего не умевшая. Люди считали ее святой, она иногда ревела, как осел, ее глаза закатывались, и она падала оземь. Все говорили, что она разговаривает с богами и отмечена ими. Приходя к Старику, она снимала с себя грязный мешок и делала то единственное, что умела. Он играл ей потом на лире и пел, и она обнимала его колени и падала перед ним ниц, как перед богом. Они ели лепешки из зерна, которое он разбивал каменным пестом в бронзовой посудине, и пили кислое вино. Потом она исчезала. Когда же он начинал тосковать о ней, о ее сильно пахнущем маленьком нечистом теле, она появлялась. Он удивлялся ее далекому чутью и сложил песню о ней, которая начиналась так: "Где бы ты ни была, на земле или на небе, на траве луга или на берегу реки, ты всегда знаешь, когда я жду тебя. Ты приходишь тогда, когда я жду тебя. Когда я не жду тебя, тебя нет. Ты как мысль моя. Человек ли ты?"

В последнее время Старик купил мальчика. Это был маленький смуглый раб, захваченный среди других царем Ниодаты у соседнего царя. Он говорил на языке, близком языку Старика, но с другим произношением гласных. Он слышал о Старике раньше — Старик ходил по всему полуострову, цари покровительствовали ему. Он вначале не поверил, что попал в рабы к Старому Певцу, тем более, что старик был вздорный и слабый и ругался вполголоса, а однажды к нему пришла немая девушка, и мальчик считал, что не может быть, чтобы старый певец, гордость полуострова, был как все другие старики. Мальчик сам пел и сочинял гимны. Но однажды, выйдя со Стариком в дорогу, он пришел с ним в колонию на побережье, и это было в праздник (неразб.) виноградной лозы, Газелы. И все ходили пьяные, и жрицы Газелы, голые, бегали по городу, в венках из виноградных листьев, облитые вином и блюющие на

перекрестках. Этот культ был полузапрещен недобрым царем Ниодаты и жрецами верховного бога Атума. Женщины бунтовали против запрета, лишавшего их старинного права: в этот день пить без меры и отдаваться любому мужчине, кроме чужеземцев: за любовь с чужеземцами женщину закапывали в родную землю живой, чтобы она поняла, что делает родная земля с изменившими ей.

(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")

1 мая 1941 (или 1938?)

Егор Кузьмич вдруг решил пойти на парад. "Хоть раз одним глазком поглядеть". Наденька нажала на мужа, и он достал ему билет, что было непростым делом: он сказал в МК, что старик — отец жены. Старик немного устал, демонстрацию смотреть не стал, вышел вместе с Надей по набережной к дому правительства и здесь, в Надиной квартире, уселся в кресло. Но он не спал. Он сидел и думал, его светлые глазки были устремлены вдаль, а тонкогубый рот кривился в улыбке под редкими усами.

Приготовив стол — Карпухин кого-то пригласил обедать, — Надя села возле Егора Кузьмича и, взглянув на его странно улыбающееся и какое-то просветленное и довольное лицо, спросила: "Что, понравилось?" Его улыбка стала еще светлее и блаженней, и он поманил к себе Наденьку пальцем, и сказал ей на ухо одно короткое слово, которое она вначале не разобрала.

— Что? — спросила она, недоумевая. Он сказал так же шепотом, но яснее:

— Царь.

Теперь она расслышала, но ничего не поняла.

— Как? — спросила она.

— Царь, — повторил он твердо и торжествующе и тихо-тихо, как-то удовлетворенно рассмеялся.

(Во время парада он находился близко к Мавзолею. Сталин появился внизу. Он шел позади трибун, один, с утиной хозяйской перевалочкой, — в белом костюме и черных хромовых сапожках. Позади, на почтительном расстоянии, шли Молотов, Калинин, Каганович, Ворошилов, Берия, Микоян, Хрущев и еще люди, незнакомые. Сталин исчез за Мавзолеем, затем появился наверху, раздались аплодисменты. Он подошел к краю и помахал рукой, странно перебирая пальцами, затем перешел к другому краю и помахал рукой.

Егор Кузьмич, вначале настроенный чуть насмешливо, стал серьезен и торжествен. Раздался бой часов на Спасской башне, и в то же мгновение оттуда выехал на коне маршал Тимошенко. Крики "ура!" раздались по площади. Сталин стоял и со спокойной свирепостью посматривал то вправо, то влево, единственный

человек, чувствовавший себя независимо и спокойно. Вскоре заморосил дождик, и Егор Кузьмич увидел, как два генерала — два! поднесли Сталину серый плащ и надели на него. Мимо трибун проходили грозные четырехугольники военных академий, затем войска — зеленый квадрат пограничников, матросский отряд в белых перчатках с штыками, красные пехотинцы, черные — техники.

Надя между тем, привыкшая к этому зрелищу, негромко болтала с соседкой — женой наркома лесной промышленности и народной артисткой Талановой о школьных делах детей и о предстоящих поездках на курорт. Но Егор Кузьмич не слышал ничего. Он смотрел на Сталина неотрывно. Домой он шел задумчивый и тихий.)

Надя воскликнула:

— Правильно, Егор Кузьмич! Сразу видать умного человека! И я так моему дураку говорю. Царь — и все тут! Царь и есть! У, чтоб ему.

Егор Кузьмич приложил тонкие старческие пальцы к губам:

— Не шуми, Наденка… Царь России нужен. Без царя на Руси плохо. Конечно, жалко, что не русский. А ежели подумать, то и наши исконные цари больше все немцы да немкини.

Вскоре собрались гости. Нарком легкой промышленности РСФСР умильно сказал:

— Хорошо выглядит И. В., настроение, видно, хорошее…

Надюша и Егор Кузьмич переглянулись и улыбнулись друг другу.

Понемногу Федя начинает вспоминать о своей семье и доме по-иному, все-таки дом был тылом, фундаментом — тылом для «отступления», "резервным полком", он придавал Феде уверенность; фундаментом его успехов, его роста. Оттуда, из этого дома, веяло спокойным запахом печеного хлеба, кваса; треск древоточца — как мелодия спокойствия и основательности.

То обстоятельство, что воображение, как и сознание, отстало от знания, что квантовую теорию, скажем, можно только знать, но нельзя себе вообразить, таит в себе великую опасность для человечества.

Ум, разум, ratio, интеллект становится чересчур высоко над чувством (или душой, как это называли в старину), и это чревато бесчувствием, бездушием. Разум, вышедший из-под контроля чувств, — великий тиран.

Чувства, вышедшие из-под контроля разума, способны многое разрушить. Разум, вышедший из-под контроля чувств, способен уничтожить вселенную.

В 1-й части на вечере шефства даются ощущения Феди по

поводу всего, что он видит и слышит. Во 2-й части даются ощущения Володи Ловейко на том же вечере по поводу того же самого; в подходе каждого из них — сущность их социального положения, характера и психологии. (Этот метод — показывать одно и то же через разных людей — кажется мне очень новым и полным больших возможностей.)

Не только разные люди. Одни и те же люди видят одно и то же, но в разное время, например, в молодости и позже — по-разному и по-разному оценивают. Это в большом романе необходимо показать — в этом диалектика применительно к художественному изображению человека. Это — не фокус, не манера, а жизнь.

(Без даты.)

Развитие капитализма в экономике было прервано пролетарской революцией. В быту капитализм победил. Все попытки покончить с буржуазным бытом не удались: коммуны, общие кухни и т. д. Социализм строился людьми, погрязшими целиком в буржуазных нравах и мещанском быте (или нищете). Люди старого мира [в большинстве своем не желая этого (каждый в отдельности)] строили новый мир. Конечно, это было бы невозможно, без ощущения правоты дела большевиков и без убежденности в справедливости ленинизма даже у остальных людей.

Политика — высшая страсть человечества в XX веке (в России во всяком случае).

___

Дощатые подмостки трибун с высокими крутыми лестницами, целиком затянутые красной материей; а внизу, под ними, в темных, пахнущих свежей сосной переплетениях досок и брусков — дети революционеров.

(Ловейко.)

Трибуны, на которых чувствуешь себя властителем душ миллионов, с которых хочется говорить, кричать, призывать людей идти вперед, все время находясь здесь, вокруг. Хочется, чтобы миллионы проходили мимо, бесконечно уходя к счастью и борьбе, путями указанными тобой.

Трибуны, — на которых чувствуешь себя великим, — ликующим и погибающим за человечество.

Она смотрит на ораторшу и думает, замирая и ликуя: что нужно совершить, какие огни и воды надо пройти, чтобы завоевать право вот так стоять на трибуне и обращаться к народу с такой силой и уверенностью.

___

Гениальность — это повышенное чувство правды, страсть к

правде при умении выразить эту страсть в чем-либо: в вещах или поступках.

"Да, мы расплодим большую интеллигенцию, знающую свое дело, но не дюже интеллигентскую, и от нее будет пахнуть деревней и полустанком, и она будет знать технику и математику, но не будет разбираться в скульптуре и поэзии, ибо все будет делаться быстро — иначе нельзя".

(Ялта, декабрь 1958 г. — январь 1959 г.)

Удивительный собеседник К. Г. Паустовский. Необыкновенно внимательно слушает и прелестно рассказывает. В его устах самые обыкновенные истории умеют звучать необыкновенно. Он чуть-чуть преувеличивает, описания его скупы и выразительны. Все, касающееся себя, он обходит, очень скромен. (Болезнь свою, тяжелую астму, он переносит с большим мужеством.)

10. I.59 г., Ялта.

Немыслимо, как боязнь высоты у птицы и как боязнь темноты у крота. (О Феде? "Он чувствовал себя так, как может чувствовать себя птица, заболевшая боязнью высоты, или крот, заболевший боязнью темноты".)

Для естественности повествования нужно, в сущности, одно: чтобы действующие лица ничего не знали об авторском замысле.

13. I.59 г., Ялта.

В XX веке происходит реформа прозы, которая заключается в приближении прозы к драме. Все происходит на сцене и узнается от действующих лиц. Описания природы и ощущений. Несколько расширенные (и то не всегда) ремарки. Это — вовсе не «объективизм», а просто приближение к драме. (Бывают драмы-монологи. Таков Пруст.)

Причины реформы: расширение культуры вширь и углубление ее, расцвет критического мышления, не сотен, а миллионов людей, стремление людей учиться быть самостоятельными и иметь самим суждение о событиях и характерах; ненависть к насилию, совершенному автором, к авторскому произволу, недоверие к автору. Ты нам расскажи и покажи, а выводы мы сделаем сами. Писатель должен учитывать это. И это вовсе не значит, что он перестает быть тенденциозным. Быть нетенденциозным нельзя, но тенденция выражается через отбор того или иного матерьяла, (утончается) через сюжет, замысел, характеристику лиц, она не навязчива, хотя добивается своих целей не хуже, чем «насилие» над читателем по способу Диккенса или Бальзака. Новый роман, новая проза — заслуги Стендаля и русских писателей XIX в. Толстого, Чехова, Достоевского; писатель не доказывает, а показывает или в крайнем случае рассказывает. Своим рассказом он доказывает.

14. I.59 г., Ялта.

Как многообразна жизнь! Поистине нету неинтересных биографий — даже если самому человеку его биография кажется неинтересной.

28. IV.59.

КНИГА ПЕРВАЯ

1. Собрание.

1а. Появление Нади. Рассказ Нади. Еремеев (ОДВА).

2. Туголуковы; старший — буфетчик; сыновья, дочери; «сиротка». Масленица.

3. Чистка партии.

4. Совещание-шефство над совхозом и р-ном сплошной коллективизации.

5. Поиски Ланского (?)

6. Вечер у Караваевых: Маяковский, Б. Л., секретарь Нижне-Волжского крайкома, Смольянинов, промакадемия, профессор ИКП (хозяин?), Олег, Либерман, Маша Караваева, редактор, вторая жена, первая жена хозяина.

7. Заседание бюро ячейки ВЛКСМ.

8. Федя и Олег идут на чистку Каратаева. Чистка.

9. Заседание бюро ячейки.

10. Федя и Маша.

11. Надя у Еремеева в гост[инице]. ЦДКА.

12. Еремеев в Кремле. Получение ордена. Отъезд.

13. Надя и Туголуков. Сухаревка. Продажа вещей (золотые десятки под банькой).

14. Ник., Макар, Екат. Тимоф. и др. — поездка в Сибирь.

15. Федя. 14 апреля. Решение. Встреча с Ловейко.

КНИГА ВТОРАЯ

1. Ловейко.

28. IV.59.

В большой вещи — главное: полюбить все части ее, все ее «атмосферы», всех ее людей равно. Пока не полюбишь — не пиши (данный раздел, или часть, или человека).

Снова обычное перепутье перед началом большой работы: заготовок и замыслов много, одновременно делать их, к сожалению, невозможно, надо выбрать:

1) Роман!!! Сделано. 2) Кончить «Отец» (при хорошей работе — три дня, при средней — две недели). Сделано. 3) Кончить "При свете дня" (две недели — при средней работе).

4) Статья о Менерте (три хороших дня работы).

5) Кончить "Крик о помощи" (месяц работы, если работать).

6) Написать "Иностранную коллегию" (2–3 месяца работы, из них неделя в Одессе).

7) «Рица» (два месяца работы, из них неделя в Рице).

8) Окончить "Мифы классической древности" (три недели хорошей работы).

9) Окончить "Михаила Калганова" — чудесная вещь "в стол", но чудесная, сильнее "Двое в степи" (месяц работы).

(Еще не говорено об окончании «Моцарта» — месяц нормальной работы — и многом другом, что задумано или начато.)

Все интересно. Все — легко. Все — трудно. Все — нужно. (И все без курева, а живот побаливает.)

Не разработаны вопросы этики. Тотальное подчинение личного общему привело к некоторому забвению личного, в т. ч. амнистированы (до некоторой степени) личные недостатки людей. ("Какое дело до личных недостатков, если они не вредят делу?" Как будто этому делу личные недостатки могут не вредить?!) Этим обстоятельством пользовались некоторые людишки (можно делать все, что угодно, если не попадаться). Это обстоятельство, с другой стороны, развивало ханжеское лицемерие особого рода. (…)

(6 — 12.5.1959 г., Москва, больница № 60.)

(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")

Все звали Зину «Корабельникова». Она звала и себя часто в третьем лице: «Корабельникова», или "товарищ Корабельникова", а мужа — «Ловейко». Он ее тоже звал — «Корабельникова». Только у его постели, когда он умирал от раны, она крикнула, как простая баба: "Гришенька, родненький, на кого ты нас…" И у него показались в глазах слезы.

Господи, как трудно мне писать, видя, что 99 % читателей не ощущают сильной потребности в том, что я хочу писать. (Для того, чтобы они ощутили эту потребность нужно, может быть, только, чтобы они прочитали то, что я напишу?)

Да минет меня чаша сия.

Федя ловит себя на нехороших мыслях и думает о себе со злорадством: "Ну, что еще от сына кулака можно требовать!", "Сразу видно — кулацкий сын!" и т. д.

Значительно позднее он понял (или подумал), что если бы он жил в разладе с окружающей жизнью, если бы у него была другая программа, другие общественные взгляды и устремления, чем те, что были ведущими в окружающем обществе, он нашел бы в себе и смелость, и силу, и волю, смог бы себя противопоставить силе и воле других. Все дело было в том, что он полностью разделял с окружающим обществом все его воззрения на цели и даже методы. И если продолжить этот разговор и довести его до логического конца, то с ним можно было все это проделать — т. е.

обездолить, лишить собственной участи, призвания, оторвать от друзей, посадить и т. д. потому только, что он был сам сторонником этих методов в отношении других людей; по сути он расходился с теми, кто обездолил его, только в том смысле, что считал, что он не тот объект, — вот и все, что он, если необходимо, мог бы сам все это делать и делал бы не хуже чем те, кто делал. Наковальня не считала, что молот неправ, она просто сама хотела быть молотом (не в этом ли причина той легкости, с какой удалось провести все те "мероприятия"?).

13. V.59.

Сегодня три года, как застрелился А. А. Фадеев. Время прошло быстро, хотя в этом промежутке многое произошло. Ровно два года назад мы были (перед третьим пленумом правления) в ЦК, и после этого многозначительного собрания отправились с Твардовским, Маршаком и Овечкиным на кладбище к могиле Фадеева.

Год назад в это время я был в Магнитогорске.

Работается очень слабо — не потому, что я в больнице (опять вспоминается Фадеев, который любил работать в больнице и писать оттуда письма), а потому, что я ступаю по нехоженым тропам. На них не только западни, все это тонко сплетенная западня и напоминает тот лес, в который Данте вступил в первой песне "Божественной комедии". Там его подстерегали пестрая пантера, лев и волчица. Под пантерой он, кажется, подразумевал родную мать — мачеху Флоренцию, под львом — французского короля, под волчицей — римского папу. Его выручил от этих суровых зверей Вергилий, великий предшественник, олицетворение поэзии, искусства. Как интересно, что в начале XIV века Данте, теолог и схоласт, избрал своим путеводителем языческого поэта, хотя бы и предсказавшего якобы пришествие Христа в своей Энеиде. Кого избрать мне своим путеводителем? Кто спасет меня от пантер, львов и волчиц современности?

(Может быть, я пишу слишком в лоб, слишком правдиво, реалистически в самом ясном и единственно для меня приемлемом смысле этого слова, запутанном усилиями обманщиков и глупцов.) Бедный изгнанник мог довольствоваться иллюзорным покровительством древнего поэта, потому что находился под реальным покровительством какого-нибудь более или менее крупного феодала — в Равенне или еще где-нибудь.

(13–22.5.1959 г., Москва, больница № 60.)

Меня утешает богатство моих ассоциаций. Стоит о чем-то начать думать или писать, как начинается густое истечение мыслей и воспоминаний.

Даже в том урезанном виде, в каком я пишу свой роман,

замысел его крупнее "В[ойны] и м[ира]". Время действия 20 лет, описываемые общественные слои не ограничиваются одним сословием, а распространяются на все классы; быт, не установившийся столетиями, а ломающийся, рвущийся по всем швам, переходный, неустойчивый, катастрофический; на кону стоит гораздо больше и т. д.

Конечно, роман должен был бы, вероятно, охватить время от 1916 до 1956 года (по крайней мере 40 лет! — но каких 40 лет! (Это не Самгин, а 2 "Войны и мира"), — но это вряд ли под силу одному человеку, если вести с обстоятельностью подлинной прозы, и если писать один роман, а не серию, наподобие Б[альзака] или Золя. Второе, думается, в 15 раз легче. Вернее, это под силу, но это задача всей жизни. Гражданская же война — вот для меня камень преткновения. Я очень любил ее — это время — раньше, а в последнее время как-то разлюбил. Видимо, это просто нежелание писать историческое, я писатель современный. Конец двадцатых годов и тридцатые это уже современность, моя биография. А о гражданской войне тоже еще нет ничего многообъемлющего; затронуты, в сущности, только ее периферия — ДВК, Дон; вот что значит такая мелочь как географическое местонахождение того или иного писателя.

(13.V. - 23.V.1959 г.)

(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")

Г[од] р[ождения] 1923 (7 лет в 1930 году). Александр (Саня) Ошкуркин (сын Макара и Поли) — в 1942 году стоит на аэродроме в почетном карауле (уезжает Черчилль). Черчилль идет вдоль строя и пристально, подчеркнуто пристально глядит каждому солдату в глаза. Что хочет он узнать? Что стремился он выведать в глазах советских солдат, этот толстый, старый человек? Этот великий капитан уходящего старого мира? Потом многие толковали об этом и приписывали ему все, что угодно. На самом деле, Черчилль был писателем, и ему было просто интересно, чем живут эти молодые люди? Действительно ли они способны выстоять, действительно ли ненавидят немцев? Смогут ли они действительно отсосать на себя немецкую гидру и ослабить ее? И что будут делать дальше, как будут жить? Станут ли — и в какой степени — смертельными врагами Великобритании? Глубоко ли в них сидит занесенный с запада марксизм? Пойдут ли они за своими вождями и доколе пойдут? Крепко ли в них исконно русское послушание и скоро ли оно завершится исконно русским же вселенским бунтом? Мудрый, тучный, старый человек пытливо заглянул в глаза, как в душу, Сани Ошкуркина и встретил серую сталь зрачков. Но эта серая сталь была только зрелищем — так должны выглядеть глаза бойца почетного караула. Но за этой сталью было еще много таинственного и тоже мудрого — мудростью молодости, — и старик это понял, и Саша — тоже; более того, Саша понял, что Черчилль это понял, и совершенно неприметная, даже для помкомвзвода, улыбка тронула сурово сжатые губы Саши. Заметил ли эту улыбку Черчилль или нет, но он вдруг как бы

обрадовался, его сощуренные глаза оживились, он словно хотел что-то сказать, но тут же перевел глаза на следующего солдата — Пашу Ложкина.

Старик безмерно любопытный, пробивной, пронырливый, но лишенный возможности разговаривать с простыми русскими людьми, вынужденный общаться только с начальством, непроницаемым, (…) он тем не менее как политик и писатель жаждал знать, что же думает обыкновенный простой русский, тот самый, который предназначен не торговаться на дипломатической конференции, а умирать на поле сражения. Он тревожно ловил во взгляде русских юношей судьбу своей возлюбленной империи в ближайшее время и в веках (…)

К 1941 году Федор как будто совсем «обдряб» общественно; семья; любовь к детям и жене; заботы о жизни, ревность, увлечение (возобновившееся) Машей и т. д. Ничего не получилось, но и в этом «ничего» есть свои радости, своя гордость и проч. Но как только началась война, Федор почувствовал себя прежним. Добровольный уход в армию. Москва 41 года. Бои за Москву. Отступление. Наступление. Прием в партию. Рассказ о своей трусости некогда.

Он вообще часто, когда внезапно события, происход[ящие] вдали, потрясали его и наполняли революц[ионным] духом, радовался и удивлялся: "Значит, жизнь еще не угасла во мне? Значит, я еще жив? Я еще человек? Я сильнее обстоятельств?"

Вернусь к "Войне и миру". У него (Л. Т.) между миром и войной — черта резкая. Внешне это так выглядит и у нас. Но если присмотреться — то никакой черты нет. У нас война длится все время…

Трудно требовать от птицы, чтобы она летела навстречу стрелку, и от зайца, чтобы он прогуливался на виду у охотника. А он поступал теперь именно так, именно против одного из сильнейших инстинктов — инстинкта самосохранения, — и хотел, чтобы у него нервы и желудок и сердце были в порядке!

Все, что делается наверху втайне — делается против народа.

Самое трудное в романе — спайки.

От Подлости и Пошлости способно спасти только Презрение. Презрение, спаси нас.

23.5.59, Москва, больница № 60.

Нет, он не дурак. Он просто мыслит на уровне хорошо устроенного сов[етского] обывателя. В его-то положении! Вот в чем весь ужас. Полная путаница в голове. Вперемежку — здравый смысл и детские представления, верное чутье и непонимание элементарных вещей; природная задиристость и демагогия деятеля областного масштаба — и вдруг мысль о своей нынешней

роли и в связи с этим — попытки объективности. Отсюда — половинчатость во всем, и в плохом, и в хорошем, нерешительность, принимающая вид решительности, мягкотелая твердость, рефлектирующая прямолинейность, добрые намерения при незнании того, каким образом провести их в жизнь, словом — странная смесь хорошей старой закваски с многолетним развращением в последующий период. Грядка, где густо перемешаны овощи и сорняки. Неуверенность в себе: любовь и преклонение перед Л., и вдруг — тревожная мысль: а что, если С. прав, и людьми можно управлять только дубьем? «Совгамлет».

2.7.59, Железноводск.

У меня чувство, что только теперь начинается моя настоящая литературная жизнь, что все ранее написанное — подготовительный, во многом еще робкий этап. У меня теперь медвежья хватка. Я все могу. Я снова, как во время писания "Сердца друга", начинаю бояться за свою жизнь — не от страха смерти, а от страха не исполнить то, что предначертано.

Взял в библиотеке Салтыкова-Щедрина — еще утром вспомнил его и захотелось почитать (…) Почитал. (Салтыков-Щедрин меня никогда не восхищает, чувство, вызываемое им, сложное, скорее поражает его дар предвидения и понимания России.) (…)

Сделать в Железноводске:

1) "При свете дня".

2) «Отец».

3) В «Рицу» вписывать и думать о ней.

4) Проработать получше Галины записи к "Иностранной коллегии".

Если это удастся, то будет просто чудо как хорошо. "При свете дня"-то я кончу и программу по «Рице» выполню. Неизвестно только, дойдут ли руки до «Отца». Да и не очень к нему тянет, хотя кончить-то надо.

(16–19.VII.1959 г., Железноводск.)

Насколько покаяться легче, чем отстаивать свое мнение перед большинством. Принуждение к покаянию отвечает естественным, но низким потребностям человека. Оно приводит к цинизму.

Сентябрь 1959.

(Больница № 1 им. Пирогова.)

Рано утром все лежат тихо, истомленные ночными страхами и болями, криками и бредом. Людей не видно, только спинки кроватей неподвижно переплетаются в огромном высоком пространстве комнаты, низкие и многозначительные, в своей непонятности похожие на картину абстракциониста.

Потом начинаются разговоры.

Человек с усиками, кричавший всю ночь от боли, рассказывает о голубях:

— У вас в Москве держат там разных чебрашей, почтовых!.. У нас в Семипалатинске такого г…. не держат…

Начинается разговор о голубях. Потом об армии, затем о врачах.

18. X.1959.

Повесть. Русская повесть. Эмиграция С. Эфрона и его жены. Он — еврей, хотя и крещеный, идет отстаивать в общем чуждый ему строй из «рыцарских» соображений, оказывается белогвардейцем, но «левым», эмигрирует в Париж. Следом за ним уезжает из Москвы (легально) М. Ц. Кто она? Ее считают необыкновенно развратной, не понимая, что просто она — поэтесса, и то, что другие думают, о чем мечтают, что делают, она вынуждена в силу своего ремесла высказывать вслух, да еще в рифму. Природа этого огромного таланта. Волошины. Вражда Брюсова. Ее двойственность, тройственность. Любовь к Маяковскому и Блоку. Понимание блоковских «12-ти» и его позиции вообще. Но — долг, но бред о полячке Марине, потомке шляхтичей, красиво, но бессмысленно умиравших. Но лепет о боярынях в тереме, но темнота московских переулков и нищета и кровь молодой Республики, но невозможность для нас в то время нянчиться с непонимающими и юродивыми (да и вообще, и позже отсутствие гибкости) — она уезжает. (Рейснер пытается удержать, но недостаточно настойчиво.) Раскольников. В Париже она вскоре понимает, что ни Ник[олай] Ник[олаевич], ни Кирилл, никто не может возглавить Россию только Ленин. Новые вехи. Встречи с приезжавшими из России. 20-е, тридцатые. Шаляпин. Горький. Ходасевич. Бунин. Ее неприспособленность и надмирность. Мощь ее стихов. Встречи с Маяковским. Рождение дочки, затем сына. Создание поэм (…) Они бедствуют (…) Новые приезжие из России. Невозвращенцы. Левение эмиграции. Правение новой эмиграции. Буржуи восхищаются, коммунисты проклинают (Раскольников). Испания. Поле сражения и учебный полигон. Антифашизм. Он и дочь в Испании. Борьба. Анархисты, троцкисты, коммунисты, Хемингуэй, Кольцов, Эренбург. Пасионария. Диас. Л. Кабальеро. Присто дель Вайо. Русские летчики. Интербригады. V полк. V колонна. Конец. Горечь поражения и предчувствие победы. Возвращение в Россию ("Горе и предчувствие радости"). Прага. Захват Чехословакии. (Она с сыном.) Едут в Россию, чтобы бежать от фашизма. Арест его и дочери. В то же время другие, белые монархисты, приняты хорошо. Приезд. ССП. Фадеев и другие. Пастернак, Асеев. Головенченко. Переводы. Сын — художник. Голицино, зима

1940/41 года. Война. "Лучше бы мне быть на месте Маяковского, а ему на моем месте". У нее были стихи о Чехии, но она не давала никому. Она ждала, что ее позовут. Неумение руководить хозяйством. Близость войны. Растерянность (…) Эвакуация. Жизнь в Чистополе. Сын. Его ненависть, его ужас, его детская жестокость. Пастернак, Асеев. "На почве болотной и зыбкой". Недоверие, небрежность, наплевательское отношение к о д н о м у человеку, непонимание важности о д н о г о человека, к а ж д о г о человека, к тому же таланта. (Это скажется позднее в истории с «Живаго» и в ее последствиях.) После ее самоубийства в Елабуге, сына забирают в армию и убивают в первом же бою, наповал, — мальчика, счастливого принадлежностью к коллективу (и все-таки не любимого коллективом? или любимого солдатами?). Сам Эфрон умер в тюрьме. Одна дочь, прошедши огонь и воду, вернулась, измученная и мудрая, и добрая, и несчастная. Такова судьба одной семьи, одна из биографий XX века, изобилующая невероятными биографиями (…) "До крови кроил наш век-закройщик".

Каждый человек в отдельности — большой, сложный и драгоценный мир, если же у него талант — то тем более он сложен, драгоценен и единствен.

20. X.59.

Если бы я верил в бога, я бы обратил к нему следующую молитву: "Дай мне сил быть жестоким и непримиримым ко всем мерзостям, созданным тобой. Дай мне сил отдать последнюю рубашку страдальцам, созданным тобой. Дай мне простодушие в сношениях с угнетенными, дай мне коварство в сношениях с угнетателями. Дай мне сил делать свое дело без страха и без дерзости".

9. XII.59.

Кажется, типическое не только не всегда сказывается в обыкновенном, но, напротив, сказывается со всей силой только в необыкновенном, в редкостном, в исключительном: Николае Ставрогине и полковнике Шабере, в Таис и деле Джорндайс-Джорндайс, в палате № 6 и истории Хаджи-Мурата, в Тамани и Булычеве, в Гамлете, Фальстафе и Отелло, наконец. (Если верить нашим теоретикам, дочери венецианских сенаторов должны были каждый день влюбляться в негров.)

——

Жена все время дает советы житейские, основанные на науке: "Пей чай, ты совершенно обезвоженный", "Я сделаю тебе горячую воду, она раскрывает поры, и кожа дышит"… "Помой яблоко и ешь с кожурой, в ней много витаминов", "Не ешь огурцы, в них мало витаминов", "Дыши через нос, там гораздо более сильный фильтр,

и пыль не так проходит".

Муж (или подруга) говорит ей: "Маша, не говори научно!" (Тут можно сделать небольшое обобщение насчет широкого, но поверхностного проникновения науки в жизнь.)

(К "МОСКОВСКОЙ ПОВЕСТИ")

Это был хороший поэт, здорово чувствующий фактуру стиха. Нежность и сила его старых стихов были поразительны. Он тоже приложил свою маленькую, беленькую, хилую ручку к смерти Поливановой. Он боялся ехать на фронт, но не боялся бороться с беззащитной и разбитой женщиной в далеком тылу. Позднее он писал очень красивые и чистые стихи о советской морали. Когда он узнал о смерти Поливановой, он сказал сурово: "Миллионы гибнут сейчас на всех фронтах". Как раз в это время Сталин затеял в Москве создать новый Гимн СССР — национальный гимн взамен «Интернационала»: ликвидация Коминтерна уже была решена. Решено было вызвать в Москву ряд поэтов, в том числе и его. Он, получив вызов «Правительственная», решил, что его посылают на фронт, и написал в ЦК письмо, полное просьб о снисхождении и жалоб на плохое здоровье, старость и т. д. Номер (двойной люкс) в гостинице «Москва» напрасно прождал известного поэта, карточки на полное снабжение по высшей посольской норме (с вином и табачным довольствием: настоящими папиросами «Казбек» в век махорки и филличевого табака) были выданы кому-то другому или присвоены кем-либо. Узнав о своем конфузе, поэт долго ругал себя и стал много плакать, и испуганно оглядывался на улице, и заискивал перед своими собратьями, подозревая, что они знают всю историю, и снова написал письмо, полное подобострастных извинений, и его стихи становились все подхалимистей и хуже, так что даже местная городская газета уже неохотно их печатала. И он думал, что газета неохотно их берет потому, что знает обо всей истории, и плакался перед женой по поводу мстительности, злопамятности и мелочности режима.

В доме пахло печеным хлебом, солодом квасов, салом, сушеными грибами и травами из боковушек и кладовок, деревянным маслом лампадок и керосином стенных ламп. Мебель — из карельской березы двадцатых годов, стулья пудовые, кресла как шарабаны, диваны как струги, комоды — пузатые, шкафы медведи. Все грузно давит на крашеные полы, въедается дерево в дерево.

Из коника в сенях, из чуланных створ и западней, из выдвигаемых ящиков и дорожных сундуков сложный дух затхлости.

На окнах — герани, бальзамины, фуксии, в углах — фикусы.

Портреты генералов и архиереев. Ермолов, Дибич, Паскевич-Эриванский, Филарет Московский, Иннокентий Таврический.

Темные картины масляными красками — вероятно, рисованные крепостными из дворовых: Моисей со скрижалями, Отдых св. сына на пути в Египет, молодой Грек, защищающий отца своего, призвание Михаила Романова на царство.

Чириканье сверчка, треск древоточца.

Кремлевская соборная площадка (Ивановская) ("Кричи во всю Ивановскую") — в пасхальную ночь. Иллюминации: белые огни на карнизах; прозрачное пламя на древних церквах. Староста Успенского собора известный присяжный поверенный Ф. Н. Плевако (Федор Никифорович).

Благовест мощный и долгий.

Хорош и властен тяжелый, широкий звук кремлевского колокола-богатыря. Его басовый рев на «С» контроктавы узнается из тысяч колокольных голосов. Серьезный задушевный тон, легкая хрипота от стародавней трещины. Кто стоит на площадке и слушает, как благовестит Иван Великий, другие колокольни Москвы не слышит.

Могучие колокола Христа Спасителя, колокол Софиевской церкви очень полнозвучен, далеко слышен.

Лучшие места для постижения всей пасхальной гармонии сорока сороков не Кремль, а Тайницкая набережная, или Александровский сад, либо Каменный мост (А. Чехов, великий любитель и знаток колокольной музыки, любил именно Каменный мост). Гул всей Москвы хорошо резонируется рекой.

Колокольный перебой качается в воздухе мерными и широкими размахами, то один, то другой баритонный бас из меди вступает в дело и долго звучит резкими синкопами, пока не догонит прежние голоса. Издали тявкают голоса мелких замоскворецких церквей. Выход крестного хода из Успенского, Архангельского и Благовещ[енского] соборов. Три процессии с хоругвями. Затор у Арх[ангельского] собора.

Пушечные залпы с Тайницкой башни.

Разошлись домой и по церквам — на куличи и пасхи.

Владимир Соловьев — запоминающееся лицо, апостольская борода, прекрасные глаза, длинные волосы.

Улицу не спеша переходят куры: петух с церковного двора ведет семью кормиться на богатый двор Голяшкиных.

Сергей Аполлонович Скирмунт (его дом, видно, тот, где в последние годы жил Горький). Книгоиздательство «Труд» на Тверской улице. (Любил детей, природу, симфоническую музыку, романы Диккенса, хор, кофе (варил сам). Вегетарьянец. Горбоносый, с высоким лбом, синими глазами, апостольской

бородой. Сыщики у его дома, дежурный на лавочке возле дома, ему выносили есть, жалели, звали по имени-отчеству. В 1902 г. арестован, сослан в Олонецкую губ., в 1905 г. — субсидировал «Борьбу», снова арестован, выпущен под залог, уехал в Париж. Горький приезжал с женой и 3-летним сыном из Нижнего, останавливался у Скирмунта.

Мода на Горького: прическа "а-ля Максим Горький", водка «Максимовка»; папиросы.

Братья Хлудовы разгуливали по Кузнецкому с ручной пантерой (70-е годы?).

Дети в башлыках.

В дни «тезоименитств» город утопал в трехцветных флагах, на Патриарших прудах, на катке рокотали трубы военного оркестра.

Благотворительница Варвара Морозова — строгая, вся в черном, похожая на раскольницу.

Красавица Вострякова в соболях.

Известные кадеты — братья Долгорукие, два бородача богатырского роста.

Бунин — самолюбивый провинциал в дворянском картузе.

Учительница — епархиалка. (…)

Б у с л а е в

Донская улица, церковь Риз-Положения. Наискосок против этой церкви к стороне Калужских ворот выходил длинный забор (вообще в Москве было тогда много длинных заборов); за ним — большой двор, заросший зеленой травой. Налево — каменный дом XVIII в., двухэтажный, с толстыми-претолстыми стенами, окна маленькие, с железными решетками внизу. Наружная дверь тоже железная, ржавая. К ней поднимались по двум каменным ступенькам, изрытым и истертым донельзя. От двора отделен решеткой большой луг, на нем кое-где высокие деревья столетние. Летом тут паслись три-четыре коровы. Справа — грядки "со всяким овощем", огороженные плетнем. Хозяйка — Наталья Васильевна Кушечнякова (фамилия хороша!), старая девица под 50 (родная сестра вотчима. Сын Аполлон Ильич служил в опекунском совете, дослужился до звания почетного опекуна).

Зубово, у Неопалимой Купины, деревянный дом с мезонином в переулке, который с задней стороны церкви тянется параллельно Смоленскому бульвару.

Городская площадь с собором, с присутственными местами, с гимназией, семинарией, дворянским собранием и театром, с казенными зданиями для губернатора и архиереем. За площадью старая березовая роща, называемая «гуляньем». Церковь

Боголюбской божьей матери при кладбище.

(Бумажных обоев в 40-х годах не было, стены были покрыты темно-лазуревой краской, а белый потолок разрисован гирляндами и букетами из тюльпанов, роз, и др. цветов.)

Вид из окна: верхняя часть города ниспадает к самой реке, за рекой холмы, покрытые темной зеленью дремучего соснового бора; справа — далекая равнина и роща, перед которой белела церковь Всех Святых с городским кладбищем. Налево же тянулась гора, у подошвы которой стояло село Валяевка, куда ходили на богомолье к источнику святой воды.

Крашенинный сарафан.

Извозчики: лихачи, парные «голубчики», «ваньки», желтоглазые, погонялки — извозчики низших классов, «кашники», «зимники» — приезжали только на зиму, стояли кучками возле своих саней на «биржах», стояли, курили, болтали, распивали сбитень, иногда водку, которой сбитенщики приторговывали с негласного разрешения городового. Когда публика выходила, извозчики набрасывались:

— Вам куды? Ваш здоровь, с Иваном!

— Рублик! Вам куды?

— Куды, куды?

В купеческом клубе: стерляжья уха, двухаршинные осетры, белуга в рассоле, банкетная телятина (белая, как сливки), индюшка, откормленная грецкими орехами, «пополамные» расстегаи из стерляди и налимьих печенок, поросенок с хреном, поросенок с кашей. На парадные обеды поросята покупались у Тестова И. Я., каплуны и пулярки из Ростова Ярославского, а телятина банкетная от Троицы, там телят отпаивали одним цельным молоком.

Русский хор от «Яра». Содержательница Анна Захаровна. Цыганский хор Федора Соколова от «Яра» и Христофора из Стрельны.

— Э-ге-гей, голубчики, грабят! — любимый ямщичий клич, оставшийся от разбойничьих времен на больших дорогах.

Обедают по вторникам, обеды были многолюдны. Другие дни недели купцы питались всухомятку в своих амбарах и конторах, посылая в трактир к Арсентьичу или в Сундучный ряд за горячей ветчиной и белугой с хреном и красным уксусом или покупая все это и жареные пирожки у разносчиков в городских рядах и торговых амбарах на Никольской (?).

Долгополый сюртук и сапоги бутылками.

Дворяне: Долгорукие, Долгоруковы, Голицыны, Урусовы, Горчаковы, Салтыковы, Шаховские, Щербатовы.

Купцы: Солодовниковы, Голофтеевы, Цыплаковы,

Шелапутины, Хлудовы, Обидины, Ляпины.

Великан-купчина в лисьей шубе нараспашку.

Татьянин день в день 12 января (ст. стиль) был студенческим праздником московского университета.

Рядом с Екатерининской больницей на Страстном бульваре — особняк кн. Волконского, ранее принадлежавший кн. Мещерскому, рядом с ним барский дом, после революции «Огонек», а рядом дом Сухово-Кобылина, где была убита француженка Диманш.

Дом Волконского был сдаваем в аренду кондитерам Завьялову, Бурдину, Феоктистову, там была вывеска: "сдается под свадьбы, балы и поминовенные обеды".

(Январь 1960 г.)

О ЧЕХОВЕ

Увенчав великий XIX век русской литературы, он начал собой великий XX век литературы мировой. Без него был бы немыслим новый подход к изображению современного человека во всей тонкости и сложности его душевных движений, т. е. были бы, грубо говоря, немыслимы Хемингуэй, итальянское кино.

Что касается его влияния на нашу, советскую литературу, то оно столь безгранично, что даже иногда становится опасным. Делать "под Чехова" легко, так как Чехов как будто бы весь в обыкновенном, весь в обыденном. Если не заметить за этим обыкновенным, обыденным великой поэзии человеческой жизни и великого обаяния человеческой личности — можно впасть в ничтожество. Это и случается иногда с нашими новеллистами, работающими "под Чехова".

Чехова называли раньше писателем сумерек, камерным лириком, поэтом «безвременья». Оказалось, что он увенчал великий XIX век русской литературы и явился зачинателем великого XX века литературы мировой.

28. I.60.

Завет:

Писать только то, что хочешь; хотеть только то, что можешь;* мочь почти все.

Ленин перед своим уходом из шалаша говорит Емельянову о камышах и здешнем кустарнике: "Чего только он не наслушался за месяц! Каких разговоров, споров, цитат, всякой латыни, немецкого, французского, английского, итальянского! Это теперь самый образованный и самый левый камыш в мире!"

_____

* То есть точно знать свои возможности, не зарываться (примеч. автора).

21. II.60.

Тетка Марфа (рассказ) Неру приезжает на завод. Суматоха, незаметная для глаз неуклонная программа (…) Директор и сопров[ождающие] гостя лица идут на завод, осматривают, беседуют с заранее подготовленными людьми. И вдруг — мгновенное замешательство — Неру куда-то шагнул и оказался среди станков рядом с уборщицей теткой Марфой, пожилой, немного чудаковатой (даже не в себе); муж у нее погиб на войне, живется ей плохо, она выпивает; директор с ужасом вспоминает, что она у него была третьего дня, просила квартиру, он ей отказал, живет она в бараке, получает мало. Ему мерещится снятие с работы и др[угие] беды. Но уже поздно, Неру беседует с ней. И она говорит — говорит о том, что все хорошо, что она всем довольна, что у нас заботятся о рабочих людях, что муж у нее погиб за родину, и что если бы опять напали, она сама пошла бы… И что бывает трудно, но она знает, что все будет хорошо. И вот здесь ничего не было, и стал завод такой, и ради этого стоит пострадать. И директор чувствует, что у него становится тепло в глазах, и записывает: дать тетке Марфе квартиру, но потом забывает об этом. Неру тоже растроган.

У нее серые глаза, веселые, а если вглядеться, то странные (веселость неподвижная), с сумасшедшинкой в самой глубине. Когда на заводе при Неру она вдруг оборачивается и видит директора, глаза ее становятся стальными и, по-панибратски взяв Неру за плечо, она указывает ему на директора. Директор замирает со страха. Она говорит по-хозяйски:

— А это наш директор, Валентин Иванович… Сам из рабочих, инженер… Доменщик большой специалист — мы его уважаем. И он нас… Так у нас водится в Советской стране…

(На приеме) он спрашивает ее:

— Почему ходишь, как распустеха?

Она до той поры добродушная вдруг рассердилась, и ее глаза вспыхнули. Подняв на него глаза, она спросила:

— А почему твоя жена ходит, как б….?

Он покраснел, покосился на Анну Семеновну (та явно была довольна и еле сдерживала улыбку).

Директор вскочил, но сдержался, перешел на «вы».

— Ну, знаете, тетка Марфа… Нехорошо так выражаться… Почему ты так говоришь?

— Каждый раз в другом платье. Я считала, насчитала 20 штук.

— Разоденется, как пава, губы намазанные до ушей, глаза подведенные… А я что? Я живу в бараке… Отгорожена фанеркой… Вот как я живу. Распустеха… Хе-хе… Вот там у тебя машина стоит, поехали со мной, посмотришь, как я живу. (…)

— Не могу я. Я занят, понимаете? Занят. Квартиру мы вам дадим, но не сейчас. Летом, когда тридцатидвухквартирный дом закончим…

(Он вспоминает эту сцену.)

(Без даты.)

ЭТЮД О СОБСТВЕННОСТИ

1. Теперь, как и во все времена, вопрос об отношении к собственности является центральным вопросом идеологии.

Великая Французская революция привела к победе частной собственности. Она оградила частную собственность от произвола короля, феодалов, полиции. Она сделала ее королевой, более властной, чем Мария-Антуанетта и даже Мария-Терезия. Она узаконила то, что уже давно стало насущной потребностью общества.

2. Наша революция, провозгласив анафему всякому угнетению и всякой эксплуатации, обязательно должна была замахнуться на частную собственность, являющуюся источником эксплуатации и угнетения. Взглянув в корень вещей, Маркс увидел того паучка, который свил вокруг себя всего тонкую изящную паутинку государства, права, искусства и наук. Этот паучок — экономика, грубая материальная основа жизни. Она — стеснительная штучка, ей не хочется вылезать наружу, она любит темноту, она обволакивает себя неслыханной красоты махровыми паутинками, означающими красоту, совершенство, добродетель. Но в центре — она.

Разглядев эту странную истину, которую многие умные люди ощущали, но которая все время ускользала, не давалась, прикрываясь сантиментальностями и предрассудками, и требовала великого сурового ума, готового к любым жертвам ради постижения истины, чтобы проявиться со всей беспощадной ясностью, Маркс сделал единственно правильный вывод. Ленин и большевики, воспользовавшись исторически сложившейся ситуацией, сумели сделать этот вывод мощнейшим рычагом для переворота в России.

3. Сделав переворот в аграрной стране, еще не достигшей расцвета капитализма, партия почти сразу обнаружила, что ее задача необыкновенно сложна.

Вести борьбу с белогвардейскими и иноземными армиями оказалось легче, чем с инстинктом приобретательства, т. е. с частной собственностью. Это сказалось не сразу, тут были этапы. (…)

21.3.60 г.

Любовь к родине — великая страсть и великая сила, способная делать чудеса доблести и добра и чудеса подлости и

злобы. Для того, чтобы второго не было слишком много, надо эту любовь питать тихо, без шума. Родину надо любить тихо, как добродетельную женщину. Кто громко, напоказ любит родину — тот наглец и негодяй. Кто расхваливает ее публично — подлец, желающий один получить то, что причитается многим. Кто гордится тем, что он сын своей родины, — глупец, ибо нельзя гордиться тем, что не является твоей заслугой.

11.4.60, Италия.

Этот день был полон событиями, разными переживаниями. В однодневье я вылетел из Москвы, опустился в Париже, проехал через весь Париж, вылетел из Парижа и через два часа был в Риме. Все это было похоже на сон и было по-настоящему боязно проснуться. Все было необыкновенно, даже ужин на «каравелле». Лица попутчиков, то и дело попадавшие в поле зрения, выглядели неожиданными здесь.

12.4.60 г.

Сегодня — второй день поездки, а кажется, что прошло много дней, так насыщены были эти считанные часы впечатлениями огромными, как мировые события. Я встал сегодня в 7 утра и пошел в город. По нашей Via Viminale направо, затем налево по Via Torino. Тут я вскоре увидел очень знакомую церковь. Это оказалась Санта-Мария Маджоре. Перед ней стоял обелиск в честь Августа времен Августа. На огромной церковной паперти гуляют и сидят дети. Они разговаривают по-итальянски. Лица у них очень различные, в конце концов они мало чем отличаются от наших детей, среди них много блондинов и шатенов. Они — веселые и разбитные и смотрят понимающими глазами. Это настоящий большой город, тут нет деревенщины. Все одеты очень скромно, вообще на внешность не очень обращают внимание, и это — тоже городское. Естественность в движениях и взглядах. Город — весь Рим, а не центр. Можно везде гулять, а не на двух-трех улицах. Но вернусь к С.-Мария Маджоре. Я вошел внутрь. В огромном помещении и притворах люди. Их не очень много, они разбросаны группами по гигантскому залу. С обеих сторон цепочки людей по 6–7 человек — очереди к исповедальням. Там скрытый от взоров патер. Мальчик или взрослый входят в кабину, видно, что он становится на колени. У маленьких алтарей в притворах — небольшие группы молящихся. Молятся деловито, привычно и поспешно (до неприличия). Ведут себя свободно. Смеются, переговариваются. Благоговения на лицах никакого. Девочка приложила руку к слишком высоко для нее расположенной статуе и потом приложила ее к губам бегло и тоже деловито.

Ленин жил в гостинице «Эркулано», «Геркуланум» на острове

Капри, когда приезжал к Горькому.

Рим. Базилика св. Петра in Vincoli в Риме. Там цепи и Моисей, а не в базилике св. Павла. В последнем только огромность и дворик очень хороший. Полутьма действует торжественно.

Наши заграницей. А. А. знает Италию по итальянским фильмам. Это очень интересно. Чивитта-Веккиа напоминает ему песню из фильма, а не Стендаля; пл[ощадь] Испании — не кафе Греко, не Гоголя, Иванова и др., а фильм "Девушки с площади Испании". Стадион ему интереснее развалин. Он не лицемерит, хотя немножко этим позирует. Правда, как человек талантливый он не может не быть захвачен.

(…) Дом Горького в Сорренто. Здесь он жил с 1924 по 1933 г. Есть мемориальная доска на доме — частное владение, вход туда воспрещен. Внизу даже кое-где проволока — чтоб не прислонялись, что ли?

Помпеи. Это гениально. Помпеи — одно из наиболее ярких событий моей жизни.

15. IV.60 г.

Сегодня страстная пятница. Сорренто. Шествие в черных мантиях с капюшонами. Несут "тело Христово" в белых цветах. Многие опустились на колени, другие чуть подогнули ноги на минуту. Потом — статуя богородицы из папье-маше в черном одеянии. Маскарад, где зрители становятся актерами (…)

16. IV.60.

Флоренция. Ночь пасхальная. Служба в соборе и в С.-Мария Новелла. Орган и хор. Никакого благоговения я не испытывал, все здесь привычно, нетемпераментно, затянуто. Только в 12–12.20 началось что-то настоящее.

Ночь та же. Площадь Синьории. Лоджия Латри, Давид, Микеланджело, Юдифь и Олоферн. Донателло. Радость почти до перепуга (…)

Флоренция — строгий, немного чинный город необыкновенной красоты. Арно. Ренессанс на каждом шагу (…)

Палаццо Дожей. Львиный зев для доносов.

Город Венеция ночью. Не город, а очень большой дом с узкими коридорами.

Гондолы. Гондольеры.

Засратое Мурано. После Гуся-Хрустального это просто дерьмо. Зато венецианское.

Русская хозяйка стекольной фабрики. Глупая и ничтожная. Муж прелесть, участник Сопротивления. Его женитьба на русской идейное действие, а она оказалась столь ординарной мелкой хищницей-хозяйкой (…)

Сон. Вся Венеция — хороший, хотя и диковинный сон великого художника или писателя.

Шейлок. Отелло. Мне кажется, что это нельзя было написать, не побывав здесь. Актер Шекспир — не автор этих пьес (…)

(19.4.1960 г.)

(Милан.) "Тайная вечеря". Это равно всей Флоренции или всей Венеции. Это нельзя сравнить с другой картиной, это можно сравнить с городом или страной. Главное — масштаб. Все описатели картины забывали упомянуть едва ли не самое главное — ее размеры. Размеры Христа и апостолов. Вы входите в беседующую между собой компанию сверхчеловеков, гигантов, не кичащихся своими размерами, вполне спокойно воспринимающими свои размеры, попросту не сознающими их в отличие от фигур Микеланджело, кот[орые] все время сознают свою величину. Вы сами становитесь гигантом, равным им на время. Вы думаете увидеть картину, а видите живых людей, огромных по размерам и по страстям. То, что происходит между ними, такими людьми, не может быть не важным, от этого разговора не может не зависеть судьба человечества. На такую картину можно и нужно потратить целую жизнь. Я понял впервые величие Леонардо, так мало сделавшего (по количеству картин). Это всегда меня несколько удручало. Теперь я понял, что он сделал. Сикстинскую мадонну я тоже понял по-настоящему, лишь когда увидел оригинал. Но все-таки это была картина — более глубокая, более душераздирающая, чем я думал. Вечеря же не картина. Это подсмотренная художником жизнь гигантов, повседневная. Вы как бы для них неизвестно подглядели ее. Они вас не видят. Она остается тайной вечерей, хотя Леонардо и вы за ним вслед подсмотрели ее. Вы (вслед за ним) становитесь автором Евангелия, все посредники исчезли, испарились. Вот что это за картина, дай ей бог долголетия! К слову сказать, годы, испортившие ее во многом, в чем-то и улучшили ее. Они сделали все линии менее определенными, т. е. более естественными.

* * *

Когда в Италии будет революция, мы будем посылать туда хотя бы на 10 дней всех рабочих по очереди, именно рабочих и крестьян русских. Пушкин мечтал когда-то поехать туда, Гоголь там жил несколько лет. Теперь мы пошлем туда рабочих. Все им покажем. Думаю, что папу римского итальянцы оставят, поскольку еще останутся верующие. В партию его не заставят вступать, в профсоюз тоже. Монахов станет меньше, но несколько монастырей, конечно, останутся. Что нужно будет сделать обязательно — не из антимонархизма, а по велению изящного вкуса — это снести все белое сооружение со статуей Виктора-

Эммануила (на пл[ощади] Венеции); статую можно будет, в крайнем случае, поставить за городом, в какой-нибудь лощине.

Ах, значит, история Франчески да Римини, семьи Борджиа, значит, история Гракхов, Калигулы, значит, история разрушения Иерусалима и терзаний первых христиан — все это не выдумка? Значит, это было на самом деле? Значит, бедняга Овидий был действительно выслан на Днестр, где его угрюмая тень спустя много столетий встретила Пушкина? Значит, Петроний Арбитр действительно перерезал себе вены, а Петр был распят головой вниз, а Сципион победил Ганнибала, а Брут вонзил кинжал в Цезаря, а Суллу пожрала проказа или сифилис, а Спартак устроил восстание гладиаторов?.. Значит, все это было?.. (Как богат и прекрасен мир, европейский мир, который и мы унаследовали во всем его чудесном многообразии.) Это не выдумки книг, а события живой жизни многих столетий, наследниками которой и мы являемся? О, как богат и прекрасен мир! Как наши души обедняли и коверкали при этом угрюмом и недобром маньяке, этом злобном оппортунисте! И как сам он обеднял и коверкал собственную душу, которой нужно было так мало, всего лишь — власти!

Брюссель, 22.IV.60.

Сегодня — 90-летие Ленина. Я в Брюсселе. Где моя повесть о Ленине не знаю.

* * *

Итальянский лавочник в Венеции прикладывал конец отреза к груди одной нашей толстухи и громко кричал: "Лоллобриджида!"

10. V.60.

Сегодня днем умер Ю. К. Олеша. Москва понемногу пустеет. Это был писатель крупного таланта, но у него не оказалось сил, чтобы в условиях нашего времени дать свой максимум. От этого он пил, от этого умер.

Он был ни на кого не похож. Таких становится все меньше. Он всю жизнь приспосабливался, но в конце концов оказалось, что он не из гнущихся, а из ломающихся. Оказалось в конце концов, что он твердый человек, не идущий на уступки, но не настолько тверд, чтобы при этих обстоятельствах еще и писать.

Копенгаген, 15.V.60.

Ученые глупцы точно выяснили, что никакой Гамлет в Эльсиноре не жил, что королевской резиденции там сроду не было и Шекспир был введен в заблуждение. Сегодня в Эльсиноре (он, впрочем, и называется-то иначе Хельсингёр) мне это рассказывала гидесса с ученым видом. Я внутренне смеялся и думал о том, что Шекспир знал правду лучше всех. Там жил

Гамлет, иначе никому не было бы интересно туда ездить. Дух Гамлета витает над этой землей — того нереального принца, который сделал Данию Данией. Ибо он сказал: "Дания — тюрьма", и это как раз то, что большинству человечества только и известно о Дании. Все равно у этих рвов на стене ходили Марцелло и Бернардо и друг Гораций здесь заклинал привидение. Это реальнее, чем сама Дания с ее городами и автомобилями.

(Без даты.)

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИТАЛИЮ

I

Нас было 26 человек, и каждый настолько отличался от другого, что часто мне было неясно, принадлежим ли мы все к одной породе? В этом разнообразии лиц и интеллектов было нечто трогающее и радующее меня. Эти 26 человек, которых я видел так часто и каждое движение которых я мог бы уже — на исходе поездки — заранее предсказать, — тоже являлись частью путешествия, и о них будет речь впереди. Во всяком случае, скажу наперед, что это маленькое общество, оказавшееся обособленным в незнакомом и изумительном мире путешествия, отличалось всеми особенностями, свойственными большому обществу. Пропорции человеческих достоинств и недостатков были здесь тоже вполне выдержаны. Я насчитал одного злобного негодяя, трех стяжателей и одного негодяя мелкого калибра; 5 человек совершенно незначительных; 8 человек глупых; 5 — совершенно необразованных; двух — ярко выраженных индивидуалистов; следовательно, 25 порядочных чел[овек], 21 людей интересных, 21 образованных, 24 коллективистски настроенных, 18 чел[овек] неглупых, далее — значительных людей — 6; щедрых — 6; высокообразованных — 9, умных — 12, добрых — 10. Такова была статистика. Она вызвала во мне приступ оптимизма, вскоре, правда, ослабевший, в связи с другими заботами и, главное, оттого, что, вернувшись из путешествия, я почувствовал себя ничтожным и никому не нужным человеком (чем сильно пополнил ряды отрицательных типов). Может быть, это была всего лишь реакция после великих переживаний от лицезрения Италии.

А переживания эти действительно были велики, если учесть, что с детских лет я, мальчик любознательный, с большими глазами и ушами, открытыми для самых разнообразных звуков и картин нашей земной жизни, любил все относящееся к Италии и к Древнему Риму, и со свойственным юности острым восприятием как бы видел воочию и пережил сам, своими собственными чувствами, Римское государство от Ромула и Нумы Помпилия до вторжения варваров, Италию от Джотто и Данте и до Тольятти и

Феллини.

Но несмотря на то, что вся эта Италия казалась мне необыкновенной реальностью, в глубине души я не очень-то верил в ее существование, настолько была она отгорожена от нас, с одной стороны железной необходимостью сосредоточения в себе, которое диктовалось категорическим императивом окруженного врагами социалистического строительства, с другой — угрюмым и подозрительным характером нашего диктатора, который не пускал советских людей в страны древней культуры (…)

И вот, когда ты свою мечту видишь осуществленной так поздно, когда голова твоя седа и сердце утомлено, то чувствуешь, что к твоей радости примешивается оттенок печали, на дне стакана с игристым вином ощущается вкус горечи.

___

9.6.60 г., Переделкино.

"Давно ничего не записывал" — привычная и скучная жалоба ведущих дневники. Однако! За это время я стал человеком, побывавшем в Риме, Флоренции и Венеции, видевшим Париж, видевшим "Тайную вечерю" в Милане, видевшим Альпы и Лагомаджоре, бродившим по Помпее. Вот каким стал я человеком. 47-ми лет я достиг мечты всей жизни. То, что я видел, достойно было быть мечтой. О поездке я кое-что записывал в другие блокноты.

Затем я ездил в Норвегию, и по дороге побывал в Копенгагене, Стокгольме и Хельсинки. Все это было бы вдвое прелестней, если бы я до того не хлебнул Италии. После же — все пресновато.

Теперь я сажусь работать. Кропотливо, непрерывно, тихо, систематично, истово. Я буду на даче всю оставшуюся половину года. Каждый день. Вот план оставшегося полугодия: а) Закончить "При свете дня"; б) Окончить 1-ю часть романа; в) Написать очерки путевые (вчерне) и г) Написать рассказ "Тетка Марфа" (1/2 листа). М. б., если время останется, — вчерне закончить "Московскую повесть" и «Рицу». Но время вряд ли останется. Так что лучше это отложить, чтоб не отвлекало мыслей. Можно даже пожертвовать "При свете дня", не кончать его ради романа. А "Московскую повесть", «Рицу», "Иностранную коллегию" и "Крик о помощи" отложить на 1961 год, «Калинина» сделать частью романа (8-я послевоенная часть); в 1961 году писать и 2-ю часть романа — Магнитогорскую и Дальневосточную. Тогда же съездить на Магнитку и на Дальний Восток.

Здесь же на даче буду вести дневник. Честное пионерское!

13. VIII.60 г.

Когда я окончу первую книгу романа и должен буду отдохнуть от него, я начну писать "Этюды о русских писателях". Хочу написать 10–12 этюдов: 1) Г. Успенский, 2) Н. Успенский, 3) Помяловский, 4) Левитов, 5) Даль, 6) Фадеев, 7) Пастернак, 8) Цветаева, 9) Олеша, 10) Шолохов и Панферов, 11) Заболоцкий, 12) Твардовский (м. б. Горький?). Клюев.

(Без даты.)

ЭТЮД О ВЛАДИМИРЕ ДАЛЕ

Этот человек с красивой, несколько стилизованной длинной бородой, с внимательными, очень ясными глазами — сын датчанина и немки, ставший величайшим знатоком и пропагандистом русского языка и русского национального духа. Мы так привыкли к нему, он занимает такое большое место как автор "Толкового словаря" в сознании каждого образованного русского, что и немецкая фамилия его кажется нам истинно русской, хотя и немного искусственной. Это полнейшее «обрусение» иностранца — явление, которое может показаться странным. На самом деле оно совершенно естественно и только доказывает — в который раз — все ничтожество и глупость всякого рода шовинизма, всяческих теорий расы и крови. Не раса и не кровь, а окружающая жизнь и воспитание прежде всего создают национальный характер. Еврейская кровь Левитана, уроженца Литвы, не помешала ему стать поэтом среднерусской природы. Русская кровь не помешала Достоевскому, уроженцу Москвы, быть совершенно равнодушным к среднерусской природе.

Во время моих заграничных поездок я вначале с удивлением, а затем все с большей радостью отмечал в людях разных национальностей одни и те же черты человеческого характера, видоизмененные в мелочах, но не в главном. К счастью, ум и талант, доброта и юмор, скромность и доброжелательство, любознательность и душевная широта — явления интернациональные. К сожалению, холуйство и хамство, глупость и злоба, зависть и вспыльчивость, бездарность, равнодушие, собственничество и национальная ограниченность тоже явления интернациональные. Французский фашист так же отвратителен, как и немецкий, еврейский спекулянт так же подл, как и украинский, американский солдафон так же неприятен, как и русский, итальянский дурак так же несносен, как китайский. Труженики, французский и немецкий, ученые, американский и русский, революционеры, украинский и еврейский, умники, итальянский и китайский, — все они равно сложны, интересны, симпатичны, умны, красивы.

Это, впрочем, присказка. Сказка впереди… Владимир Даль

родился (запись на этом прервана)

27.8.60 г.

Сегодня закончил "При свете дня". При переписке исправлю погрешности, добавлю важное, выкину несущественное. Этот рассказ я задумал 13 лет тому назад, и он все время так или иначе маячил перед глазами. Окончив его, я устранил последнее препятствие для работы над романом, только романом.

30.8.60 г.

…5 рассказов нужно бы написать "сверх плана":

1. "Тетка Марфа".
2. "Небо и земля".
3. Два председателя.
4. Собака.
5. Попов.

31.8.60 г.

(…) Приехала Маргарита из города и сообщила, что утром умер Панферов. Он умер во сне, не просыпаясь, без мучений и без знания того, что он умирает. Жаль его. Среди редакторов нашего времени это был единственный, способный на поступки (…)

(Без даты.)

На этом позвольте мне кончить эту повесть, которую я назвал "Поразительное отсутствие доброты". Она правдива, почти все, что в ней описано, действительно случилось. Люди, изображенные здесь, действительно существовали, и я их знал лично. О чем моя повесть? Ее пафос не в сюжете и не в изложении трагических судеб — а в идее: пора подумать о людях, о каждом человеке в отдельности — не на словах — слов на этот счет у нас было много; надо ценить каждого человека в Отдельности, памятуя, что настала пора прекратить болтовню о гуманизме, настала пора проявлять его. Гуманизм имеет много больших и сильных врагов, но самый страшный враг его — это болтовня о гуманизме. И еще: гуманизм не означает любви к человечеству — все человечество любить не дюже трудно — он означает любовь к каждому человеку. Я провозглашаю вместо культа личности одного человека культ личности каждого человека, всех людей. Только так мы на этом этапе развития сможем убедить мир в справедливости нашего дела. Прошло время революций и войн, настало время деятельного спокойного соревнования с капиталистическим миром по таким показателям, как производительность и культура труда, а так же: а) доброта, б) чистота, в) любовь к людям, г) яростная ненависть к насилию, холуйству и хамству. Fini.

(Без даты.)

(К "ТИХИМ ДНЯМ ОКТЯБРЯ")

Хельсинки. У Ровио в Гельсингфорсе, потом корниловское восстание, хотел ехать из Выборга в Питер, но ЦК не разрешил. Тогда Ленин сказал: "Вы это серьезно?" — "Серьезно, Владимир Ильич". Ленин — Напишите.

Он пишет, что ЦК не разрешает.

— Ага, они серьезные люди, солидные, министериабельные. Они, наверно, считают, что я немного ребячлив. Увлекаюсь, строю дикие планы, например устроить революцию в России. Об этом удобнее писать статейки.

Шотман его уговаривает, что еще не готово все. — Вот и Подвойский говорит.

Ленин успокаивается и говорит:

— Хорошо, хорошо.

Спрашивает, когда приедет Шотман с материалами. 28 сентября. Приезжает Шотман 27-го, но Ленина не застает. Фин-адвокат Латука говорит, что Ленин уехал, взял вещи.

Ленин у Фофановой на квартире.

Ленин едет как финский пастор, провозит его Рахья, документы имеются нужные, едет в поезде. Там же казачок. Ленин беседует с казачком. Вспоминает, что его видел. Сначала хотел притвориться, что не знает языка. Но говорит с ним. У казака плохо на душе, с перепоя, счастья нет, и он, несмотря на свою рожу, думает, чувствует. И погода еще слякотная… Плохо ему, казаку. Спрашивает у Ленина: что бы такого сделать?

Потом он же в казачьем разъезде едет по Питеру и встречает Ленина с перевязанной щекой. Есаул говорит, что надо проверить документы. Он трогает повод, видит фигурку маленькую, жалкую, в черном пальто, с перевязанной щекой, говорит есаулу:

— Да ну тебя, хоть пусть сам Ленин это будет.

Смеется над своим предположением, что это может быть Ленин.

Представляет себе Ленина высоким, с раздвоенной бородой, как у есаула или командира дивизии.

Еще в поезде, когда казак уходит, заговаривает с кондуктором, который очень кидается на Ленина, говорит, что Ленин бунтовщик, что он, хотя во многом и прав, действительно, бедным людям плохо, но не через бунт, так развалишь Россию. Ленин говорит с кондуктором уважительно, слушает внимательно. Рахья говорит потом на улице Ленину о кондукторе: "Какой глупый человек". Ленин отвечает: "Нет, не глупый. Умный. Много понимает. Хозяин. Заботится о России. Будет еще большевиком".

Уже уходили. Рахья говорит: "Какого-то кондуктора, который о вас говорил бог знает что, вы хвалите, говорите, что он все

понимает, что он будет большевиком, слушаете, говорите с ним уважительно, а вот старые друзья и вы так с ними, нехорошо". Ленин: "Как вы не понимаете? Я их любил, и потому что они близкие мне люди, и они же необыкновенно знающие, полезные партии, но то, что они сделали — предательство. Это хуже, чем враждебность, опаснее".

Под квартирой Фофановой гимназист учит наизусть "Октябрь уж наступил". Всё стихотворение. Каждый раз забывает на тех же местах. Нудно учит. Ленин иногда досадливо разводит руками и подсказывает (про себя). В конце оказывается, что Ленин выучил наизусть и читает его целиком (в ожидании посланной в Смольный Маргариты Васильевны).

26.10.60 г.

После больницы я многое забыл из того, что написал. С удивлением читал заключительную страницу "Московской повести", написанную незадолго до последнего сердечного приступа. Здорово сделано. Или, может быть, приступ ослабляет чувство самокритики? (А память здорово ослабела. "Не дай мне бог…")

Вчера Н. читал "При свете дня" и высказал много похвал. Он — первый литератор (притом талантливый), читавший рассказ. Он был искреннейшим образом захвачен и взволнован. Он ошибается? Нет, кажется, нет. Очень рад.

Вдруг захотелось писать "Иностранную коллегию". Почему? Неужели потому, что она анонсирована в «Октябре» — отписка несерьезная, которую я им дал в ответ на их просьбы. Вот что, стало быть, означает внешнее поощрение, даже вот такое призрачное, ничтожное! (…)

Архангельское, 20.XI.60 г.

Я поймал себя на странном чувстве — зависти к Л. Толстому. Он так много взял у природы, что мало кому что-нибудь осталось. Впрочем, он и сам, как природа. Трудно завидовать высоте горы, широте моря, зелени леса. Трудно, но можно.

Сегодня Ляличка мне сказала по телефону, что верстка "Синей тетради" уже прибыла в редакцию «Октября» и завтра будет у меня. Это очень хорошо, но уже трудно радоваться после трех лет ожидания, суеты, волнений. Помимо того, — чем ближе все дело к завершению, тем больше мне кажется, что вещь слабая. Иначе, если бы она не была слабая, зачем бы ее разрешить к печати?

21.11.60 г., Архангельское.

Ясно, почему я стал писать "Тетку Марфу" и думаю все время об "Иностранной коллегии": я боюсь р о м а н а. Я еще слишком слаб после болезни, слаб умственно и физически, чтобы снова

взвалить на себя эту гору. Это — самосохранение организма и самосохранение художника. И нужно, чтобы Галя выздоровела.

23.11.60.

(…) Я дал читать верстку повести милейшему человеку, с которым я подружился здесь, — полковнику-профессору Фоме Фомичу Железову. Он специалист по электронике, причем блестящий, крупный, ездивший в Америку, Англию, на днях уезжающий в Японию. И вот он прочитал. Он читал всю ночь не мог, по его словам, оторваться. Он в таком восторге, что описать трудно. Он говорит, что это вещь замечательная, что Ленин — удивительный, что ничего такого он не читал и не н а д е я л с я читать, что он, старый член партии (он в комсомоле с 1924 г.), узнал из повести бесконечно много того, что раньше не знал. А это, по его мнению, главный критерий для оценки. Может быть, он прав? Значит, мои опасения неосновательны — вещь действительно хорошая? Это — первый мой читатель из не литераторов и не начальства, и он прямо в восторге бесконечном. Он говорит, что и раньше ценил меня (он читал "Весну на Одере" и "Дом на площади", больше ничего), но теперь он только понял, какой я писатель. Он сказал такую фразу: "Ведь вы описали маленький эпизод (о нем так буднично писали: "Скрывался от ищеек Керенского на ст. Разлив, в шалаше"), а ведь это — огромная глыба, которую вы подняли, и эта глыба — не камень, а золото". Он стал как-то нежен ко мне. Мне это так приятно. Он говорил: "Боритесь за эту вещь, боритесь, если будут трудности, если будут критиковать, ругать (у вас есть враги!) — плюйте, как Ленин плевал на это, держитесь — вещь стоит многих жертв. Вы оказали ею партии колоссальную услугу!" Может, он прав? Он особенно обратил внимание на слова Ленина о правде. (Это — первый читательский отзыв.)

27.11.60 г., Архангельское.

"Русские в Италии" — повесть в 7 новеллах.

1-я новелла: Пушкин в Крыму (1823, попытка бегства в Италию; "Скала и шторм, скала и плащ и шляпа". Роман с Воронцовой).

2-я новелла: Гоголь в Риме и Римской Кампанье (1843) (Иванов, Анненков и пр.).

3-я новелла: Герцен и русский гарибальдиец М. С. Пинегин в Милане и Венеции.

5-я новелла*: А. Блок. Предчувствия. Россия.

4-я новелла: Горький на Капри в 1910 году. Ленин, Богданов, Шаляпин.

5-я новелла: Горький в Сорренто (1925. Приезд молодых советских писателей — Бабеля, Леонова, Федина).

6-я новелла: Советский военнопленный Джовани (Иван Лядов) — боец итальянского Сопротивления (1943, Флоренция, Равенна, Падуя).

7-я новелла: Я, Паустовский и Алигер в Италии. Писатели-туристы. Встречи с монахом, монахиней, антисоветски настроенным перемещенным лицом ("вы не перемещенное лицо, а перемещенная ж…"), коммунистом, с К. Леви, Феллини, Пьовене, Лоллобриджидой, женой Феллини, П. Тольятти, римским папой и рабочими римской канализации. Форум, Капитолийский холм, «Моисей» Микеланджело и т. д. (…)

_____

* Ошибочная нумерация автора. (Примеч. ред.)

28.11.60 г., Архангельское.

(К "КРИКУ О ПОМОЩИ")

— Когда немецких евреев расстреливали в рижском гетто, они кричали: "Es lebe Deutschland".

— Ох, пришибленные души! Вместо того, чтобы кричать: "Verfluchtet sei, Deutschland, они кричали "Да здравствует!.." Рабы!

— Они, вероятно, подразумевали не ту Германию, которая их расстреливала, а другую, великую Германию Гете и Бетховена…

— Ах, какие сантименты! В тот момент их расстреливала Германия Гете и Бетховена… По крайней мере, расстреливавшие не могли иначе воспринять их крика, как выражение примирения со смертью и преклонения перед немцами, перед германским гением, в ряду которого, по мнению расстреливаемых, были и Гете и Гитлер.

— Не знаю, не думаю… Может быть, все это сложнее. Их убивала не Германия, их убивал фашизм, который интернационален, несмотря на националистский его звериный запах… Французские фашисты те нее, что и немецкие, — разницы нет. Таковы же русские, украинские, литовские, любые другие фашисты. Фашизм, наоборот, привел бы и уже приводил к разложению и обескровлению германской нации, нации Гете и Бетховена и, таким образом, был ей враждебен.

— Не знаю, если бы меня расстреливали французы, я бы не кричал "Vive la France le pays et de Moliere et de Pasteur". Кстати, великих французов много, и я вряд ли успел бы пересчитать и двух из них, как меня бы уже поразила французская пуля! Нет! Я бы кричал: "Долой французскую фашистскую сволочь!" В тех криках "Да здр[авствует] Германия" мне чудится элемент слабой надежды на то, что эдак кричавшего пощадят…

— Вы злой человек.

— Да, я злой, как черт. Я очень сильно ненавижу.

— И меня?

— Нет. Вас я люблю. И очень сильно. Так же сильно, как тех ненавижу.

— О, тогда ты сильно любишь меня!

5.12.60 г., Архангельское.

Я недооцениваю свои усилия в работе над своими вещами и поэтому удивляюсь своим сердечным приступам и нервной истощенности, сулящими мне недолгую жизнь (а я хотел бы пожить подольше, чтобы успеть больше). Все очень просто: работа и связанное с ней стоит мне чересчур много здоровья.

(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")

В 1932 году он приезжает из голодного края и встречает знакомого, который ведет его в «Метрополь», устраивает там в номере. Жизнь в «Метрополе». Женщины. А главное — еда. Он видит, как они едят, и удивляется, что они к этому привыкли; они не доедают, и остатки забирает официант. А Феде хочется все съесть, чтобы не пропадало. Потом он идет домой к товарищу (работнику кино) и видит то же самое изобилие. Он оправдывает это. Товарищ (оператор) снимает картину о колхозной жизни. И Федя оправдывает это: всего мало, и нужно кормить преимущественно людей самых нужных.

Он все оправдывает и только в 41 году, отступая к Москве, понимает, что это оправдание всего привело к отступлению; нельзя все оправдывать, надо бороться со злом.

Отсутствие идеализма. Причем идеализм путают то и дело с философским идеализмом.

Чем хуже жилось всей стране — тем лучше жилось Льву Ивановичу Вошанину, его бухгалтеру Натану Семеновичу Минскому, его заместителю Карапету Оганесовичу Асратьяну, его зав. складом Мамая Гогоберидзе и его продавщицам Соне, Тане и кассирше Анне Ивановне. Чем меньше обуви приходило для продажи в магазин — тем больше зарабатывали Вошанин, Минский, Асратьян, Гогоберидзе, Соня, Таня, Клава и Анна Ивановна.

Егор Кузьмич: Владимир Ильич Ульянов-Ленин — человек святой, его и церковь к лику причтет — подождите, сами увидите. Были и язычники святые, в рай попали — даром, что язычники. Он был дворянского сословия, присяжный поверенный, ученый, профессор — ему и при старом режиме жилось бы совсем даже хорошо. Я был у Владимира Никифоровича Плевако, знаю, как присяжные поверенные жили… Но он, Ленин, не схотел жить так, думал не о себе, а про весь народ, и сидел по тюрьмам, жил в бедности, как праведник… А енти, теперешние, — что? Лаптем щи хлебали… Каб не революция, что, к примеру, сапожнику, да еще осетину (?) делать? Сапоги тачать! Вот оно что… Они для

своего интересу старались, а он для всех… Да-с, Федор Никифорович, как дела-то обстоят.

— А вы не боитесь, что я сообщу про ваш разговор в ГПУ? — спросил Федя, побелев от ярости.

— А не боюсь, я человек старый… Чего ж, сообщи, сообщи, — ответил Егор Кузьмич. — Может, себя обелишь, снимут с тебя клеймо… Давай, давай, иди… — Голос его не дрогнул, он сохранил полное спокойствие, только тоже «заокал» по-ярославски чуть сильнее.

Я, разумеется, отдаю себе отчет в том, как сложна задача, поставленная мной перед собою — написать роман о жизни наших людей на протяжении 25–30 лет. При мысли о событиях этого периода, о глубоких процессах перестройки жизни, поневоле приходишь в отчаяние, думая о трудностях их отражения в художественной литературе. И все-таки я взялся за это и надеюсь довести работу до конца. Я вдохновляюсь при этом самоотверженным трудом нашего народа, который не боится больших дел. Писатели должны брать с него пример.

Это было очень давно, но об этом необходимо написать. Ничто в истории не пропадет зря. Все то, что по условиям времени и обстоятельств так или иначе замалчивается или скрывается, позднее выходит наружу, и тогда создается возможность понять и осмыслить. Предпримем и мы эту попытку, и какие бы препятствия любого порядка не стояли на нашем пути, мы хотим довести дело до конца во имя человечества, революции и истины.

7.12.60 г., Архангельское.

Федя с его сантиментальностью умел говорить о вещах проникновенно и искренне. С течением времени это стало привычкой, и он умел уже говорить проникновенно и искренне о самых безразличных для себя делах и вещах; это нравилось окружающим и было для него тем же самым, что защитная окраска для некоторых слабых животных. К счастью для него, его свойство самоанализа несколько ослабило разъедающее влияние такого рода притворства: он сам знал, когда притворяется, и говорил себе: «врешь» так же, как в сказках играющий с дьяволом в карты крестит карту под столом.

Архангельское, 10.12.60 г.

Боли в животе не дают работать и не дают отдыхать. Послезавтра между тем кончается путевка и я уезжаю домой. За этот почти месяц многое записал, набросал рассказ "Тетка Марфа". Это — грунтовка холста и первые пятна, распределение темного и светлого. Кое-где более основательно написан то кусочек фона, то кусочек руки. Но все-таки это уже много. Дома

перепишу, если поджелудочная железа не выбьет меня совсем из колеи. Буду голодать. (Сердце перестало болеть.)

(К "МОСКОВСКОЙ ПОВЕСТИ")

"Чем мне закончить мой отрывок?" Читатель хочет знать, что было дальше с другими героями повести. Что ж, расскажу вкратце.

Мариус стал писать все лучше и лучше, но после войны его совсем уже не печатали, даже когда стихи были о весне, елке, ночных огнях. Это приводило в ужас истинных ценителей искусства, ибо им казалось, что советская власть и искусство — две вещи несовместные. На самом же деле это были крайности диктатуры полусумасшедшего человека. Ведь в 30-х годах Мариуса охотно печатали, однако от этого ни индустриализация, ни коллективизация не приостановились.

Он стал писать стихи свободные, глубокие и простые. Несколько стихов посвятил он памяти Поливановой. Он, в общем, понимал свою вину. Он умер 70 лет от роду от рака легких. Демьянов застрелился после смерти Сталина. Ему было в то время 55 лет. Мариус оказался победителем; его правота была доказана опытом этих трех жизней. Поэзия — пресволочнейшая штуковина: существует и ни в зуб ногой. И она побеждает именно тогда, когда кажется особенно беспомощной, придавленной, почти умирающей. Когда Николай I думает, что он — главный, и правит Пушкина. (Тацит об этом же.)

(Февраль — март 1961 г., больница.)

(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")

1930

Володя Ловейко жил в молодежной коммуне, он был ее душой. Вечера, разговоры, диспуты и т. д. Но по сути дела, несмотря на ее внешнее процветание, она медленно умирала. Многие женились, выходили замуж, хотели уюта, тихой любви, жизни вдвоем. Другие, начиная зарабатывать больше, не хотели делиться. Борьба с уравниловкой, естественно, губила коммуну. Кроме того, к ней стали относиться недоверчиво: сборища, дискуссии и т. д. Володя это чувствовал и понимал, что этому приходит конец, и оправдывал это, считая коммуну пройденным этапом, хотя и прекрасным: нет экономической возможности совмещать коммунистический быт с индустриализацией.

Невыносимо быть больным и беспомощным, когда у тебя в душе, еще не на бумаге, такая книга.

Только дети считают свой дом и свою семью незыблемой, вечной, прекрасно-постоянной крепостью. Взрослые же, их родители, построившие его, знают его недолговечность, шаткость, знают, что это табор. Они знают начало и видят конец. Но, к

счастью, и они были детьми и когда-то испытали радостную веру в постоянство и незыблемость.

Воспоминания детства — это воспоминания о постоянстве, устроенности, незыблемости окружающего мира. Поэтому они кажутся прекрасными.

14.3.61 г., больница.

Окончившие смену няни, уже одетые "в штатское", т. е. без халата, в своей простой домашней одежде, идут домой. Смена тяжелая, они устали, идут неторопливо к выходу, но на их лицах — чудесное выражение людей, которые нужны людям, которые трудятся, честно выполняют свои обязанности. Это выражение — неосознанное, не от гордости, но это сознание сильно и выражается независимо от их воли. Они идут вперевалку, по-хозяйски.

Март 61 г., больница.

Статья: "Долой вранье!"

В ней все высказать насчет хвастовства, очковтирательства, газетной слащавости, лакировки в искусстве — всего, что дает противникам возможность вести свою неумную пропаганду с успехом. Покончить со сталинской тактикой обмана и самообмана. И помнить: пропаганда должна быть обращена не к тем, которые уже распропагандированы, а к тем, кто против или кто колеблется.

30. III.61 г., больница.

И вот, как ни странно, после операции, явившейся огромным нервным потрясением, я почти здоров. Потерял около 20 кг., помолодел, глаза стали большие, как в юности. Если это все даст 7 — 10 лет настоящей работы, я выполню свое предназначение.

Первые две ночи и два дня после операции нужно было продиктовать все приходящие в голову мысли. Теперь все переживания потускнели, потеряли мучительную свежесть. Но все-таки я, кажется, смогу еще достаточно сильно описать все впечатления и страдания, связанные с этим, едва ли не сильнейшим в жизни потрясением. Это — после, когда уйду из больницы и сяду за работу. Какую? Р о м а н, "Иностранная коллегия" и заметки-заготовки к "Московской повести", «Рице», "Тихим дням Октября", "Былям XX века", Заметки к "Жизни Ленина" (кажется, я твердо решил писать это); перевести (продиктовать пока без отделки) "Искру жизни" Ремарка: последнее я считаю своим долгом (как, впрочем, и все, что я делаю и собираюсь делать).

Ладно. Там видно будет. Пока трудно представить себе, что у меня не будет болеть живот каждый день и каждую ночь.

О д н а и з п е р в ы х м о и х р а б о т — я должен это сделать

для того, чтобы удача с "Синей тетрадью" из моей личной удачи превратилась бы безоговорочно в общую удачу нашей литературы, русской, советской, моей любимой, уже чреватой величием, но не могущей еще пробиться сквозь стены, искусственно созданные глупостью и невежеством. Работа эта — доклад в Союзе писателей на тему: "Как я писал "Синюю тетрадь" (…) Я смогу помочь внести в л[итерату]ру ясность, здоровый дух взаимного уважения и соревнования, вражды к серости и лжи, любви к труду честному и добросовестному в литературе. Этот доклад или "творческое собеседование" я могу написать либо только законспектировать; второе — лучше, сохранится прелесть вольной беседы. А затем опубликовать правленую стенограмму. В докладе я расскажу метод своей работы над образом В. И. и весь путь моих творческих усилий, затем весь крестный путь моих мытарств по напечатанию вещи, затрону все самые важные теоретические и практические вопросы, ставшие перед литературой в наше время. Я нанесу сильный удар по вранью в любых видах, по близорукости и недейственности нашей пропаганды. Говорить надо со всей откровенностью и прямотой, но с верных ленинских позиций. Я надеюсь даже не слишком сильно рассердить начальство — оно, во всяком случае, будет расколото в смысле своего отношения к моим мыслям. (Обида грузин на «низложение» Ст[алина] — всего лишь повод для проявления стародавнего груз[инского] бурж[уазного] национализма. В этом — лицемерие, фальшь, ибо, на совести Ст[алина] — кровь Серго и Орахелашвили, Картвелишвили и Лакобы, Ломинадзе (…), Паоло Яшвили и Тициана Табидзе цвета грузинской соц[иалистической] нации. Вот это — повод для душевной драмы замечат[ельного] народа. А «бунт» по поводу недостатка уважения к Ст[алину] — мелкобуржуазная нац[иональная] спесь ранее угнетенных наций (знакомая и мне, как еврею): де, наш властвует в Кремле, в царском дворце над ста народами. В этом нет ничего коммунистич[еского], - пережитки феодального общества и прошлого угнетения. Когда-то гордились царскими генералами. В этом — нац[иональная] узость мысли, и я не верю, что это разделяют рабочие и крестьяне Грузии; это — движение золотой молодежи.) Это — между прочим, но важно.

Самоограничение автора. Нельзя вмешиваться автору, когда герой Ленин. Прямая ленинская речь, назло беллетристике. Но тогда все мысли, вызвавшие к жизни замысел, выходят из игры. Автор имеет перед героем одно преимущество: он знает, что было после 24 года. Но использовать это преимущество он не имеет права, он сам отказывает себе в этом праве, ибо глупо пытаться быть умней В. И. Ленина. Надо перевоплотиться в него, хотя бы

на мгновенье, и узнать то, что знает он — это уже возможно, хотя и очень трудно. И вот автор читает не только Ленина, но и всё, что читал Ленин, он входит в круг его интересов и вопросов, вплоть до увлечения латынью и Римом.

31. III.61.

Теперь нужно, несмотря на ликвидацию язвы, или благодаря этой ликвидации, ввести в работу и жизнь строгий режим (…)

М. б., уехать в Крым и жить там, как покойный Сергеев-Ценский, тихо и углубленно в работу, с поездками (ежегодными) в места, необходимые для романа, в Москву, Италию и Париж.

Хорошо бы мне дали журнал "Красную новь", скажем. Чувствую в себе гигантские силы для создания журнала необыкновенно талантливого, умного, революционного, целеустремленного. Я бы взял в редколлегию (приблизительно): 1) Алигер, 2) Антонова, 3) Вершигору, 4) Макашина, 5) одного из молодых критиков, 6) Радова или А. Злобина, 7) Нилина, 8) Панову, 9) Паустовского, 10) Погодина, 11) Мих. Ромма, 12) Смелякова, 13) Тендрякова, 14) Шкловского, 15) Эренбурга (Залыгин, Симонов, Щипачев, Кривицкий).

Можно поручиться за 200 тыс. тиража. Я бы завел "Дневник писателя", как Достоевский, и ежемесячное (или раз в три месяца) лит[ературное] обозрение (анонимное, от имени журнала, но оно должно быть и может быть на уровне Добролюбова).

Это бы мне не мешало работать. Напротив, оно тонизировало бы меня, вытаскивало бы из одиночества, из творческой мономании — виновницы многих моих болезней. (…) Надо быть среди людей, но не как заседающий, а как работающий. Помимо того, так, с пользой для общего блага, зарабатывать себе на жизнь благородней, чем редактировать или переводить г…., а рассчитывать на собственные гонорары не дюже приходится.

Ладно. Хватит. Пока — поправляться скорее. И за роман.

1. IV.61, больница.

Апрель настал. На улице — солнце и тающий снег. Я не был на улице 3 месяца почти.

Вот план: на 1961–1963 годы.

1961 — 1. Делать 1-й том романа (почти кончить).

2. Набросать "Иностранную коллегию".

3. Издать "Синюю тетрадь".

4. Издать "Три повести".

5. Опубликовать "При свете дня" и "Ив[анушку]-дур[ачка]".

6. Поездка в Одессу.

7. Поездка в Италию и Испанию.

8. Перевести "Искру жизни".

9. Издать ее (?)

10. Отделать "Тетку Марфу".
11. Очерки о деревне, о заводе, об Италии.
1962 — 1. Кончить 1-й том.
2. Кончить "Иностранную коллегию".
3. Издать то и другое.
4. Основать журнал.
5. Поездка на Дальний Восток.
6. Поездка на Урал.
7. — " — на Север (?)
8. Крымский вариант.
9. Кончить "Моск[овскую] повесть".
— " — «Рицу» и также "Дочь диктатора".
Писать рассказы «Попов» и др.
1963 — Кончить 2-й том.
Работать над "Жизнью Ленина".
Поездки по Ленинским местам (…)
21. IV.61, больница.

История с "Синей тетрадью" дает мне в руки возможности, кот[орые] надо использовать с умом и спокойно. Кто знает, м. б., эта история даст мне возможность работать на полную силу, т[о] е[сть] добиться м а к с и м у м а — максимум для любого писателя немало (…) Открывающиеся передо мной некоторые возможности плюс сила воли, кажется, имеющаяся у меня, приведут мою работу к серьезным достижениям; надо только не отвлекаться на второстепенное — т. е. не творческое, — соблюдать строгий режим в быту (чтобы продлить сроки работы), не давать ни славе, ни неуспеху отнимать драгоценное время. Когда ты приходишь к сознанию собственной силы — при этом отталкивая от себя мысли о бренности всего существующего — время решает все (…)

(2-я половина апреля 1961 г.)

(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")

Чистка. Сначала: «Садитесь». Он садится на стул у стола президиума. Секретарь берет учетную карточку и читает: "такой-то, родился, образование, соц[иальное] положение, соц[иальное] происхождение, стаж, работа, уч[астие] в гражд[анской] войне". "Расскажите о себе". (Перед председателем кипа заявлений. Неизвестно — сколько относится к имярек.) Начинает рассказ о себе.

Очень важно (по моим воспоминаниям): толпа очень хорошо видит, что человек хочет утаить или о чем он говорит с нарочитой небрежностью. Нет более чуткого организма, чем собрание, созванное для контроля.

"Прочитал «Капитал». Сначала он мне не понравился: вместо

дела абстракция. Потом освоил"… (нарочитость в этом "не понравился". Кто тебя спрашивает? Значит, чего-то боишься, хочешь подчеркнуть свою искренность).

О замужестве сестры — бегло. Собрание обязательно спросит: "За кого вышла замуж сестра?" Хитрый это может использовать: нарочито недоговаривать для того, чтобы задали вопрос; ответ: "Муж сестры рабочий-литейщик Сормовского завода и сейчас там работает"… Это производит отличное впечатление. Или ответ: "Я не имею с ним (или с ней) связи" — в случае, если он или она в чем-то предосудительны (…)

16. VI.61.

Схема? Замысел, композиция и есть по существу «схема», "головное построение". Но без этого нет искусства. Разве структура "Войны и мира", "Медного всадника", "Преступления и наказания" — не "головное построение", т. е. не продукт дисциплинированнейшей работы великого ума, понимающего, что необходимо для раскрытия великого сердца? Эта гигантская работа ума коррегируется сердцем, чувствами, ими подстегивается, ими заполняется, как эластичная оболочка — воздухом, как апельсинная корка — мякотью. А кто сказал, что корка апельсина менее гениальна, чем мякоть? Что прозрачные оболочки долек менее гениальны, чем содержимое? Что для создания их корки и оболочек — творец употребил меньше творческой силы?

17. VI.61.

В доме старых большевиков старая большевичка, дряхлая, седая, толстая, сидя в шезлонге, говорит:

— Вот видите… Воевали, боролись, шумели, управляли, рвались вперед, в будущее, а теперь — развалины… сидим на скамеечках, греемся на солнышке… Нет, не годится большевикам доживать до старости… — Она задумалась на мгновенье, по ее (…) большому лицу прошла тень, и она добавила: — Только один большевик должен был бы дожить до старости. Ильич. Этот — да. Этот должен был бы дожить. Этак лет двадцать еще пожил бы хотя бы. Он — да. — Она усмехнулась. — А если он пожил бы, то и мы не вышли бы так скоро в тираж.

20. VI.61.

Приведены в божеский, годный для печати вид, первые два листа моей главной книги. Хочу надеяться, что этот роман будет достоин России, русской революции и русской литературы.

Прежде всего это огромный труд. Но кроме того, это — опасный труд минерское дело. Насколько это сложнее и труднее работы, скажем, Льва Николаевича над "Войной и миром"! Там все заключалось только в таланте и труде. Чтобы написать "Войну

и мир", «Онегина», "Братьев Карамазовых" и другие великие творения русского гения, нужно было иметь только (!!) талант и трудолюбие. Мне нужна и храбрость, элементарная храбрость, бесстрашие, т. е. отсутствие страха, солдатское, не писательское качество. Если бесстрашие мне изменит, то ничего не сделают талант и труд. Независимо от того, насколько хуже я пишу, чем великие писатели прошлого, труд мой тяжелее и больше, чем их труд.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Картины советской жизни

И увидел я новое небо и новую
землю, ибо прежнее небо и прежняя
земля миновали.
Апокалипсис, 21.I

Книга первая

СТОЛИЦА И ДЕРЕВНЯ

Часть первая

МЕТЕЛЬ

I

Немало заманчивых начал мерещились моему воображению с тех пор, что я леплю и строю эту книгу. Неплохо было бы начать ее кратким, суховатым, но сильным историческим обзором описываемой поры, где при некотором умении открывается возможность дать резкие и глубокие обобщения пережитого. Можно начать и с деревенского пейзажа, с прелестной картины природы среднерусской нечерноземной полосы, столь легко и без труда живописуемой современными сочинителями, поднаторевшими в словесных комбинациях из рощ, перелесков, тучек небесных и цветочков земных. Можно далее пустить этакую символическую фистулу, вроде упавшего дуба либо летней грозы, или же бурного ледохода на большой реке. Можно наконец начать с изящных сетований по поводу тяжести и запутанности неуютного переходного времени, которое-де так же трудно и опасно описывать, как и переживать.

Но я не буду начинать таким образом. Я ненавижу себя за услужливо подсовывающиеся со всех сторон начала, середины и концы, глубокомысленные диалоги и озаренные солнцем картинки, сотни мужских и женских лиц, знакомых и придуманных, бесконечно разных, но похожих на меня, как на родного брата; вот они взапуски лезут под перо, строятся в точно продуманные ряды, знаменуя (каждое!) целый класс, слой, прослойку или явление, хотят выдать себя за живых, ожидают похвал, восторгов и слез.

Если эта яркость и это многообразие называются талантом,

то я ненавижу свой талант. Я хочу быть грубым и глубоким, как жизнь, которую я описываю, скупым и сосредоточенным, как стальная рельса, которой нет дела не только до пробегающих мимо рощ, но даже до своей пары, идущей рядом.

Я не буду стараться быть принципиальнее и смелее других, я откажусь от всех соблазнов: от соблазна нравиться, от соблазна учить, даже от соблазна не только казаться, но и быть несчастным. Я буду делать свое дело без дерзости и без боязни.

Вечером 16 февраля 1930 года в актовом зале 1-го Московского университета им. Покровского на Моховой состоялось общеуниверситетское партийно-комсомольское собрание. Второй секретарь Московского комитета партии товарищ Леонов прочитал двухчасовой доклад о решениях январского Пленума МК и МКК. Речь шла о наиболее важном вопросе текущего момента — о положении в деревне. Доклад изобиловал цифрами посевных площадей, выполнения хлебозаготовок, процентами коллективизации по краям, областям и нацреспубликам, цитатами из речей Сталина, Яковлева и Баумана.

Доклад слушали не слишком внимательно. Подавляющее большинство студентов были городскими жителями, деревенские проблемы интересовали их сравнительно мало. Многие понимали, что идет большая ломка, последствия которой неисчислимы, но студенты не ощущали ее связи с их собственной жизнью — зачетами, экзаменами, раскладкой небогатых стипендий на тридцать долгих дней, доставанием учебников, составлением конспектов и прочей вузовской текучкой.

После докладчика выступили два профессора — политэконом и историк, затем три студента — Полетаев, Готлиб и Ошкуркин.

Аркадий Полетаев, один из наиболее выдающихся студентов исторического факультета, всеобщий любимец, в своем выступлении обнаружил, как и подобает историку, точное знание предмета, назвал наизусть множество цифр и употреблял с абсолютной свободой такие слова, как «пар», «зябь», «весновспашка», "яровой клин" и так далее, хотя не имел никакого представления о том, что эти понятия означают в натуре. Однако любые тяжеловесные материи он умел пересыпать остроумными и тонкими замечаниями и неожиданными примерами, все слушали его, как всегда, с удовольствием и любовались гордой посадкой его головы, темно-русой шевелюрой и вздернутым крутым подбородком.

Борис Готлиб, филолог, тоже славился своими большими способностями, особенно к языкам. Как оратор он соперничал с Аркадием и имел много сторонников, считавших его "более

глубоким умом", чем Аркадия. Он рассказал о своей недавней поездке на Северный Кавказ в совхоз «Гигант» и нарисовал перед слушателями пронизанную солнцем оптимистическую картину будущего сельскохозяйственного производства при социализме, без лошадей, с минимальным количеством персонала, управляющих при помощи электрических машин посевом, созреванием, жатвой и — внимание, внимание! — погодой! Да, дождем и вёдром! В поле все будут делать «комбайны» — слово в то время новое, мало кому известное и поэтому окруженное ореолом всемогущества. О лошадях Борис говорил с насмешкой и несколько наивной враждебностью горожанина.

Федор Ошкуркин был крестьянским сыном, и хотя от деревни оторвался и даже гордился этим, разбирался он в происходящих там событиях больше, чем другие. Он привел несколько примеров из современной деревенской жизни, подчеркнув в особенности факты кулацкого засилья и кулацкой скрытой, но неизбывной ненависти к советской власти. "Покуда жив кулак, — сказал он просто, но сильно, — мы не хозяева в деревне, запомните это, товарищи". Потом он неторопливо повернулся к Готлибу, добрейшая и хитрейшая улыбка осветила его большое красивое лицо, и он проговорил: "На лошадок, Боря, ты зря ополчился. Видно, извозчик однажды содрал с тебя лишний двугривенный, и это помутило твой обычно ясный разум. Лошадь еще долго нужна будет в сельском хозяйстве для разных мелких надобностей, которые машинами справлять невыгодно. Впрочем, ты литератор, тебе фантазировать разрешается, не то что нам, историкам…"

Ошкуркину дружно аплодировали. Все помнили, как он появился здесь два с половиной года назад после окончания рабфака еще полной деревенщиной, робел, мучительно краснел, нещадно окал и приобрел прозвище «Бабушка» с ударением на «у», так как однажды употребил это слово с таким, принятым в его местности, ударением. Он развивался на глазах, запоем читал книги, порядочно изучил немецкий язык, стал членом бюро комсомольской ячейки университета; из рослого, сильного, но скованного и услужливого до раболепия деревенского парня он превратился в человека самостоятельно мыслящего, знающего себе цену, отличавшегося широтой натуры и тяжеловесным изяществом, хотя по-прежнему очень доброго и склонного к самокопанию и дружеским излияниям.

После собрания трех выступивших студентов задержал ненадолго секретарь МК Леонов. Не скрывая своего восхищения знаниями и умом "младшего поколения", он похвалил их речи, особенно речь Феди, и сказал, что пора подумать о передаче всех троих из комсомола в партию, при этом он посмотрел уголком

глаз на стоявших поблизости ректора и секретаря райкома: этот взгляд означал, что сказанное — не только совет, но и директива.

Польщенные похвалой старого большевика из рабочих, три вузовца покинули университет в приподнятом настроении. Они решили прогуляться пешком по морозцу. С Моховой они пошли по Волхонке к Пречистенским воротам. Было пустынно и белым-бело. Редкие санки извозчиков проносились мимо, оставляя на свежевыпавшем снегу темный след полозьев. Полетаев жил тут недалеко, в Померанцевом переулке, у Остоженки. Друзья пошли по Остоженке, на углу простились с Аркадием, и тут Аркадий вспомнил, что имеет поручение от своей сестры Киры, пригласить обоих друзей на ее день рождения 19-го вечером; насмешливо скосив глаза в сторону Ошкуркина, Аркадий добавил, что сестра особо настойчиво приглашала Федю.

— Ты имеешь успех, — сказал Аркадий, усмехаясь, — не только у секретарей Московского комитета партии.

Федя скрыл радостное смущение за какой-то шуткой, и вместе с Борисом они пошли к трамвайной остановке, чтобы ехать домой, — оба они жили в одной комнате студенческого общежития, что в Охотном ряду, дом № 7.

Приехав к себе, оба, порядком озябшие, налили кипятку из большого «титана» в конце коридора, выпили несладкого чаю (сахара у них не было), разулись и сели заниматься. Готлиб продолжал одолевать «Шахнаме» Фирдоуси на персидском языке, а Федя — "Русскую историю с древнейших времен" Покровского вперемежку с "Крестьянской войной" Энгельса. Рядом занимались другие студенты — соседи по комнате — каждый своим делом.

Федя начал уже подумывать о том, не лечь ли спать, когда раздался стук в дверь и послышался мужской голос:

— Ошкуркин, иди вниз, к тебе пришли!

"Кто бы это мог быть?" — подумал Федя, зевая, он надел ботинки на босу ногу и помчался вниз по слабо освещенным лестницам.

В дальнем полутемном углу проходной конторы, возле низкого подоконника, Федя сразу заметил человеческую фигуру — приземистую, бесформенную, похожую на сверток с вещами. Завидя Федю, сверток зашевелился, затрепыхался и кинулся к нему. Только лишь когда смешалось их дыхание, Федя узнал свою младшую сестричку Надю — Наденку, как ее звали в деревне. Красавица Наденка, гордость семьи Ошкуркиных, стояла в проходной конторе в напяленном как попало большом романовском полушубке, трех платках на голове и четвертом на бедрах под полушубком, в черных катанках и, по-видимому, многих юбках и кофтах. Ее большие иссиня-серые глаза сузились

и вспухли, полные губки-вишни сжались в одну нитку, и это сделало ее похожей на их тихую безответную мать Екатерину Тимофеевну, и оттого, что она стала похожей на мать, Федя почему-то подумал, что мать умерла и поэтому Наденка здесь в таком странном виде.

— Федя, — сказала Наденка и повторила со странной торжественностью, Федя.

Она подняла маленькие руки на уровень его лица и взялась ими за его щеки, ощупывая их, как слепая.

— Нас раскулачили, — сказала она негромко, но Феде показалось, что эти слова набатом раздались по всем закоулкам проходной конторы. И первым его непроизвольным движением, еще прежде, чем до него дошло все значение произнесенных слов, было — оттеснить Наденку обратно к окну, в угол, и сказать ей что-то (он сам не знал — что) шепотом, тем самым приглашая и ее говорить тихо.

Она вполголоса начала рассказывать, но он не слушал ее; вернее, слушал, но не слышал — ее рассказ не вызывал в нем никаких представлений зрительных; если он и видел что-нибудь из того, что она рассказывала, то только баньку в глубине сада, среди малины, и именно среди малины, а не снежных сугробов, как должно бы быть теперь, зимой. Но банька эта была тоже только фоном; на этом фоне перед Федей выскакивали из темноты, пропадали и снова проявлялись лица: Аркадий Полетаев, его отец Виктор Васильевич, секретарь МК товарищ Леонов, Боря Готлиб, ректор университета, Кира Полетаева, секретарь райкома комсомола и другие. Нельзя с уверенностью сказать, что Федя видел их лица, — это были чаще всего не их лица, а движения их рук, челюстей, мигание их глаз, повороты их голов, иногда даже просто их имена, даже хлопанье двери, ведущей в их комнату, даже запах трубки, которую кто-то из них курил, и запах мыла, которым кто-то из них умывался. Эти люди появлялись перед Федей и опять пропадали, и при каждом появлении отдалялись от него все больше, смотрели на него с жалостью, злобой, укоризной, а затем все более равнодушно, отводя глаза в сторону — на свои бумаги, столы, к другим людям, к другим разговорам, к другим временам. Они уходили из его жизни.

Он же цеплялся за них, кидался следом за ними, пытался их остановить при помощи целого потока фраз, оправданий, объяснений, произносимых то с достоинством, то с отчаянием [самобичеванием], - готовых фраз, читанных или слышанных, сильных именно тем, что они были произнесены миллион раз, и этим же слабых, но произнося мысленно эти фразы, Федя

чувствовал, что они разбиваются обо что-то, как волна — о камень; и этим камнем была стоявшая рядом девушка в одежде, спасенной от реквизиции.

Надя, хотя она и повидала виды за последние два дня, испугалась остекленевших глаз брата и вцепилась в его руку своими маленькими ручками, готовая испустить истошный деревенский вопль. Но Федя сразу же оправился может быть, потому, что и во внезапном своем беспамятстве, похожем на обморок, боялся такого вопля, — и сказал:

— Хорошо, хорошо. Подожди тут. Я оденусь, и мы пойдем поговорим.

Он опасливо оглянулся. Запоздавшие студенты и студентки разворачивали перед вахтером свои пропуска и мчались по лестнице вверх, беззаботно прыгая через две ступеньки. Федя медленно поднялся по лестнице. Всюду было тихо. Общежитие угомонилось. Федя медленно пошел по коридору, дошел до двери своей комнаты, постоял с минуту, затем толкнул дверь, вошел и поразился: все здесь осталось таким же, каким он оставил вечность тому назад. Эта вечность длилась десять минут. Боря Готлиб наклонял свой тонкий профиль аскета над той же древней персидской поэмой. Паша Андреев допивал второй стакан кипятку и доказывал на бесконечных листках бумаги все ту же бесконечно длинную теорему. Петя Онищенко лежал в постели и, надев наушники, водил стальным волоском по камушку детекторного радиоприемника, установленного на крышке папиросного коробка. На столе перед свободным стулом, где десять минут назад сидел Федя, лежал открытый на той же 201 странице второй том "Русской истории с древнейших времен" Покровского и толсто переложенная вкладками из газетной бумаги книга Энгельса. Все находилось в таком же состоянии, как в то мгновение, когда раздался стук в дверь и чей-то голос произнес: "Ошкуркин, иди вниз, к тебе пришли". Феде это показалось потрясающим, и он окинул всех горестным и удивленным взглядом, как фотографию, снятую много лет назад.

Он начал бесшумно одеваться, желая избежать расспросов. Готлиб, подняв на него рассеянные глаза, сказал: "Слушай, как здорово", и прочитал по-персидски несколько непонятных, но очень красиво звучащих строк. Потом, заметив, что Федя стоит одетый, рассеянно спросил: "Куда собрался?"

Федя пробормотал что-то неразборчивое и вышел.

II

Брат и сестра пошли по обставленному лотками и мелкими лабазами Охотному ряду. У них не было никакой цели. Единственной до сих пор осмысленной целью Феди было увести

скорее Надю подальше от общежития. Но и эта цель была неопределенной и зыбкой, и, может быть, поэтому он вел сестру петлями, вокруг да около — то через Иверские ворота они выходили на Никольскую, то плутали в Старопанских и Черкасских переулках, то плелись вдоль приземистой стены Китай-города и возвращались на площадь Свердлова, а оттуда снова к Охотному ряду, чтобы здесь опять повернуть за первый попавшийся угол. Мимо то и дело проносились дребезжа трамваи, но ни Феде, ни Наде не приходило в голову сесть в трамвай. Для Нади это было естественно, Федя же почувствовал себя так отчужденно от московской жизни, эта жизнь представлялась ему до того отдалившейся, что и трамвай уже, казалось, был создан не для него.

Наконец они очутились возле Александровского сада и, потоптавшись у входа, вошли в него, оставляя на пушистом снегу глубокие следы единственные в эту позднюю пору. Федя смахнул полой полушубка снег со скамейки и сказал:

— Посидим. Расскажи мне все подробно.

Говоря, он мимоходом, с ужасом отметил, что окает, как раньше, по-деревенски, и это внезапное непроизвольное возвращение к деревенскому прошлому показалось ему полным трагического смысла. Пока Надя рассказывала, он не раз возвращался к этому психологическому феномену.

Надя рассказала, как она поехала гостить к старшей сестре Варваре в Нижний Новгород на рождество и Новый год, там задержалась и только на днях, одиннадцатого февраля собралась домой.

Поздно ночью она вышла из вагона на станцию, где ее должен был ожидать Макар с розвальнями, но на пристанционной площади, еле освещенной керосиновым фонарем, не было ни души. Сыпал густой снег. Он покрыл сплошняком обычно утоптанную здесь желтую от конского навоза и нитей сена землю.

Наденка удивилась и рассердилась. Она соскучилась по родным, еще в вагоне предвкушала встречу, представляла себе, как добродушно и сонно облапит ее Макар большими руками, как пахнет от него родным деревенским запахом овчины и молока; Сивка будет дружелюбно помахивать хвостом и прясть ушами; старая собака Жучка, обладавшая, по мнению всех домашних, человеческим умом, обязательно поймет, зачем Макар едет на станцию, увяжется за ним и встретит Надю счастливым повизгиванием, переходящим в сдавленный радостный лай, будет прыгать ей на грудь и лизать щеки.

Наде ужасно надоел город, где она провела полтора месяца. Муж Варвары, Калистрат Степанович Спиридонов, бывший их

односельчанин, работал на строительстве автомобильного завода. Жили они на самой стройке, в бараке. С утра до ночи здесь царил оглушительный шум, раздавалась площадная брань. Люди тут много пили и жили какие-то неприкаянные, как на временной стоянке.

Тем не менее, Наде жилось весело. Она имела большой успех. Ей там сделали три предложения. Калистрат Степанович несколько раз с трудом предотвращал драки между двумя ее воздыхателями — шофером и монтажником, а вскоре появился третий — молодой инженер Карпухин. Он дважды водил ее в театр, в Нижний, показывал ей территорию нижегородской ярмарки. Верно, Наде было с ним скучновато — он был сух, молчалив, неловок, редко смеялся, видимо, все время помнил о своем инженерстве.

Побывала она у него в комнате, в доме ИТР на территории уже действовавшего автосборочного завода "Гудок Октября". Комнатушка Карпухина была похожа на него самого — тоже скучноватая, содержимая в полном порядке, обставленная самым необходимым; книги тут были только технические. На верху книжной полки лежала новая инженерская фуражка с зеленым плюшевым околышем, которую Карпухин, впрочем, не надевал, так как после шахтинского процесса вредителей такие фуражки были несколько скомпрометированы и понемногу выходили из обихода.

Здесь, в этой комнатке, под шум «фордов», сновавших по заводскому двору, Карпухин сделал Наде предложение. При этом его руки дрожали. Она засмеялась и сказала, что не может жить в таком аду и выйдет только за своего, деревенского или за городского, который ради нее согласится жить в деревне, потому что в городе она жить не станет.

— У вас уже есть кто-нибудь? — спросил он, помертвев.

— Нет, — сказала она полуправду, пожалев его: в действительности считалось, что она почти невеста Мити Харитонова, соседского сына; впрочем, Митя уже два года как находился в армии на Дальнем Востоке.

Карпухин просиял и начал убеждать ее в том, что и город неплох, если это настоящий город, а не новостройка, и что он может попроситься в Ленинград. Тифлис, Киев — а это все очень красивые города. И еще он что-то обещал ей и смотрел на нее при этом во все глаза. Она действительно была очень привлекательна. Высокая грудь, покатые круглые плечи, мощные и изящные икры — все это особенно волновало мужчин в сочетании с почти детским маленьким коротконосым румяным лицом, залитым светом больших серых глаз, ресницы вокруг которых были

поистине удивительной длины и густоты, почти пушистые. Когда она прикрывала глаза, лицо ее в тени этих ресниц становилось томным и грешным, но когда глаза были раскрыты — оно было невинным свежим деревенским лицом, достойным, впрочем, кисти богомаза, пишущего лики ангелов для притвора какой-нибудь затерянной в глуши деревенской церковки.

Весь ее облик будоражил в Карпухине его чахлую чувственность аккуратиста и буквоеда. Ему, угловатому и застенчивому человеку, нужна была именно такая женщина, чтобы он мог ощутить подъем и совершить что-нибудь необыкновенное. Ради этой Нади он мог горы перевернуть. Он не верил, что может ей (и вообще кому-нибудь) понравиться, и не питал никаких надежд на то, что она примет его предложение. Он и сделал ей предложение только потому, что не мог иначе выразить всю меру восхищения ею. Но он был настойчив и упорен и в его узкой груди билось сердце, способное на великое постоянство.

Весь вечер после этого разговора она смеялась, вспоминая дрожь его рук, и искренне удивлялась тому, что не кто-нибудь, а настоящий инженер так дрожал и изменялся в лице перед ней, деревенской девчонкой. Это подняло ее цену в собственных глазах.

Может быть, поэтому она, приехав на станцию и не застав Макара с санями, особенно обиделась и рассердилась. Впрочем, позже, когда стало ясно, что сани не появятся вовсе, у нее внезапно защемило сердце.

Она посидела в помещении станции — большой бревенчатой комнате с грязным полом и наглухо закрытым окошечком кассы. Здесь никого не было, но в воздухе стоял заматерелый запах махорки и кислятины. В полутьме белели плакаты. Из-за стены доносился стук аппарата Морзе и ленивый разговор дежурного со смазчиком.

Как только начало светать, Надя пустилась домой пешком, не дожидаясь попутных саней, какие могли подойти, — так хотелось ей скорей попасть к своим. До деревни было двенадцать верст. Вначале Надя шла угрюмая и злая, тем более, что тащила на спине не очень легкий сундучок с гостинцами. Но по мере того, как становилось все светлее, досада ее понемногу проходила, кругом было так тихо и красиво, воздух был так чист и свеж, что Надя, сравнив эту благодать с сутолокой, гамом и пылью новостройки, начала улыбаться и петь. Издалека — вероятно из Мстеры — слышалось заливистое пение петухов. Огромный красный шар солнца поднялся над деревьями, покрыв на мгновенье снег и верхушки елей легчайшим малиновым

покровом. Надя даже громко вскрикнула от восхищения.

Выйдя из лесу на Аракчеевский тракт — большак, идущий от Нижегородского глоссе ко Мстере, и повернув направо, она встретила первые сани и решила, что это едет опоздавший Макар. Однако это был не Макар, а Савелий Овчинников, молчаливый черный мужик, исполнявший обязанности почтальона. Он ехал на станцию за почтой, Наденка, впрочем, обрадовалась и Савелию, настолько все кругом казалось ей приятным и радостным. Она остановилась, чтобы перекинуться с ним словом. Савелий проследовал было мимо, но, вглядевшись в девушку и узнав ее, вдруг оглушительно крикнул: "Тпру, проклятая" и остановил лошадь.

— Здравствуй, дядя Савелий, — сказала Наденка приветливо.

— Здравствуй, — сказал Савелий. Он снял рукавицы и вынул из кармана кисет с махоркой, при этом глядя безотрывно на Надю.

— Как живете? — спросила Надя.

— Обнаковенно живем, — кратко ответил Савелий.

— А я у Варвары гостила.

— Знаем, — сказал Савелий.

— Кланялась она всем деревенским и тебе кланялась. Тоже и Калистрат Степанович приказали кланяться.

— Мг.

— Жалованье хорошее получает. Он ударник, портрет его висит на стройке. Про него в газете писали.

— Так, так… В газете… Мг… Да… — он скрутил цигарку, достал спички, закурил и не двигался с места. Надя спросила:

— Как там наши — папа, мама, Макар?

Савелий ответил:

— Да так… обнаковенно.

На его тупом лице что-то шевельнулось, и он неожиданно сказал:

— Тебе на станцию не надо? А то подвезу…

Она удивленно подняла брови:

— Я ведь и то со станции иду.

— Мг, — согласился Савелий, продолжая курить и не трогаясь с места. Надя пожала плечами и пошла дальше. Потом обернулась. Сани стояли на месте. Савелий все сидел неподвижно в санях и курил.

Поднявшись на бугор, поросший мелким ельником, Надя увидела нестерпимо сверкающий в свете солнца золоченый купол колокольни и тусклые голубые луковки Спас-Благовещенья, их приходской церкви. А внизу, у ее подножья, высовывая из-под ослепительного снега коричневые бревенчатые углы и темные

треугольники дощатых фронтонов, лежало село. Так как ветра не было, то дымы из всех дымоходов шли вертикально к голубому морозному небу, и от этого вся картина дышала еще большим спокойствием. А дальше за селом, за еле угадываемыми, почти неразличимыми изломами заснеженных холмов, ощущался провал речной поймы, а еще дальше, за ней — левый, уходящий вдаль до горизонта низменный берег. Там, среди легких заиндевевших лесов тяжелела белая, словно тоже из льда и снега сложенная, громада Серапионова монастыря.

Надя спустилась с холма и пошла по дороге. Идти стало легко — почти все время с горы. Вскоре она поравнялась с крайними домами. Улицы были пустынны. Все было до того ослепительно-белое, что, когда Надя зажмуривала глаза, ей казалось, что все кругом ослепительно-алое. Так она шла по улице и то закрывала, то открывала глаза, превратив это занятие в чудесную и яркую игру: то весь свет был ослепительно-красный, то ослепительно-белый. А когда она подошла к их дому, она заметила у ворот трое городских санок с лошадьми, привязанными к забору, но без людей. А люди — среди них знакомые односельчане и дети — стояли на улице неподалеку от ворот небольшими кучками, по двое и по трое, и смотрели в одном направлении, неизвестно куда, не то вдоль улицы, не то еще куда-то. Казалось, они ждут заезжего фокусника или еще какого-то зрелища — и даже не ждут, а уже смотрят на него, и это не показалось Наде странным только потому, что она уж очень спешила домой увидеть своих родных.

Их знакомый до мелочей двор показался Наде в это утро еще шире и привольней, чем когда-либо, — по-видимому, оттого, что составлял контраст с теснотой и многолюдьем новостройки. Это был большой и хороший двор, на заднем плане которого чернели среди белого снега узловатые стволы яблонь и желтели с восковым блеском несколько ульев. А спереди снег был желтый от конского навоза и нитей сена, как на пристанционной площади, и такие же желтые стежки шли к низкой дверце крытого двора налево, к низкой баньке в глубину и к возвышающейся над землей, похожей на сугроб, крыше погреба вправо.

Не успела Надя войти во двор, как к ней метнулась жена Макара, Поля. Она обняла Надю и что-то непонятное запричитала. Но тут на пороге дома появился отец. Поля сразу же замолкла — она робела перед Никифором Фомичем. Надя подняла глаза на отца и обмерла. Сундучок с гостинцами с глухим треском упал на землю. Ей показалось, что Никифор Фомич сильно пьян. Его рыжеватые волосы и редкая бородка были растрепаны, руки дрожали, глаза были красные и страшные.

Нательный крест на буром тряпичном шнурке, который он никогда не носил, так как был не дюже верующим, теперь висел снаружи на рубашке. Он пошел к Наде нетвердыми шагами и, подойдя, неожиданно обнял ее. Он никогда не обнимал дочь и вообще был скуп на ласку, и это объятие потрясло Надю больше, чем могло бы потрясти что-либо другое; оно, это объятие, красноречивее чего-нибудь другого дало ей понять чрезвычайность происходящего.

— Горе мое, — сказал Никифор Фомич. — Приехала, Наденка… Лучше бы глаза мои тебя не видели. Беги обратно. К Варваре, к черту, к лешему.

Надя заплакала от страха.

— Мы уже не люди, — продолжал Никифор Фомич. — Мы трава. Фу — и нету.

Он взял ее за руку, ввел в дом и провел прямо в большую чистую горницу к улице, где никто обычно не жил. В горнице такой же группкой, как и те люди на улице, словно чего-то ожидая и глядя в одну точку, стояли все одетые, словно на улице, — Екатерина Тимофеевна, семилетний сын Макара Санька и присоединившаяся к ним Поля с маленькой девочкой на руках. Екатерина Тимофеевна бросилась было к дочке с плачем, но Никифор Фомич отстранил жену и сказал сурово:

— Не шуми, старуха.

В это время вошел Макар. Он остановился в дверях, большой, темный, с обвисшими плечами.

— Пришли, — сказал он.

Никифор Фомич затрепыхался, как зарезанный, потом медленно собрался, расчесал пятерней волосы, перекрестился и пошел к двери. Как только он вышел, Екатерина Тимофеевна, застывшая на полдороге после окрика мужа, бросилась к дочери, обняла ее и, спрятав маленькое морщинистое лицо на ее груди, заплакала молча. Однако Надя рванулась из ее объятий и бросилась к двери вслед за отцом.

Теперь двор был полон народу. Тут были и незнакомые Наде люди военные и штатские, — и местные власти — председатель сельсовета Овчинников, и отец Калистрата, Степан Ефимович Свиридов, председатель недавно созданного колхоза "Светлый путь", и сосед Иван Иванович Харитонов, и еще много других, в том числе Надины подружки, стоявшие теперь в стороне неподвижно и молча, как в театре. Жучка надрывалась от лая, в то же время трусливо прижимаясь к стенке крытого двора.

Между тем кто-то отпер амбар, кто-то вывел из стойла лошадь и жеребенка, кто-то погнал со двора корову Машку с подтелком. Овцы, выгнанные из закута, быстро и вроде как бы

зябко перебирали тонкими ножками, направляясь к воротам. Часть людей хлынула в дом, сапоги загрохотали по комнатам и чердаку, в окна было видно, как чужие руки шарят по запечьям, открывают сундуки и ворочают столы. Кто-то из вошедших в дом стал распахивать окна, и они, крепко заклеенные на зиму, отскакивали с громом, похожим на пушечные выстрелы, и из них некоторые разбивались при этом, стекла звенели и падали, кромсая девственный снег. Из распахнутых окон слышались негромкие, но возбужденные голоса. Некоторые из оставшихся во дворе, услышав эти голоса, тоже кинулись в дом и в крытый двор, и среди этих кинувшихся были Дуся Серебрянникова и Фрося Кузнецова, лучшие Надины подруги, и они пробежали мимо Нади, словно не замечая ее, и в их глазах был азарт почти до невменяемости.

Надя растерянно постояла среди двора, но когда эти две ее подруги пробежали мимо нее, чтобы, как мелькнуло у нее в мозгу, забрать себе ее платья, она задрожала и метнулась к человеку в кожаной куртке, который, по-видимому, всем здесь заправлял.

— Ты что делаешь? — спросила Надя, подступив к нему так близко, что ее грудь соприкоснулась с его кожаной курткой. — Грабишь? Ты что? Рабочего крестьянина обижаешь? Что у нас — советская власть или старый режим? Да я Сталину напишу! Я к самому Калинину пробьюсь…

Она вцепилась ему в грудь. Платок слетел с ее головы, и толстая русая коса упала вниз и забилась на высокой груди, как живая. Человек в кожаной куртке отступил и почти умоляюще обратился к стоящим возле него людям:

— Уберите вы ее, пожалуйста…

— Как твоя фамилия? — завизжала Надя, рванув на нем куртку. — Ты скажи, не утаивай… Я до тебя доберусь! Не на таковских напал!.. — Кто-то оттащил ее, поволок в сторону, но она все рвалась и кричала: — Ты свою фамилию назови, начальник говенный!..

Человек в кожаной куртке отдавал распоряжения, не обращая, казалось, внимания на крики Нади. Наконец он повернул к ней голову и сказал:

— Моя фамилия Русанов, Петр Иванович. Хочешь, запишу? И успокойся, пожалуйста. Заберите ее отсюда. Заберите. Не надо ей тут быть.

И непонятно было, говорит он с жалостью или злобой. Какой-то военный схватил Надю за руку и потащил за собой. Она билась, вырывалась, но в то же время видела все, что делается во дворе. Она увидела и мать и Полю с детьми, которые неизвестно

когда вышли во двор и теперь стояли плотной кучкой, словно привязанные друг к другу. Она увидела отца. Он все время молча стоял у стены дома, с лицом неподвижным и серым. Казалось, он ничего не видит. Даже когда мимо него провели упирающуюся лошадь и жеребенка, на которого он так надеялся, он не шевельнул пальцем. И когда Надю оттаскивали в глубь двора, он ничего не сказал и не сделал. Но когда кто-то впопыхах, вероятно, даже без умысла, пнул ногой уже присмиревшую Жучку, путавшуюся среди людей, лицо Никифора Фомича вдруг налилось кровью. Почти обезумев, он стал ворочать головой вправо и влево, словно искал чего-то. Тут он заметил уроненный Надей сундучок на снегу, уже почерневшем от шагов множества людей, раздавленных окурков и плевков. Он схватил этот сундучок и бросил его в гущу стоявших людей и сам пошел вслед за ним, подобрав с земли слегу, нагнув голову, как бык, крича и матюкаясь. Его схватили, милиционеры скрутили ему руки и сунули в милицейские санки, для этой цели стремительно влетевшие во двор. Высокая лошадь, испуганная многолюдьем и нервными отрывистыми подергиваниями вожжей, бешено закидывала голову вверх и кусала уздечку. Тут же, следом за ней, во двор внеслись вторые санки и третьи, и все трое, после того, как в них усадили всех Ошкуркиных, включая Полю с младенцем, стали разворачиваться, и люди разбегались в стороны, а лошади толкали их и друг друга оглоблями, пока не развернулись и не вынеслись со двора по направлению к Аракчеевскому тракту.

— Мама! — кричала Надя и рвалась обратно во двор, но военный не пускал ее. Он выволок ее со двора и остановился вместе с ней, запыхавшись и что-то бормоча. Когда городские санки пронеслись мимо и промелькнули среди заиндевевших деревьев на тракте, он снова потащил ее куда-то. Слезы мешали ей видеть. Она видела только шинель и буденовку и думала, что военные хватают ее, чтобы куда-то отправить, но что-то было в сильных руках этого человека такое властное и в то же время ласковое, что она, слабо крича, не сопротивлялась им. А он уводил ее все дальше, они пересекли улицу. Он повернулся к ней лицом, и лицо его показалось ей странно знакомым. Она в замешательстве перестала кричать, удивление на минуту вытеснило все остальные чувства. Это был Митя Харитонов, сильно изменившийся, повзрослевший за два с лишним года отсутствия. То был он, с его смугловатым лицом, прямым носом, строгим выражением полных, но суровых мальчишеских губ.

— Митя! — крикнула Надя не своим голосом. — Спаси нас…

Он промолчал и все продолжал тянуть ее, а она послушно, хотя и медленно, шла за ним. И, отдаваясь во власть его рук,

закрыла глаза. И она стала открывать и закрывать глаза, как давеча, но несмотря на то, что солнце по-прежнему ярко освещало ослепительно-белый снег, красный свет в глазах больше не появлялся, и, когда она закрывала глаза, все было черно.

Митя отвел ее в отцовскую избу и оставил на попечении своей сестры Павлы, а сам куда-то ушел. Павла уложила Надю в постель и укутала в одеяло. Надю бил озноб, и она негромко говорила:

— Мам, мам, мам, мам…

В печи только что ярко разгорелись березовые дрова, чугуны с водой и картошкой, щами, пойлом для поросят стояли среди них пока еще спокойные, холодные. Петухи перекликались за окном на разные голоса. Боль в Надиной душе то утихала от всех этих обычных звуков и картин, то как раз из-за обычности этих картин и звуков доходила до такой остроты, что ее всю разрывало от рыданий. Павла ничего не говорила ей в такие минуты, только стояла возле нее как виноватая.

Позже вернулся Митя с отцом, Иваном Ивановичем Харитоновым. Они принесли сверток с вещами — то, что Мите удалось заполучить при помощи Русанова для Нади. Тот против ожидания охотно согласился посмотреть сквозь пальцы на исчезновение Нади и на то, что для нее унесли что-то из вещей. Может быть, тут сыграла роль бумага, которую Митя предъявил Русанову. В этой бумаге сообщалось, что Митя едет в Москву за получением ордена Красного Знамени, как отличившийся в боях с белокитайцами во время конфликта на КВЖД.

Харитоновы предложили Наде пожить у них, и Надя вначале согласилась. Однако, выйдя под вечер на улицу, и увидев родное село, и услышав неподалеку гармонь и девичьи припевки, ощутила такую ненависть к этому месту, раньше столь любимому, что этой же ночью, не слушая уговоров, ушла на станцию.

III

Федя слушал рассказ Нади и ловил себя на мыслях, которые ужасали его самого. А именно — он ловил себя на том, что, представляя себе все события, происшедшие в родной деревне, он испытывал к отцу, матери, Макару, Поле, Саньке чувства, похожие на ненависть. Такую же ненависть он испытывал и к Наде, которую очень любил, — к ее вспухшим глазам, всхлипываниям, к наверченным на ней вещам: эта привязанность к вещам, о которых не было забыто даже в момент величайшей беды, раздражала его ненависть, служила ей оправданием. Он думал о том, как было бы хорошо, если бы всех его родных никогда не было на свете или если бы вдруг выяснилось, что он не родной, а приемный сын.

К судьбе отца, матери, брата и Нади он испытывал — и сознавал это сам, — полное и ужасающее безразличие. В сущности, он думал только о себе. Он, оказывается, не считал их жизнь ценной, а считал ценной только свою собственную жизнь и не понимал того, что если сам он так легко отказывается от своих родных, то как может он надеяться, что кто-то в университете или в райкоме заступится за него, когда сам он не хочет и не может заступиться за других, притом наиболее близких ему людей, гораздо более близких, чем он — ректору, декану и секретарям райкома.

В то время, как Надя, заливаясь слезами, то умолкала, то быстро и подробно рассказывала, Федя неотступно думал о том, что будет с ним, что решат те или иные инстанции, что скажет такой-то и такая-то. Впрочем, было ясно, что его исключат из комсомола и из университета. Он был отныне классовым врагом. Слабо усмехнувшись этому своему новому званию, он тут же подумал, что эта усмешка не более как слабая попытка сохранить собственное достоинство, а на самом деле он сейчас сползет со скамейки на мерзлую землю, уткнется головой в снег и замерзнет. Он почти готов был это сделать, и только стыд перед сестрой помешал ему.

Надя, в отличие от брата, ни минуты не думала о себе, о своей участи. Она все время видела перед собой, как наяву, сани, на которых увезли отца, мать и Макара. Перед ее глазами стояло лицо матери — осунувшееся жалкое лицо и губы, шепчущие молитву, а в ушах стоял гул разговора, ржанье лошадей, голоса Мити, Павлы и того, в кожаной куртке, — Русанова. Однако теперь она не чувствовала себя такой несчастной и покинутой — ее поддерживало присутствие Феди, которого она считала мужественным человеком, способным выручить семью из беды. Она преклонялась перед братом, восхищалась его умом и образованностью и ожидала, что он сейчас, сию же минуту что-то скажет спасительное и предпримет нужные шаги. Его сосредоточенную молчаливость она приняла за обдумывание их положения и поиски выхода из него. Глядя снизу вверх на его красивое серьезное лицо, она думала с гордостью: "Стоит ему только пойти к Калинину…"

Вся надежда у нее была на Калинина. Сталин ей не нравился. Ей казалось, что Калинин, сам русский мужик, может и должен их спасти и что Калинин не знает, что кругом творится, между прочим, потому, что Сталин, человек нерусский и недобрый, от него все скрывает.

— Ты должен сходить, все сказать, — зашептала она. — Что мы середняки, сказать. Что мы не твердозаданцы. Батраков у нас

не было. И лошадь была одна. Пегаш ведь не лошадь… ему два года всего. У Мальковых две лошади, а их не тронули… Ты расскажешь складно, не то что кто из деревенских… Вся деревня подтвердит. Все же знают.

— Знают, — сказал Федя, — а на собрании решили…

— Их заставили, — снова зашептала Надя. — Напугали их! Завидки взяли на наше хозяйство.

— Эх, Надя, Надя, — проговорил Федя и не сдержался, жалобно всхлипнул.

Она посмотрела на него с ужасом, затем, все поняв, торопливо вытерла глаза тыльной стороной обеих рук и поднялась со скамейки.

— Пойду я, — сказала она сухо.

Он овладел собой и тихо спросил, вставая:

— Куда?

— Пойду к дяде Егору Кузьмичу.

Федя нахмурился. Туголуков Егор Кузьмич был сводным братом Екатерины Тимофеевны. Не так давно он жил в деревне богатым лавочником, несколько лет назад все распродал и уехал в Москву, где-то здесь служил. Федя, ненавидевший всю материнскую торгашескую родню, не поддерживал с Туголуковым никаких отношений.

— Что ты, к Егору Кузьмичу… — пробормотал Федя.

— А куда мне деваться? — спросила Надя вызывающе. — В общежитие ты меня не пустишь, кулацкую дочь? Али пустишь? Защитишь?

— Где он живет? — спросил Федя.

— В Марьиной роще.

Они вышли из сада по своим, неярко освещенным фонарями, глубоким следам в снегу. На Большой Дмитровке они стали ждать трамвая. В это время из Экспериментального театра (теперь его называли "Второй ГОТОБ") повалил народ: окончился спектакль. Рядом с театром и наискосок, возле Дома Союзов, стояли рядами санки. Извозчики с широкими ватными задами зазывали театральных посетителей.

В этом театре Федя на днях смотрел оперу «Лакмэ» — вернее два последних акта этой оперы. Вообще студенты общежития в Охотном ряду были театралами своеобразными: они никогда не смотрели первых актов. Дело в том, что денег на билеты у них не было, и они бежали к началу второго акта без пальто и шапки к театрам, расположенным поблизости — Большому, Малому, Второму Художественному и Второму ГОТОБ, а иногда даже добегали до Художественного — и входили в театр ко второму акту, так как их без верхней одежды принимали за вышедших во

время антракта покурить зрителей. Так Федя и многие другие студенты и студентки ухитрялись пересмотреть в нескольких театрах весь репертуар без первых действий. Иногда по вечерам они собирались и придумывали первые действия, если пьесы были им незнакомы раньше.

Эта радостная яркая жизнь — была ли она, или ее не было? Эти мощные звуки большого оркестра, игравшего мелодии, которые он, Федя, только недавно научился понимать благодаря этой хитроумной выдумке беганья к театральным подъездам без пальто, — слышал ли он их когда-нибудь? Трудно было в это поверить. Трудно было поверить даже в то, что он ходил по тому самому снегу, который сыпал во время собрания и после него, во время прогулки с Моховой до Остоженки.

Они сели в трамвай. Покинув центральные улицы, трамвай опустел. Окна его были залеплены снегом. Он мчался быстро, останавливался только на мгновенье и тут же, не ожидая звонка сонных кондукторов, мчался дальше, все дальше от ярко освещенного центра в тьму предместья. Казалось, он мчится по вымершему городу, где нет ни души, где все звуки задушены снегом.

Наконец они вышли из трамвая. Трамвай умчался и оставил их на очень темной улице, еле освещенной редкими фонарями, под светом которых снежинки суетились и мельтешили особенно тесно и таинственно. Остановившись возле ворот, примыкавших к кирпичному трехэтажному дому с темными окнами, Надя вошла во двор, и Федя за ней. В коридоре дома и на лестнице тьма стояла кромешная.

Тем неожиданнее в глаза им ударил свет и в уши — шум, когда после Надиного стука в дверь третьего этажа им открыли.

Большая прихожая — она же кухня: здесь на жаркой, местами поверху докрасна раскаленной плите пошумливали, посвистывали, испускали пар деревенские черные чугуны, городские эмалированные кастрюли и разновеликие сковородки. А рядом с плитой стоял самовар с тоже докрасна раскаленной трубой, выпускающей дым в печную отдушину. В прихожей было очень тепло, и лежавшим на длинном столе полушубкам и пальто разного меха и меховым шапкам было, казалось, невмоготу, как северным пушным зверькам под южным солнцем.

Молодой человек, открывший дверь, спросил: "Вам кого?" и, услышав ответ, крикнул оглушительным голосом:

— Папа! Тут к вам пришли!..

Тогда одна из двух дверей прихожей отворилась, и оттуда показался небольшой старичок с аккуратно подстриженной серенькой бородкой, в жилетке с золотой цепочкой и в очках в железной оправе. Он посмотрел на вошедших внимательно и удивленно, потом, узнав Надю, радостно засуетился.

— Наденка! Вот так уважила старика! В самый раз приехала, к праздничку. Милости прошу. Чай, с поезда прямо?

Он перевел глаза на Федю, которого не узнал.

— Это Федя, дядя Егор, — сказала Надя.

— Федя! Федор Никифорович! Не чаял, не гадал! — Его глазки, широко расставленные, глубоко забившиеся под косматые брови и очень умные, засверкали. — Раздевайтесь, дорогие гости. Устали небось? Раздевайтесь, детки… Марфа Игнатьевна, погляди, кто к нам пожаловал!.. — В это мгновенье он пристально посмотрел на обоих и сразу умолк. Затем спросил приглушенным голосом: — Стряслось что? — Но тут же снова захлопотал.

Раздевайтесь, Наденка, Федор Никифорович… Вот сюда положите… Ладно, ладно, потом расскажете все по порядку, тихо, спокойно, с толком… — Он помог Наде снять полушубок, платки и, снимая с нее платок за платком, продолжал говорить как ни в чем не бывало: — Вот сюда клади, Наденка… Ух, большая ты выросла, племянница… Чего же вы, Федор Никифорович, не раздеваетесь? Смелее, смелее… Вы у своих, все равно что дома… Правда, вы не жаловали дядюшку… не изволили навещать… Ничего, ничего… Дядюшка не в обиде… знает, что молодым до стариков дела нет, неинтересно им со стариками.

Тут в прихожую вошла Марфа Игнатьевна, рыхлая, с красным от плиты и беготни лицом, одетая, несмотря на жару, в тяжелое темное платье с черными кружевами, в длинной плисовой накидке. Наскоро изобразив радость по случаю приезда Ошкуркиных, она кинулась к плите — что-то снимать, соскабливать, переворачивать, затем раскладывать на блюда и в супницы. Из оставшейся открытой двери высовывались мужские и женские лица. Из-за двери слышался шепот, приглушенные смешки и толкотня: видимо, всем хотелось посмотреть на вновь прибывших. Однако, когда Федя и Надя разделись и старик повел их в комнату, дверной проем мигом опустел, и, войдя, Федя и Надя застали все общество чинно сидящим за большим столом, уставленным горками блинов, соусниками, сливочниками и молочниками со сметаной и растопленным маслом, рыбными блюдами, разносолами и графинчиками с водкой.

Вокруг стола сидело человек двадцать, за одной половиной стола сплошь молодые, за второй — сплошь пожилые люди. Однако здесь не было ничего похожего на рознь между молодыми и стариками, — может быть, стол с блинами и водкой оказался той платформой, которая их дружно объединила. Впрочем, здесь не было и особого уважения молодых к старым, и в этом одном, может быть, сказывались новые веяния и городской обиход. Молодежь вела себя независимо, брала со стола то, что ей требовалось, без оглядки. Пожилые люди воспринимали это как должное. Феде и Наде устроили два места рядом на половине молодых, но когда задержавшийся было в прихожей Егор Кузьмич вошел в комнату, он тут же устроил им два места возле себя, возможно в предвидении серьезного разговора или для того, чтобы отличить Федю, с которым он обходился с подчеркнутым уважением.

Усадив гостей, Егор Кузьмич начал представлять пришедшим пирующих, при этом улыбаясь и тыча в каждого представляемого пальцем, для чего пошел вокруг стола:

— Вот это мой Толя, старшенький, а это Егорушка,

средненький, а это Левушка, младшенький… А это Аглаюшка, а это Ариаднушка, а это Ванечка и Манечка, племяннички. А это Сонечка, сиротка, дочь Акулины Лазаревны, царство ей небесное… Это, прошу любить и жаловать, братец мой, ваш дядя Полиевкт Кузьмич, и супруга его, Капитолина Ивановна… Иванихина, Михаила Степановича, старшая дочь… Это мой добрый друг, прошу знакомиться, гражданин Винницкий Исаак Моисеевич и супруга его Цецилия Ефимовна. Рядом с Винницким сидел бритоголовый бледный человек, но его Егор Кузьмич представлять не стал, только почему-то погладил его по плечу быстро и ласково и крикнул Марфе Игнатьевне: — Икорочки вновь прибывшим не забудь, Марфа Игнатьевна… Красненькая?.. И красненькая пойдет… Бывало в старину на масленой… что было смеху, что песен, что угощения… Нынче и яств таких нету, вывелись. — Обойдя стол кругом, он подошел к Ошкуркиным и продолжал говорить: — Народу много, все равные значит, есть хотят равно… В старину не то было. Тут, конечно, нашу власть винить нельзя — она власть справедливая, хочет всем добра, всех накормить, одеть, обуть поровну. А не знает она, власть, что всех накормить, одеть и обуть нет никакой возможности. Стерлядку кольчиком не ели? Не ели. Не может ее, стерлядки, на всех хватить. Она рыба царская. Я, бывало, с моим отцом покойником, царство ему небесное, ездил, возили рыбку к «Яру», да в "Славянский базар". Раза два с нами ездил и ваш батюшка, Никифор Фомич, а еще раньше того — дед ваш — Фома Демьяныч, царство ему небесное, пусть земля ему будет пухом… Все мы были молодые, озорные, охальные… Ездили мы в санях, а в них — садки с живой рыбой. В Вязниках, во Владимире да в Покрове воду меняли, чтобы рыбка не уснула, не дай бог: уснет — продадим в полцены… Люди мы были зажиточные, а разве стерлядь употребляли? Или икорку? Ни боже мой! Икорка — снедь господская, на пролетариев всех стран икорки не напасешься. Я вот до восемнадцати лет в лапоточках ходил. Уже женихом был и сапоги имелись, а лапоточки с онучами не бросал… А теперь все норовят — в сапогах. Галошки всем нужны. Э, нет, тут и кож не хватит, не наготовишься на всех.

Он говорил, то останавливаясь возле Феди, то опять шнырял между стульев, ухаживая за гостями и собственными детьми, чуть юродствуя, то и дело спрашивая: "А тебе, Левушка, чего? Тебе, Аглаюшка, рыбки не положить ли? А тебе, сиротка?" Но обращался он к Феде, и все видели, что он обращается к Феде и говорит только для него.

Это особое внимание Егора Кузьмича к Феде не осталось незамеченным. Молодежь то и дело стреляла любопытными, где-

то в глубине зрачков смеющимися глазами в Федю и его сестру, которые среди благодушия и негромкого веселья сидели очень серьезные, отчужденные и тем самым какие-то значительные. Федя смотрел поверх голов в глубину комнаты, в дальний угол, почти сверху донизу уставленный иконами. Надя же глядела на одного только Егора Кузьмича грустным, вопрошающим взглядом и все время следила за ним глазами, ожидая, когда он подойдет к ней. Наконец старик незаметно мигнул ей, она поднялась и ушла следом за ним в другую комнату.

— Чего же вы ничего не едите? — услышал Федя рядом с собой низкий женский голос и только теперь заметил, что Нади возле него нет, а на ее место пересела одна из дочерей Егора Кузьмича — не то Аглая, не то Ариадна. Он посмотрел на нее и встретился с ее узкими монгольскими глазами, над которыми узкие же и точеные брови выглядели еще чернее от гладкости и белизны низкого лба. Она держала под столом руку с папиросой и, нагибая лицо к столу, то и дело затягивалась, и снова прятала руку с папиросой под стол.

— Вот вы какой!.. — продолжала она с непонятным ему удивлением и восхищением и тут же объяснила. — Папа любит про вас рассказывать, какой вы умный да какой образованный… Ему один ваш профессор наговорил про вас всяких чудес. Мне все хотелось на вас посмотреть. Вот и дождалась.

— Ну и как? — спросил Федя рассеянно, глядя при этом на дверь, за которой, по-видимому, находились Надя и Егор Кузьмич.

Она засмеялась, что-то ответила, но он не слышал, так как дверь, за которой находились Егор Кузьмич и Надя, приоткрылась. И Федя подумал, что сейчас они появятся и потом начнут с ним что-то говорить о случившемся, и он должен будет отвечать и притворяться потрясенным судьбой родителей и соображающим, что бы такое сделать для облегчения их участи, хотя на самом деле знал, что все пропало. Но в дверь никто не вошел.

— …Вам не нравится у нас? — продолжала девушка, затягиваясь папироской.

— Нет, отчего же, — ответил Федя.

Она положила ему в тарелку блинов, налила в рюмку водки. Потом она отошла к другим, и он проводил ее взглядом. Она была высока, с тонкой талией и слабой грудью и в то же время с широкими бедрами и полными могучими ногами.

В этом несоответствии было что-то похотливое, как и в ее узких монгольских очень черных глазах.

Щуплый блондинчик — племянник Егора Кузьмича,

Ванечка, — сел к пианино и стал играть один из венгерских танцев Брамса. Федя почувствовал, что у него к горлу подступают слезы, и сделал над собой огромное усилие, чтобы не заплакать. Отвернувшись, он выпил рюмку, затем вторую. Тут в комнату вошел Егор Кузьмич, но без Нади. Федя в это мгновение понял, что все это время ждал, когда появится Егор Кузьмич, и подумал, как это было глупо ждать и на что-то надеяться.

Пианист перешел на русскую пляску, и молодежь стала выталкивать друг друга в круг. Егор Кузьмич подошел к Феде и сел рядом так близко, что боком прикасался к нему, и начал хлопать в ладоши в такт начавшейся пляске. При этом он приговаривал, улыбаясь:

— Веселитесь, детки, веселитесь, пока нет оснований печаловаться… Затем он перестал хлопать, налил себе водки в первую попавшуюся, немытую рюмку, выпил, закусил огурцом и повернулся к Феде всем своим лицом, на котором не осталось и следа от напускного веселья и добродушия — оно было грустным и злым. Он снял с носа очки и приблизил свои широко расставленные маленькие злые глаза к самому лицу Феди. — Говорить мы сейчас ни о чем не будем, Федор Никифорович, поговорим после. Одно вам скажу: наступают времена Апокалипсиса, Федор Никифорович. Зверь из бездны появился, я его вижу, как Иоанн Златоуст на Патмосе, не знаю, известно ли вам такое видение, вы-то ведь в советских школах учились… Вы, Федор Никифорович, и ваша сестрица Надежда — вы как былинки в поле. — Он начал трогать Федю за руки и за плечи, и от этих прикосновений Феде стало неприятно и горько, и он отодвинулся. А Егор Кузьмич налил и выпил еще рюмку и сказал так тихо, что только один Федя расслышал: — Упокой, господь, души рабов твоих Никифора и Екатерины. — Он перекрестился широким крестом и заплакал.

Кое-кто из гостей — из тех, кто стоял вокруг пляшущих лицом к столу, — заметил странный жест хозяина и его перекосившееся лицо, но никто не подал виду; все не переставали хлопать в ладоши, хотя лица их стали при этом очень серьезными. Марфа же Игнатьевна, стоявшая у буфета, распаренная, с мучнистым лицом, смотрела издали на мужа напряженно, но безмолвно.

— Чего присмирели, молодые люди? — послышался веселый елейный голосок, и из-за стола поднялся Полиевкт Кузьмич, брат хозяина, очень на него похожий, но побольше, потолще, пошире в плечах и не в косоворотке, как Егор Кузьмич, а с галстуком и в приличной черной тройке, тоже с бородкой, но без седины в ней, более аккуратной, изящнее подстриженной. Несмотря на свою

полноту, он с удивительной легкостью перелетел в центр круга и сказал под смех и рукоплескания: — Сейчас перед вами выступит прима-балерина Екатерина Гельцер.

И он стал изображать движения балерины, высоко задирая ноги, прохаживаясь на носках, трепеща руками и разводя их в стороны, нагибаясь, складывая руки, как бы умоляя о сострадании. Когда все это проделывал массивный мужчина с бородой и лысиной, все было до того смешно, что даже Марфа Игнатьевна, стоявшая у буфета, хотя она видела этот «номер» не раз, начала усмехаться и, чтобы не смеяться, укоризненно отмахивалась толстой ручкой, отворачивалась и шептала:

— Ну и охальник, прости господи.

Пока все это длилось, Егор Кузьмич оправился. Он встряхнулся, встал, засмеялся дробно-дробно, глядя на своего брата, и, когда Полиевкт Кузьмич выделал последнее па — завертелся волчком на одной ноге, — Егор Кузьмич крикнул высоким не своим голосом:

— Ши-ро-о-кая масленица!.. Гуляй, душа!..

IV

— Вы бы спели, Егор Кузьмич, — попросил Ванечка, повернувшись на круглом рояльном стуле вместе со стулом лицом к хозяину. Его маленькое старообразное личико было серьезно и только в небольших, но очень умных глазках за [огромными] очками шевелился смешок.

— А что, — запетушился Егор Кузьмич и обернулся к Феде: — Я, Федор Никифорович, с детских лет пел в церковном хоре, у Спас-Благовещенья, а на большие праздники — даже и во Мстере, в Богоявленской… А бывало, как урожай снимем, обмолотим и в амбары золотое зернышко ссыпем, из Преображенского монастыря в Вязниках возили по деревням животворящий крест. Вы этого уже не помните, Федор Никифорович. Али помните?.. Толпами в деревне собирались, тот крест целовали, молились, под благословение подходили. Нарядно все было, пестро. — Он запел громким, неожиданно высоким тенором: — Кресту твоему поклоняемся, владыко, и святое воскресение поем и славим!..

Эти же слова на один и тот же мотив, но с разными вариациями, то тонким, то низким голосом Егор Кузьмич пропел несколько раз и с каждым разом сам все больше умилялся и оглядывал всех сидящих победоносно. А Ванечка стал аккомпанировать ему короткими, но точными аккордами. Сыновья же Егора Кузьмича — тот, что первый открыл Ошкуркиным двери, и два других — стали ему подпевать второй и при этом глядели на него со странной смесью уважения и ласковой насмешечки. Марфа же Игнатьевна, махая на них

руками, приблизилась к столу и повторяла:

— Потише, Егор Кузьмич… Сосед партейный…

Однако он не обращал внимания на ее просьбы, его голос дрожал от умиления. И, право же, в этот миг, по-видимому, он готов был на любые гонения и пытки, но тем не менее, не желая выглядеть смешным в глазах Феди, иногда оборачивался к нему, подмигивал: "мол, знай наших", затем, внезапно прервав свое пение, сел, вытер лоб красным платком и сказал дрожащим голосом, но деланно-иронически:

— Вот бывало как, Федор Никифорович, конечно, смешно, а? Али не смешно?

Феде действительно вдруг захотелось смеяться, и он с ужасом думал о том, что сейчас засмеется, и с трудом подавил в себе смех, вероятно, истерический. Стариковский голос, дрожащий от умиления, и испуганные причитания Марфы Игнатьевны: "Сосед партейный", и открытые рты сыновей Егора Кузьмича, и сконфуженные лица еврея и еврейки во время пения, и непонятный перепуг бритого худого старика, съежившегося с широко открытыми глазами на своем стуле, — все это показалось Феде необыкновенно смешно и в то же время чуждо и ненавистно. Никакого умиления он не испытывал. Пение, иконы, занимавшие весь угол сверху донизу — Богородица Одигитрия с темным ликом и огромными глазами, Нерукотворный Спас, Николай Мирликийский, святители Гурий, Самон и Аввива (от лихорадки), Георгий-победоносец (от падежа скота), электрическая лампада, таинственно освещавшая их, — все это наполняло его враждой и презрением. "Куда я попал? — думал Федя с ужасом. — Со света опять во тьму? Обратно в идиотизм деревенской жизни?"

Он чувствовал себя брошенным из большого вольного мира, где ему было так хорошо, в этот отживающий мирок, который он научился презирать. Все в нем бунтовало против этой противоестественной связи, и все-таки он сознавал, что эта комната с буфетом, божницей, модернизированной электрической лампадой теперь становится единственным местом на свете, где он себя может чувствовать полноправным человеком. Потом он вспомнил о том, что раз сегодня широкая масленица, а завтра начнется великий пост, то, значит, сегодня воскресенье — в связи с переходом на непрерывную рабочую неделю, месяц в том мире, где он жил раньше, делился не на недели, а на пятидневки и декады, дни недели теперь были в загоне и никем не вспоминались: следовательно, очередное заседание комсомольской ячейки будет в четверг. И на этом заседании он встанет и расскажет о том, что случилось в деревне, названия которой члены бюро не знают, с людьми, с которыми

члены бюро не знакомы, — и это повлечет за собой тягостное молчание — прекрасное лицо Аркадия Полетаева задрожит и покроется пятнами, и партприкрепленный Павлюков перекосится весь и начнет хрипеть и кашлять, и Малеев, секретарь ячейки, побежит в райком, и будет назначено внеочередное заседание, на котором его исключат из комсомола и университета, как это было с Ланским, студентом пятого курса физмата.

Ланской скрыл, что он был сыном дворянина, штаб-офицера царской армии, и что мать его эмигрировала за границу из Одессы в 1919 году и жила в Париже. Последнее обстоятельство особенно потрясло комсомольцев. Для них не было более страшного и постыдного слова, чем эмигрант. Эмигрировать из Советской России казалось им не только верхом подлости и преступности, но и верхом глупости, ибо что, по их мнению, могло быть глупее, чем бежать из страны с самым справедливым строем на свете, страны, где сам народ управляет государством. В связи с делом Ланского Федя много думал об этом предмете и, узнав о том, что мать Ланского балерина, негодовал тем больше. На заседании бюро, и затем на комсомольском собрании упоминался в этой связи и Федор Иванович Шаляпин, у которого правительство недавно отняло звание народного артиста республики. Федя слышал его пение в граммофоне у Полетаевых, и, потрясенный этим пением, удивлялся, и не мог понять, как может человек, так поющий, бросить Советскую Россию. Почти со слезами в голосе говорил об этом Федя на комсомольском собрании, и его речь глубоко потрясла всех и решила вопрос об исключении Ланского.

На собрании Ланской был спокоен, но очень бледен. Он признал свою вину и сказал, что заслуживает самого строгого наказания. Только в самом конце [своей] речи он сказал, что предан комсомолу и партии до глубины души, и мельком сообщил, что является потомком декабриста. На Федю и на остальных комсомольцев это произвело впечатление. Узкий профиль Ланского в их глазах на мгновенье приобрел обаяние барельефа, изображающего погибших борцов с самодержавием. Однако Аркадий Полетаев, выступивший вслед за Ланским, с присущим ему блеском рассеял это впечатление. Он сказал, что принадлежность Ланского к декабристскому роду ровно ничего не значит, так как из этого же рода вышло немало верных слуг самодержавия. И вообще, марксизм учит нас, что нельзя рассматривать явления вне их развития. Русское офицерство первой четверти девятнадцатого века — точнее, второй половины первой четверти — действительно было в оппозиции к самодержавию; однако уже следующее поколение служило царю

верой и правдой, а в эпоху пролетарской революции офицерство, за редким исключением, единодушно выступило на защиту своих классовых и сословных привилегий. "Помещик князь Трубецкой, — сказал Аркадий, — владевший бесчисленными землями в Херсонской губернии, а теперь пишущий антисоветские брошюрки в эмиграции, тоже потомок декабристов".

С этим все согласились, а Федя, взяв второе слово, сурово, тем более сурово, что ранее «колебнулся» — сказал, что если Ланской гордится своим происхождением, то было бы значительно красивее, даже с точки зрения "дворянской чести", чтобы он козырял этим происхождением раньше, при вступлении в комсомол, а не писал бы в анкете, что отец его служащий, умерший в Сызрани в 1918 году, хотя на самом деле он был командиром артиллерийского полка и погиб на Юго-Западном фронте в июне семнадцатого года.

Феде вспомнилось мертвенно-бледное лицо Ланского и лица студентов, смеявшихся в особенно удачных местах речей Аркадия и Феди с беспечной жестокостью молодости. Теперь Федя Ошкуркин не мог не подумать о том, что факты не всегда так ясны, какими кажутся на первый взгляд. Может быть, не всегда верно думать только о принципе, надо думать о каждом данном человеке? Может быть, Ланской был действительно предан комсомолу до глубины души, так же, как и Федя Ошкуркин, несмотря на то, что Федя — сын кулака?

"Сын кулака"! Лоб Феди покрылся испариной. Он мог доказать членам бюро, что отец его не кулак, а середняк. Однако его раскулачили? Да, раскулачили. И все-таки вы не считаете, что он кулак? Не считаю. Значит, вы утверждаете, что органы советской власти и деревенская общественность поступили несправедливо, незаконно? Отсюда — один шаг до утверждения, что советская власть ошиблась не в этом единственном случае. Может быть, советская власть вообще ошибочно проводит политику ликвидации кулачества как класса на базе сплошной коллективизации? Может быть, вы согласны с бухаринской платформой о военно-феодальной эксплуатации крестьянства?

Опять будет собрание в актовом зале. Девушки будут смеяться. Или, пожалуй, что не будут — случай с Ошкуркиным будет посложней, чем с Ланским. Помимо всего, он был членом бюро ячейки университета. Они не будут смеяться, а будут глядеть на него с омерзением и страхом, иногда сострадая и борясь с состраданием.

Ланского исключили из комсомола, а спустя несколько дней был вывешен приказ ректора об исключении его из университета.

Его пытался защитить профессор Введенский, ссылаясь на его выдающиеся способности к наукам. Мировое имя и академическая шапочка на седых волосах ничего не смогли поделать против горячности комсомольцев и корректной твердости партийного руководства. Выдающиеся способности не казались никому веской причиной. Успехи в науках — думало подавляющее большинство студентов — результат усиленного труда и преданности делу. Кто был ничем, тот станет всем. Теперь Федя думал о том, найдется ли у него хоть один защитник, и ему хотелось, чтобы хоть один защитник у него нашелся. Но он с содроганием сердца предчувствовал, что после случая с Ланским никто не выступит [в] защиту Ошкуркина.

"Нет, лучше умереть, чем сказать. Лучше умереть, чем сказать. Да, лучше умереть, чем сказать". Он говорил эти слова мысленно и повторял их без конца, скользя невидящими глазами по лицам людей. Слова эти были общеупотребительными в таких случаях, терминологическими. Он не вкладывал в них конкретного содержания. Он еще не задумывался над тем, что умереть действительно выход из положения.

Федя настолько ушел в свои мысли, что не видел и не слышал людей, кружившихся вокруг него, что-то говоривших, кричавших и певших, девиц, приглашавших его на танцы, и молодых людей, пытавшихся заговорить с ним. Впрочем, от него почти сразу же отстали, так как его задумчивость была похожа на столбняк и взгляд его широко открытых больших беловатых глаз был настолько пугающе далек от всего окружающего, что люди даже не обижались по поводу его невнимательности, а просто пугались и отходили.

Федя очнулся от этого состояния оттого, что дверь широко распахнулась и на пороге показался большой человек с иссиня-черной бородой лопатой, похожий на какого-нибудь купца Калашникова, в толстенном извозчичьем армяке, с витым кнутом под мышкой, в черной твердой шляпе с завернутыми вверх полями на голове.

— Прибыл, ваше степенство, — сказал он густым басом, снимая шляпу и шутливо обращаясь к Егору Кузьмичу по старинке, как было принято до революции у извозчиков обращаться к купцам. — Как условились. Мы — вам. Вы — нам.

— Ты что, один, что ли, Фрол? — спросил Егор Кузьмич.

— Никак нет-с. Со мной Гришка и Яшка. Да они на углу остались — чтоб не было лишнего шуму. Санки поданы. Извольте.

Марфа Игнатьевна поднесла ему водки в старинном серебряном стаканчике. Егор Кузьмич сказал:

— Левушка, покличь сюда Гришку и Яшку. Пусть тоже

погреются.

Левушка шмыгнул в дверь и вскоре вернулся с двумя извозчиками, одетыми так же, как Фрол, но попроще, победнее. И бороды их были лопатой, но не такой большой и густой, и не такие черные, а посветлее и пожиже. Им тоже поднесли по стаканчику водки, но не по серебряному, а в обыкновенных рюмках.

Дочь Егора Кузьмича, та самая, с монгольскими глазами — то ли Аглая, то ли Ариадна, — подошла к Феде, взяла его за руку и подняла с места.

— Одеваться, одеваться! — воскликнула она. — Поехали, Федор Никифорович. Прокатимся! Нас Фрол далеко завезет, на край света. До Симонова монастыря. Правда, Фрол? Прокатишь? С ветерком?

Она уже не отпускала Федю. Они вместе, вслед за остальными, вышли в прихожую. Тут все быстро расхватали пальто, полушубки, шапки и полушалки.

— Тише, — напутствовала их Игнатьевна строгим шепотом. — Не глумите в коридоре. Сосед партейный.

Федя мельком увидел Надю, которую тоже одевали и тормошили, и она смеялась негромко и как бы против воли.

Все гурьбой высыпали на улицу. В сутолоке спутница потеряла его, он безвольно делал то, что все другие: уселся в санки с кем-то из молодых людей. К ним на руки сели три девицы. Федя не знал, кто именно. А напротив них тоже сели двое. Было темно. Рядом затеяли игру в снежки. Наконец все уселись, и трое санок помчалось по темной улице. И только когда они выехали на довольно хорошо освещенную площадь, и девушка, сидевшая у Феди на коленях, обернулась к нему, он увидел близко у своих глаз немигающие узкие глаза опять же Аглаи или Ариадны. Санки дернуло, и холодное лицо Аглаи прикоснулось к лицу Феди, и она не отняла лица. Снег падал на них, и снежинки таяли от их совместного дыхания. Федя откинул голову назад, хотя ему было приятно чувствовать возле себя ее лицо. Он отодвинулся именно потому, что ему это прикосновение было приятно. Он не мог позволить себе, чтобы ему было приятно. Он вспомнил старую не то немецкую, не то шотландскую балладу, в которой рассказывалось, как убитый возлюбленный приходит на свадьбу своей любимой и танцует с ней, и она спрашивает его, почему он так бледен и холоден, а он говорит ей, что он мертв.

И Федя думал о том, что вот у него на коленях сидит девушка, которая принимает его за живого, но на самом деле она сидит на коленях у мертвеца. И, ощущая это совершенно

определенно, он в то же время не мог не признаваться себе, хотя и с удивлением и с насмешкой над собой, что он испытывает удовольствие от быстрой езды и от присутствия девушки, так откровенно льнущей к нему, и оттого, что ее сердце стучит быстро и сильно.

Рядом гикали, хохотали, а они двое сидели молча. Санки мчались по безлюдным окраинам, сыпал медленный снег, из-под копыт лошади летели комья снега и искры. Темная грива лошади развевалась, и задние ее ноги пританцовывали, и в них, в этих ногах, было что-то похотливое. И лошадь то и дело поднимала хвост, и из-под него выпадали на мостовую темные яблоки и доносился сильный и терпкий запах навоза. Эти конские пританцовывающие ляжки, и темные яблоки, и запах навоза — все это было прошлое, и оно уносило Федю с ужасающей и приятной быстротой в темноту, прочь от его нынешней жизни. А извозчик Фрол то и дело оборачивался и скалил белые зубы, и в этом оскале было тоже нечто похотливое, и он насмешливо и ласково говорил:

— Целуйтесь. Чего не целуетесь? Папаше не расскажем.

И молодые люди смеялись и чмокали друг друга. А Аглая (или Ариадна), ожидая, но не чувствуя отклика, огорченно и просительно прижимала горячий рот к Фединой щеке.

V

Молодежь вернулась домой в третьем часу ночи. Надя, опьяненная быстрой ездой, одурманенная вином и ветром, несколько успокоилась. Теплая родственная встреча и веселая прогулка не то что заставили ее забыть о горестях последних дней, а просто показались ее юному сердцу достаточным поводом для уверенности в будущем. Раз тут все так мило и хорошо, то и в том деле, самом главном, тоже окажется вскоре все благополучно. Впрочем, она и во время катания, подняв пылающее лицо навстречу метели, давала себе клятву не успокаиваться, пока не соединится со своими родителями.

Очутившись опять в прихожей, которая казалась ей теперь родным домом, она обнаружила, что Феди нигде нет. Она точно помнила, что он отправился вместе со всеми, однако среди вернувшихся его не было. Она стала расспрашивать ехавших с ним в одних санках. Аглая, поправляя перед зеркалом сбившуюся под шляпкой прическу, небрежно сказала:

— Кто? Федор Никифорович? Ну да, когда лошади отдыхали возле Симонова монастыря, Федор Никифорович сказал, что ему пора… Дела какие-то… Тут трамвай как раз проезжал. На нем он, наверно, и уехал.

Людей осталось мало. Пожилые гости разошлись в то время,

как молодежь каталась. Сразу же исчезли и племянники и племянницы, и вокруг большого, заставленного грязной посудой, остывшими блинами, заваленного огрызками и окурками стола уселось всего человек семь. А между ними стояли пустые стулья, и это было немного грустно.

— А Симонова монастыря-то нету!.. — сказала Аглая, подняв на отца узкие недобрые глаза.

— Как так нету?

— Да так, нету. Попросила я Фрола повезти нас туда — а он обернулся и говорит: "Был да сплыл". И правда — монастырь, оказывается, вчера или позавчера весь взорвали. Одни камни — целые горы.

Марфа Игнатьевна закрестилась, запричитала. (…)

Надя, впрочем, почти не заметила развалин, мысли ее были заняты, и, как сказано, она даже несколько успокоилась. Вернувшись же вместе с другими в теплый и мирный дом Туголуковых, она и вовсе оживилась и преисполнилась больших надежд.

Не последнюю роль в этом ее успокоении сыграло отсутствие Феди. Да, к удивлению Нади, отсутствие брата принесло ей некое облегчение. Оно делало ее душевную драму менее острой и наполняло Надю надеждами, которые в его присутствии казались несбыточными. Дело в том, что Надя, продолжая, несмотря на все разочарования, высоко ценить своего брата, его талант и характер, перед лицом его растерянности и разбитости ощущала всю мощь противостоящих семье Ошкуркиных сил. Но теперь Феди не было, и Наде эти силы казались не такими большими и сложности жизни — не такими уж сложными. Притом на нее подействовало крепко стоящее на земле многолюдное семейство Туголуковых, их — по крайней мере на первый взгляд — дружное и спаянное житье. Многочисленные иконы, перед которыми Надя не молилась уже несколько лет, теперь наполнили ее благоговением и надеждой. Ее сердце сильно забилось и затрепетало, когда она сообразила, что ей стелют здесь, в столовой, и ночью, когда все улягутся, она сможет встать на колени перед киотом и помолиться, как в детстве. Со страстным ожиданием этого мгновенья она косилась на серьезные и мрачные лики.

Егор Кузьмич был трезв и угрюм. Праздничное оживление сползло с него, как чужая кожа. Пока Ариадна, младшая дочь, стелила Наде постель на старом протертом кожаном диване, он молчал. Когда же она простилась и ушла спать в другую комнату, он жестом руки остановил поднявшегося было с места, чтобы тоже уйти спать в прихожую, наголо обритого мужчину,

молчавшего весь вечер, и сказал, обращаясь к Наде:

— А теперь, Надя, погоди ложиться. Расскажи все как есть. Не бойся этого человека. Пусть послушает этот умный человек. Он совет тебе, может быть, подаст. Все расскажи как есть.

"Умный человек" беспомощно разводил руками и в сомнении качал головой, говоря тихим голосом:

— Совет? Какой тут дашь совет…

Однако Надя стала рассказывать. Во время ее рассказа "умный человек" слушал плохо, все время поводил головой, словно ему было тесно в совершенно свободном воротнике синей косоворотки, все время поглаживал свои щеки — даже не поглаживал, а скорее ощупывал, очень быстро, лихорадочно, словно рука его не узнавала их. Выслушав Надин рассказ, "умный человек" снова развел руками и сказал:

— Светопреставление. — И словно в оправдание себе, добавил, обратившись к Егору Кузьмичу: — Что мы можем. Ничего мы не можем. Если не вмешаются добрые люди оттудова… тогда — один господь бог…

Хлопнула форточка, и он вздрогнул. Это за окном свирепствовала вовсю метель, и ветер был так силен, что снежные хлопья летели почти горизонтально, словно падали не с неба, а откуда-то из-за города, из подмосковных лесов или, может быть, еще дальше — из дальних держав, на вмешательство которых намекал бритый.

Егор Кузьмич горько усмехнулся, заметив испуг бритого, подошел к окну и закрыл форточку, затем вернулся обратно к столу.

— Метель, батюшка, метель, — сказал он успокаивающе.

Он встретил укоризненный взгляд бритого, осекся и покосился на Надю. Надя, однако, не обратила внимания на обращение «батюшка», так как не могла заподозрить в совершенно бритом — без гривы и бороды — человеке священника. Впрочем, немного позже священник сам себя выдал. Когда Надя, рассказывая подробности, заплакала, он тоже не сдержался, заплакал и забормотал о том, что он даже не знает, где матушка и две дочки-двойняшки четырнадцатилетние. Тут уж Егор Кузьмич укоризненно посмотрел на бритого, но, уразумев по испуганному и удивленному взгляду Нади, что она поняла, кто такой этот бритый, Егор Кузьмич махнул рукой и уже стал обращаться к тому, открыто называя его "отцом Иакинфом" или «батюшкой». Когда отец Иакинф вышел на минутку, Надя спросила шепотом:

— Расстрига?

— Нет, — кратко ответил Егор Кузьмич и приложил палец к

губам.

Теперь Наде стал ясен и странный жест бритого, когда он ощупывал свои щеки: рука искала привычную бороду.

Вернувшись, отец Иакинф рассказал Наде про свои злоключения, и получилось так, что не она у него просит совета, что делать, а он у нее. Почему-то она вызвала в нем доверие и не только доверие: ее пылающая ненависть к обидчикам и любовь к родителям была настолько сильна, что чувствовалось, что она пойдет на все в этой любви и ненависти. В ее красивой детской головке ощущалась недетская воля и упорство. И именно вот эти качества Нади завоевали доверие беглого священника. Егор Кузьмич — тот тоже ощутил в Наде внутреннюю силу, которую в ней не предполагал. Он вначале усмехнулся, когда Надя вызвалась помочь отцу Иакинфу в розысках попадьи и поповен, для чего согласилась — разумеется с условием, что вначале сделает здесь, в Москве, все, что может, для своей семьи, поехать в Кимры и постараться найти следы сбежавших в роковую для священника ночь неизвестно куда.

Об этой ночи отец Иакинф Коллеров рассказал Наде так же подробно, как она о своих злоключениях.

Когда горсовет принял решение разобрать церковь Преображения, Коллеров через верующих объявил по всей округе "последнюю службу". Он разослал гонцов по деревням и призвал прихожан прийти к заутрене помолиться в последний раз и велел звонить во все колокола. В собравшейся толпе народа вскоре возникло настроение глухое и тревожное. Старики нищие, кормившиеся на церковной паперти, первые подняли вой о гонениях на христианскую церковь. Они разрывали на груди лохмотья и обнажали свои уродства. Зажиточные крестьяне окрестных деревень, частью уже вступившие в колхозы, частью ожидавшие раскулачивания и высылки, а также мелкий городской люд, взбудораженные колокольным звоном и слухами о войне, которую якобы объявили Советской России великие державы для защиты христианской церкви, все больше и больше преисполнялись ненавистью, которой удобно было прятаться за любовью к Христу-распятому и к этой красивой белой церкви, много лет служившей украшением приземистого городка, церкви, где всех их крестили и куда все они в детстве ходили молиться, испрашивая у господа и святых его благословения своим немудрящим делам.

Отец Иакинф Коллеров сам не ожидал такого наплыва народу, так как совершенно не понимал, что его призыв сомкнется с разнообразными интересами взбудораженных горожан и крестьян. Он действительно думал только о храме

божьем и о прощании с ним. Однако настроение толпы подействовало и на него. Его проповедь, составленная наперед, в жалостных, но вполне мирных тонах, была им отброшена с первых же слоз. Почти навзрыд он стал говорить о гонениях на первых христиан, о временах Диоклетиана и Юлиана Отступника. Эта проповедь, которую он произнес в почти невменяемом состоянии, по вдохновению, послужила сигналом для восстания. С криками: "Бей коммунистов" толпа бросилась на улицы. В эти часы отец Иакинф возомнил себя великим вождем христианства. В его доме, в церковном дворе не спали и постились два дня и две ночи. Добровольные агенты-эмиссары приходили сюда с донесениями о городских новостях и уходили с неопределенными, но возбуждающими, пересыпанными церковно-славянской заумью инструкциями. Из заволжской слободы пришли сапожники и кожевники-кустари, пьяные от даровой водки, которую кто-то им раздал. Избивали девушек в красных косынках, поранили лектора из союза воинствующих безбожников, выбежавшего к пьяным и начавшего доказывать, что бог — это только страх человека перед природой и что легенда о непорочном зачатии имеет своими истоками религии еще более древние, чем христианство.

Все эти события, включая даровую раздачу водки и разбрасывание напечатанных типографским способом глупейших листовок — в них сообщалось, что на Москву идет адмирал Колчак (через семь лет после того, как он был расстрелян), приписывались отцу Иакинфу, хотя он обо всем этом слыхом не слыхал. Но он не отказывался от своей причастности. Напротив того, гордился этим. К нему ночью втайне приезжал представитель патриарха Всея Руси из Петровского подворья в Москве. Привез ему брошюрки на русском языке, выпущенные в Париже и Варшаве. С замиранием сердца читал он в них призывы к свержению советской власти, выступления эмигрировавших за границу митрополитов и епископов православной церкви. Эти статьи и речи совершенно вскружили ему голову, он в своем завихрении чувств думал, что советской власти уже нет, что раз маленькие бедные Кимры встали за православную веру, то уж Москва, Киев и Тверь тем более взбунтовались и отстояли свои храмы. Он очень удивился однажды утром, когда, вышедши на улицу и пройдясь по городу, нашел на домах, где находились горсовет и райком партии, те же красные дощечки с надписями и над торговыми рядами портреты Маркса и Клары Цеткин.

Этой же ночью его предупредили, что надо бежать: в город прибыл на автомобилях полк войск ГПУ. Отец Коллеров скрывался сначала у знакомых на станции Савелово, а затем, по

совету умных людей, отправился в Москву, оставив попадью и детей, с тем чтобы, устроившись, вызвать их. Он еще тогда не понимал, что является государственным преступником и что ГПУ будет его упорно преследовать, так как по прошествии угара, убедившись, что все государство стоит на месте и о кимрском бунте вообще никто за пределами Кимр и не знает, он забыл о своем воспарении, и ему казалось, что речь шла не больше как о прощании с храмом, предназначенным к разрушению или превращению в какой-нибудь клуб или кладовую.

Какие-то люди скрыли его сначала у одного земляка, затем у Егора Кузьмича Туголукова. Кто-то заботился о том, чтобы достать ему паспорт, и он в ожидании целыми днями сидел в комнате возле икон, ничего не делая, не читая и даже ни о чем почти не думая, только изредка удивляясь нашедшему на него затмению, но тем не менее вспоминая об этом времени с трепетом и восторгом.

Егор Кузьмич погасил лампу, и теперь в комнате светилась только электрическая лампадка возле иконы Богоматери. В окна заглянул серый, еще бессильный рассвет. Отец Иакинф очнулся, вдруг заторопился и сказал:

— Сейчас бы к заутрене… К первой великопостной заутрене, Егор Кузьмич. Помолимся, Надежда Никифоровна.

Все трое в полумраке подошли ближе к иконам, и Коллеров почти шепотом запел "Да исправится молитва моя яко кадило пред тобою".

Егор Кузьмич так же тихо подпевал ему, а Надя только встала на колени и, забыв обо всем, тихо шептала просьбы к богу, чтобы вернул он ей родителей Никифора Фомича и Екатерину Тимофеевну, и брата Макара Никифоровича, и невестку Полину Прокофьевну, и детей ихних Александра Макаровича и Марию Макаровну. Она называла всех по имени и отчеству, чтобы бог не ошибся и точно знал, кого щадить и охранять от бед и смертей, кого возвратить в родные Сенькины Деревеньки.

— "Верни их всех в Сенькины Деревеньки, в наш дом, и чтобы все было хорошо, а все, что было плохо, чтобы его как бы не было, а было как до тринадцатого числа, четверга. Аминь". — Так молилась шепотом Надя.

Помолившись, все трое снова сели за стол и вернулись к Надиным делам. Надя говорила, что обязательно сегодня пойдет к Калинину. Егор Кузьмич скептически морщился, но отец Коллеров — тот поддержал Надю. Он тоже, как оказалось, питал слабость к Калинину, и сам собирался при случае "пасть к ногам" всесоюзного старосты и при этом говорил, что у Калинина доброе сердце, что сам он тверской, как и отец Иакинф и матушка

Василиса Петровна. Василиса Петровна — та происходила из Корчевского уезда, из села, расположенного поблизости от Верхней Троицы — деревни, где родился Калинин. Егор Кузьмич с еле скрываемым раздражением прервал умиленные воспоминания отца Иакинфа, направив разговор в практическое русло. Было решено, что Надя к Калинину пойдет, но главное теперь — узнать, где находятся арестованные Ошкуркины, для чего придется обратиться в прокуратуру СССР или в ГПУ.

— В ГПУ? — с ужасом спросил отец Иакинф. — Туда, в логово зверя?! Ее же там тоже… могут и не выпустить… — Он смотрел страдальческими глазами на девушку.

— Пойду я, — решительно сказала Надя, тряхнув головой. — А если не выпустят — ладно. Без мамы все равно мне не жизнь.

У Нади была еще одна надежда, о которой ока пока никому не сказала. Митя Харитонов, прощаясь с ней, сказал, что в Москве он остановится в гостинице Центрального дома Красной Армии, и они условились встретиться там. Эта встреча должна была состояться завтра вечером. Командир Красной Армии, да еще орденоносец, представлялся Наде большой силой.

Тут стали просыпаться и выходить в столовую дети Егора Кузьмича. Несмотря на великий пост, они отлично поели и вскоре разбежались каждый по своим делам. Левушка работал фотографом, Николай посещал курсы чертежников на Сретенке, Аглая тоже работала в фотографии ретушершей. Толя отправился на биржу труда отмечаться как безработный. Соня — «сиротка», как ее неизменно звал Егор Кузьмич, — торговала в обувном магазине Петровского пассажа.

VI

Соне — «сиротке» и было поручено по дороге на Петровку показать Наде приемную Калинина, помещавшуюся на углу Воздвиженки и Манежной, напротив Троицких ворот Кремля.

Соню Надя в течение вчерашней ночи почти не замечала: девушка была дурнушкой, сутулилась, ее невьющиеся льняные волосы, зачесанные на прямой пробор, были на затылке собраны в прическу, которая очень ее старила. Видимо, сознавая и даже преувеличивая свою некрасоту, она держалась сдержанно, жалась по уголкам и глядела на людей исподлобья — однако ее взгляд не был затравленным или смиренным, а, напротив, любопытствующим, и даже немного насмешливым, взгляд зверя слабого, но укрытого в некоем узком убежище, в которое большому зверю нет хода.

По дороге к трамвайной остановке «сиротка», бросив на Надю быстрый испытующий взгляд, спросила:

— Что у вас там, в деревне, стряслось?

Надя, мимолетно удивившись тому, что Егор Кузьмич не рассказал своим домашним о сути дела, и заодно вспомнив, что и Федя в дежурке и на улице говорил шепотом, тем не менее не смогла промолчать или соврать и ответила прямодушно:

— Нас раскулачили. Папу и маму увезли.

При всей глубине Надиного горя она не без детского тщеславия ждала, что «сиротка» ахнет, всплеснет руками, запричитает или заплачет. Однако Соня ничего не сказала, только черты ее бледного лица отвердели, и глаза заволоклись как будто посторонними мыслями. Затем она усмехнулась, взяла Надю под руку и зашептала ей в самое ухо:

— А он-то, дядя Егор Кузьмич, — он хитрый… Знал, когда из деревни в Москву выехать… Зараньше все знал…

На мгновенье Наде показалось, что Соня сожалеет о том, что Егор Кузьмич оказался таким «хитрым». Впрочем, Наде было не до разбирательства в характере взаимоотношений семейства Егора Кузьмича. Они подошли к остановке и сели в подоспевший трамвай. Сидя напротив Сони в трамвае, Надя вдруг всплакнула и при этом заметила, что взгляд Сони стал теплым и сочувственным. Соня вытерла ей глаза собственным носовым платком, и Надя благодарно улыбнулась ей. Они смотрели друг на друга молча, но с симпатией. Впрочем, вскоре трамвай переполнился людьми, девушек отделили друг от друга чужие ноги и туловища, одетые в пахнущие снегом, жильем, табаком, лекарством пальто, полушубки, тулупы, сермяги. Дальше к центру эта одежда сменилась чем-то более городским, воздушным, приятно пахучим, пушистым и гладким. Оттого, что девушек все время разделяли чужие люди (…)

Наконец «сиротка» встала и окликнула Надю. Обе пробрались сквозь толпу и вышли на остановке возле Манежа. Город еще плотнее укрылся снежным покровом, а в этот ранний час пушистые наметы лежали еще девственно-белые, почти не тронутые, и в их рамках дома казались меньше и ниже. И большой зеленый дом на углу тоже казался не таким большим. Впрочем, возле него уже возились мужчины в ватных кацавейках и белых фартуках, очищая лопатами от снега тротуар. Возле подъезда, несмотря на ранний час, уже толпились мужчины и женщины, иногда и дети, жались к стене дома, образуя еще не определившуюся очередь. Большинство здесь было деревенских.

Внезапно Надя оробела. Почти с ужасом глядела она на большую застекленную дверь и на огромные окна, прикрытые широченными занавесками из хорошей материи, и на людей, которые жались к стене, негромко переговариваясь, и то и дело собирались в кружки, возбужденные и сдержанные. В поле зрения

Нади попадало то озабоченное исхудалое женское лицо, то большие, застывшие на какой-то горестной точке глаза, то близко, почти впритык придвинутые одна к другой две бороды, что-то тихо и без умолку говорящих, по-видимому, советующихся о том, как сказать, что сказать… В руках у многих были листы бумаги или конверты с уже заключенными в них прошениями. Некоторые сидели на сундучках или баулах. Вся эта картина, внешне ничем не примечательная, но если присмотреться, полная внутренней сдержанной тревоги, испугала Надю не сама по себе, а тем, что жалобщиков было так много и что подходили все новые, появляясь то из-за угла Воздвиженки, то со стороны Моховой, то из-за Манежа, то справа из-за дома Коминтерна. Их сразу можно было отличить от обыкновенных прохожих тем, что у них были блуждающие, ищущие глаза, неуверенность в походке и часто — сундучок или баул в руке.

"Сиротка" подтолкнула Надю в очередь и, заметив растерянность и уныние Нади, долго не уходила от нее и хотя стояла молча, не пытаясь поддержать ее какими-нибудь словами, но все-таки ее присутствие несколько Надю подбадривало. Пугаясь собственной робости, Надя думала о том, что зря пришла вчера вечером к Егору Кузьмичу, ела там блины и другую вкусную еду, каталась на санках, чувствовала во время катания на себе распаленные взгляды молодых людей и была довольна тем, что на нее так смотрят: все это смягчило ее, развлекло, размыло гущу ее отчаяния. Ей следовало бы с вокзала сразу ехать сюда и здесь стоять всю ночь и накаляться решимостью, ненавистью и любовью. Теперь же она не знала, что скажет, и, перебегая глазами с одного просителя на другого, думала с острой завистью, что вот он-то скажет получше, покрасноречивее, он-то добьется своего… В этот момент она вспомнила о Феде почти с ненавистью: ведь именно он должен был бы сюда прийти, он-то сказал бы лучше всех, он-то смог бы убедить…

"Сиротка", кивнув ей ободряюще, ушла по направлению к Охотному ряду, и Надя осталась одна среди чужих людей.

Утихшая было легкая вьюга словно бы ожила. Мелкие сухие снежинки заплясали, становясь все гуще. От этого отвлекающего кружения снежинок или, может быть, оттого, что вьюга над Кремлем и над приемной Калинина ничем не отличалась от тех вьюг, которые Надя видела у себя в деревне на протяжении жизни, Надя немного успокоилась. Успокоилась и вся очередь, речи стали тише, движения — уравновешаннее, взгляды — меланхоличнее. Снег все мел и мел, словно хотел замести прижавшуюся к стене очередь и придать ей спокойные очертания, неподвижные и округлые. Впереди Нади стояла молодая

оборванная женщина с грудным младенцем на руках. Младенец спал, и на его маленькое лицо и в складки красного одеяла, обрамлявшего лицо ребенка, падал снег. В мельтешении снежинок казалось, что очередь плывет, медленно движется, оставаясь на месте, — медленно, но чуть быстрее, чем дом и подъезд.

В подъезде появился и поплыл навстречу очереди милиционер в черной шинели с алыми петлицами, с закрученными вверх черными усами, пробивая спокойным и добрым, резко очерченным в сутолке снежинок, лицом дрожание густой белой мошкары, и прошел вдоль очереди, спрашивая:

— У вас заявления приготовленные? Заявления все имеют?

Эти вопросы взбодрили очередь, которая ожила, зашевелилась, стала смахивать с лиц, плеч и одежд снег, скинула с себя оцепенение, в глазах зажегся интерес к жизни, и все устремили взгляды к большим дверям, которые, по-видимому, сейчас должны были открыться. Голоса стали громче, возбужденнее.

Когда милиционер уже прошел мимо Нади, слова его дошли до ее сознания, и она с ужасом вспомнила, что никакого заявления у нее нет. Когда же милиционер, возвращаясь обратно, поравнялся с ней, она сделала шаг к нему. В ее глазах изображался такой панический ужас, что милиционер даже и сам испугался и спросил, что с ней. С трудом поняв из ее лепетания, чем она озабочена, он успокоительно улыбнулся.

— Как открою, садитесь к столу и напишите. Вы грамотная, гражданка?.. — Он внимательно на нее посмотрел и спросил: — Не знаете небось как писать? Попросите кого-нибудь. Тут много людей культурных.

Он поискал глазами и обратился к стоявшему на несколько человек впереди Нади худому мужчине в очках, в высокой шапке-треухе и неровно застегнутом волчьем полушубке, так что одна пола была выше другой, высокий, тощий, он держал высоко на уровне глаз книжку и читал ее, отрешенно шевеля губами.

На этого человека Надя и раньше обратила внимание. У него был несчастный, замученный вид. Лицо его со втянутыми щеками было побрито с неприятной тщательностью — до сыроватого оттенка синевы на скулах и с многочисленными порезами от тупой бритвы. Его свежевыбритый подбородок навел Надю на мысль, что мужчина этот тоже переодетый священник, как отец Иакинф Коллеров. Горькие складки вокруг рта и неотрывное чтение книжки под снегом — все это вызывало в Наде сочувствие к этому человеку. Когда он, оторванный милиционером от чтения, подошел к Наде, ей даже захотелось перестегнуть

пуговицы на его полушубке, чтобы полы выровнялись.

Заявление он пообещал Наде написать, как только они войдут в приемную, а пока стал излагать ей то дело, ради которого он уже, как он выразился, "четыре недели топчет московскую мостовую". Надя вначале слушала его внимательно, но, уразумев, в чем дело, потеряла к рассказчику интерес. Мужчина, оказывается, был не священник, не раскулаченный и не безработный, а прибыл с Севера, из Архангельска и даже еще севернее — с острова Жижгин, для того, чтобы жаловаться на какие-то организации, которые не дают ходу «энтузиастам», желающим организовать производство йода из водорослей Белого моря. Йод, втолковывал Наде этот человек, мы покупаем за границей за валюту. Между тем наладить заготовку водорослей, высушивать их, сжигать в кучах, золу выщелачивать водой и из получаемого рассола посредством особого реактива осаждать сырой йод, чтобы затем сублимировать его в ретортах и получать в итоге кристаллический йод, не представляет особых трудностей и освободит нас от иностранной зависимости.

— Главное, — говорил он Наде серьезно, словно беседовал с знающим человеком, и его лицо сводило гримасой горечи и боли, — все понимают, что это выгодно, что это необходимо, но дело не движется с места. В прошлом году архангельский завод дал всего тысячу килограмм йода, в то время как Советскому Союзу необходимо при нормальной потребности сто пятнадцать тонн в год. Для того, чтобы получить это количество, нужно утвердить наш проект печей для сжигания водорослей и сушек, способных консервировать водоросли в течение зимы, чтобы заводы могли работать круглый год… Нельзя нам зависеть от штормов, от того, что они выкинут на берег водоросли!.. Вы понимаете, мы отправляемся с первым пароходом на остров Жижгин и остаемся там до глубокой осени… А всю зиму завод простаивает… Вы никогда не были на Севере? Места небогатые: мхи, низкий кустарник, валуны. Но скучаю по тем местам… — Его глаза стали мечтательными, однако сразу опять лихорадочно загорелись. — Пока не добьюсь от Госплана капиталовложений не уеду отсюда. — Он доверительно нагнулся к Наде и сообщил ей с тихим и смущенным смехом, словно о чем-то очень приятном: — Командировочные кончились, собственные проживаю.

Надя сразу потеряла всякий интерес к этому человеку и даже почувствовала к нему антипатию, ибо, убедившись в том, что он не несчастен, разочаровалась в нем. Она только удивлялась, как можно так сильно переживать из-за таких ничтожных дел, как водоросли, печи, сушилки и так далее — а то, что этот человек съедал себя, было видно: казалось, он сгорает на сильном огне от

всех своих забот, обид и треволнений. Надя не могла этого понять да и не старалась. Она краем уха слышала его рассказы, затем в разговор вступил другой человек, который стал говорить о положении в птицерассаднике возле станции Кучино, в бывшем имении Рябушинского: речь шла об английских инкубаторах, которые получены некомплектными, и о замене нерентабельной крестьянской курицы курицей «родайленд». Этот «курощуп», как его мысленно назвала Надя, тоже имел замученный и в то же время петушистый вид, выкрикивал угрозы каким-то людям и учреждениям, особенно Наркомторгу. И снова Надя удивлялась тому, как можно чувствовать себя несчастным и так волноваться по столь ничтожным поводам.

Но и к тем людям, которые были одеты по-деревенски в нагольные тулупы, сермяги, некоторые в лаптях с онучами, Надя не испытывала чувства симпатии и близости — именно потому, что догадывалась по их испуганным, заплаканным лицам, по их робким или отчаянным взглядам, по их громкому взволнованному шепоту, что они пришли по таким же делам, с теми же жалобами, что и Надя, и вместо того, чтобы преисполниться чувства единомыслия и солидарности с ними, Надя, напротив того, ощущала ревность и боязнь, как бы многочисленность этих дел не повредила ей, не сделала ее дело обыденным, рядовым, хотя ей казалось, что ее дело более вопиющее, чем все остальные, что ее отец и мать более достойны участия и жалости, чем другие, что ее дом и двор, ее корова и лошадь — единственные на свете. Но все же Надя, при всей оцепенелости ее вокруг собственного горя, понимала, что и другие люди думают о своих делах то же самое, что она о своих, и потому испытывала к ним нехорошее ревнивое чувство и досадовала, что они тоже, как и она, догадались прийти сюда, набились сюда со всех концов России. С особенной неприязнью относилась она к тем, кто стоял впереди нее в очереди. Она смотрела на них исподлобья, изучала их повадки, лица и движения, и чем несчастнее был вид того или другого и особенно тех, кто был с детьми, тем больше она опасалась их, подозревая некоторых женщин даже в том, что они нарочито оделись так плохо, почти в лохмотья, чтобы разжалобить Калинина. Сама Надя, напротив, оделась в лучшее из того, что она имела, и теперь жалела об этом.

Тем временем тот, с водорослями, разговаривавший с «курощупом», вспомнил о Наде и обратился к ней с вопросом, что нужно ей написать в заявлении. Надя замялась, ей не хотелось рассказывать ему, занятому совсем другим, о своем горе. Она не успела ничего сказать, как дверь растворилась и люди хлынули

вовнутрь. Во время этого быстрого рывка всей очереди вперед Надя растерялась, отстала, однако сразу же опомнилась, энергично и зло растолкала людей, опередивших ее, и снова заняла свое место вслед за смуглой женщиной с ребенком. Затем она огляделась. Это был большой зал, несколько темноватый, хотя наверху неярко горели лампочки на больших люстрах. Посреди зала стояло несколько столиков, а слева, с краю, находилась длинная дубовая стойка, за которой мелькали белые кофточки служащих женщин.

Надя думала, что, очутившись в этом зале, она сразу увидит Калинина на каком-то торжественном возвышении, похожем на алтарь. Но Калинина еще не было, и алтаря не было, а была эта дубовая стойка, за которой, по словам соседей, и будет стоять Калинин, выслушивая просьбы. Тут же распространился слух, что Калинина вообще не будет, так как он находится в Центральной Черноземной области, и вместо него заявления будут рассматривать другие люди. Назывались даже фамилии: Петровский, Червяков, Чуцкаев, Смидович… Но тот же милиционер с черными усами успокоил всех, сказав, что Калинин вчера вернулся из Центрально-Черноземной области и будет принимать.

Милиционер снова подошел к Наде — он запомнил ее — и дал ей листок бумаги для заявления, указал место за одним из столиков и даже придвинул ей чернильницу и ручку, когда она сказала, что решила писать заявление сама. Заявление она с грехом пополам написала. Когда милиционер снова к ней подошел и спросил, указала ли она свой адрес, по которому нужно дать ответ, она снова впала в панику, так как боялась дать адрес Егора Кузьмича, где находился беглый священник, и адрес Феди, который, как она понимала, был бы вне себя, если бы она вмешала его в это дело. Тогда она написала адрес Харитоновых в деревне, вспомнив, что они уговаривали ее остаться у них и, следовательно, не будут на нее в обиде за то, что она изобразила себя их квартиранткой.

На душе у Нади становилось все тяжелее. Она считала, что заявление написано плохо и неверно. Вдобавок ко всему, когда Надя на вопрос милиционера, по какому делу она пришла к "Михал Ваньгчу" (так он ласково и фамильярно называл председателя ЦИКа), ответила, что по делу о раскулачивании родителей, милиционер довольно сухо протянул: "а-а…", стал каким-то рассеянным, невнимательным и отошел, ничего не сказав больше.

Внезапная холодность доброго и дружелюбного милиционера, недоверие к слогу своего заявления и всеобщее

волнение, нараставшее в очереди с каждой минутой, привели Надю в состояние почти истерическое, хотя она сама не отдавала себе в этом отчета. Тут еще некоторые грудные дети, на улице безмятежно спавшие, здесь, в закрытом помещении, проснулись, стали вопить или — что еще больше выматывало душу — смеяться и лопотать. Рядом что-то такое радостное лопотал ребенок в красном одеяльце. Надя засмотрелась на него, потом вдруг заметила, что вокруг стало очень тихо, подняла глаза и увидела вдали за перегородкой очень знакомое лицо. Лицо, к которому она давно привыкла и сначала даже не поняла — каким образом. Портрет Калинина висел в их избе много лет почти рядом с божницей. Она восприняла это лицо, как совершенно родное, именно потому, что оно висело в их далекой избе — и теперь оказалось здесь рядом, точно такое же, как на том, засиженном мухами портрете. Это потрясло Надю. У нее подогнулись колени, и она, забыв про все на свете, повалилась, как ночью под иконами у Егора Кузьмича, заплакала и запричитала. К ней кинулись люди, они стали ее поднимать, но она не хотела встать, просто не могла встать. Ей поднесли стакан воды, и после этого, не так от самой воды, как от стука своих зубов по стакану, она опомнилась. Но теперь, заметив, что Калинин всматривается близорукими, но внимательными глазами в нее и окружающую суматоху, она, не без звериной хитрости, не захотела встать, несмотря на внимание и испуг окружающих, ужас переконфуженного непорядком милиционера, уговоры одетых в полувоенные костюмы служащих. Чувствуя вокруг себя все это верчение, она продолжала рыдать и причитать, сама не веря, что это она причитает и рыдает. Ей все время казалось, что это кто-то другой — какая-то, может быть, цыганка, у которой забрали деньги на ярмарке — странное ощущение, совсем реальные, может быть, воспоминания раннего детства, — а она, Надя, со стороны смотрит на все это.

И ее вопли, отталкиваясь от высокого потолка и дальних стен, возвращались обратно, гулкие и странно смешные, болтливые, словно сами себя передразнивали. Однако они вызвали и другие отклики — из очереди то тут, то там раздались тоже всхлипывания и крики женщин. Надю вежливо и решительно подняли с пола и повели, почти понесли вперед, мимо негромко зароптавшей очереди, прямо к перегородке. Надя сразу же замолчала, и вслед за ней замолчали все, и в зале стало совершенно тихо, только раздавался где-то сдержанный кашель, еще больше подчеркивающий тишину.

— Чего вы плачете? — услышала Надя негромкий голос рядом с собой и подняла лицо. Калинин смотрел на нее

участливыми, но спокойными глазами глазами, которые все уже на свете видели.

— Не надо плакать, — продолжал он, по-прежнему глядя на нее ласково и спокойно, — слезами горю не поможешь. Что у вас случилось? Где ваше заявление? Как вас звать?

— Надя, — ответила Надя, смотря на Калинина преданно и влюбленно.

Стоявшие рядом с Калининым пожилой военный и молодой с галстуком засмеялись этому ответу. Улыбнулся и Калинин. Однако, пробежав глазами заявление, Калинин снова стал серьезным, затем даже каким-то рассеянным и невнимательным — точь-в-точь, как тот милиционер с усами после того, как услышал ту же историю. Калинин сказал:

— Значит, вы говорите, что ваши родители середняки? Так все говорят. Самые зажиточные сейчас рядятся под середняков. Хорошо, мы это выясним… Оставьте ваше заявление здесь. Видите ли, две лошади во Владимирской губернии — это не так мало… Там у вас безлошадных много. Губерния бедная, богатая бедняками. Отходников у вас много. Вы ведь, наверное, тоже про это знаете? А тут две лошади. А коров небось три-четыре? Две? Что ж, две коровы — это тоже немало. А в колхоз почему не записались? Не хотели ваши родители в колхоз? Почему не хотели?

Он говорил, глядя немного в сторону, словно размышляя, или, может быть, для того, чтобы не разжалобиться видом девушки, чьи глаза, излучающие преданность и совершенное, полнейшее непонимание всего, что он говорил, и особенно русая коса, почти расплетенная, распущенная, казалось, тоже исстрадавшаяся донельзя, не могли не вызвать участия.

Последние вопросы дошли до сознания Нади, и она торопливо проговорила:

— Не верьте им! Мы середняки!.. — Она хотела его назвать по имени и отчеству, но в это мгновение забыла, как его зовут, от этого растерялась, но потом выкрикнула отчаянно: — Мы и в колхоз записались бы! Неужто не записались бы? Папа говорил: "Подумаем, поглядим, а потом запишемся".

— Вот видите, — оживился Калинин, взглянув на девушку, и его голос стал торжествующим и даже по-милому, по-деревенски сварливым, — "подумаем да поглядим". Мы такую страну поворачиваем на сто восемьдесят градусов, сажаем с лошади на трактор! А если каждый будет говорить: подумаем, да поглядим, да посмотрим еще, понравится или не понравится, — какой тут толк будет?! Нет, не будет толку, Надя. Вот, Надя, дело ваше мы, конечно, рассмотрим… Внимательно рассмотрим. Возьмите ее

заявление. Вам обязательно сообщат. А плакать — что? Плакать ни к чему. Москва слезам не верит. Слышали такую поговорку? Понятно вам это?

— Да, — прошептала Надя и, в это мгновение вспомнив имя и отчество Калинина, сказала просто, уже без слез и без хитростей, но с большой внутренней силой: — Михаил Иванович, спасите нас.

Уловив в ответ на эти слова какое-то душевное смятение на лице Калинина, Надя вышла из приемной почти пьяная от волнения и счастья и пошла по улицам, не видя, куда идет. Метелица клубилась вовсю. Снежинки из мелких стали крупными, как бы отяжелели, увлажнились, смягчились, перестали дрожать, а плавно опускались прямо вниз и ложились на все как-то ласково, без прежней сухой мелковатой стремительности. Это соответствовало перемене в душевном состоянии Нади. Конечно, некоторые из слов "всесоюзного старосты", когда она вспоминала о них, казались ей чуточку зловещими: упреки по поводу невступления в колхоз, поговорка о Москве, которая не верит слезам, и так далее. Но Надя считала более важным, что сам Калинин, сам он разговаривал с ней, Надей, что он назвал ее по имени, что он сказал: "внимательно рассмотрим", «обязательно», и то мгновенное смятение, то ласковое и одновременно горькое выражение, которое пробежало по его лицу после последних Надиных слов.

Опомнившись от нахлынувших на нее разнородных чувств, Надя заметила, что находится в незнакомом ей месте, возле роскошного собора, широкие ступени которого были густо засыпаны снегом. Надя постояла в нерешимости. С одной стороны, она не могла не подумать, что неспроста очутилась на ступеньках церкви — по всей видимости храма Христа-Спасителя (Надя о нем много слышала), следовало войти и помолиться, возблагодарить бога за удачу в приемной Калинина; с другой стороны — убежденная, что ее хождение к Калинину увенчалось успехом и что вскоре она увидит мать, отца, Макара и братнину семью, — Надя опять впала в почти полное безбожие, свойственное ей и прежде, до их несчастья. Так она стояла и колебалась, пока не увидела, что две старушки поднялись по гигантским ступеням, оставляя на них крохотные следы в снегу. Старушки подошли к широким дверям, попытались открыть, но не смогли: церковь была не только заперта, но и заколочена двумя досками крест-накрест. Старушки перекрестились и пошли обратно почти точно по своим прежним следам.

VIII

Убеленный снегом прохожий посоветовал Наде сесть в

трамвай «А», и Надя быстро очутилась у Петровских ворот.

Обувной магазин в Петровском пассаже Надя нашла сразу. К двери магазина стоял длиннейший, извивающийся хвост, заполнивший половину пассажа, нескончаемый обувной хвост, тянувшийся инородным телом вдоль витрин с парфюмерией, книгами, канцелярскими товарами. Очередь не двигалась, а только пузырилась, стоя на одном месте, волновалась, сердилась, переругивалась, то добродушно, то свирепо. Ждали галош.

Надю в магазин не пустили. Напрасно клялась она, что ей галоши не нужны, а нужна ей одна из продавщиц, двоюродная сестра. Железные старухи, стоявшие в проеме двери, даже не оглядывались на нее и только изредка кто-нибудь из них бросал ей оскорбительную фразу, вроде:

— Бог подаст.

Или:

— Молодая, а уже научилась врать.

К счастью, из дверей выглянула востроглазая девушка-продавщица в синем халате. Узнав, что Надя пришла к Соне, она накричала на старух, и они сразу присмирели, притихли. Наде было очень стыдно, что из-за нее так грубо кричали на старых женщин, она к этому в деревне не привыкла.

Войдя в магазин, Надя увидела в дальнем углу Соню. Соня стояла за прилавком и смотрела куда-то вдаль, не то пригорюнившись, не то просто задумавшись. Она ничего не делала, так как полки магазина были совершенно пусты, если не считать белых коробок из-под обуви. Соня удивилась, увидев Надю так рано. Она подняла доску прилавка, пропустила Надю за прилавок и прошла вместе с ней в заднюю дверь. Здесь, в узком коридорчике, почти простенке, среди ящиков, в резком запахе кожи, пеньки и стружки, Надя рассказала Соне о событиях сегодняшнего утра. При этом она постыдилась рассказать о своем полупритворном обмороке, плаче и причитаниях, и Соня, внимательно посмотрев на сияющее, необыкновенно красивое в этот момент лицо Нади, сказала с чувством и не без затаенной, хотя и беззлобной зависти:

— Ты такая красивая, что тебя без очереди всюду пустят.

— Не всюду, — ответила Надя с некоторым замешательством по поводу не совсем заслуженной похвалы. — Сюда, в магазин, не пустили.

— Сюда! — воскликнула Соня презрительно и добавила сумрачно: — Сюда и ангела божьего не пустят…

Она поманила за собой Надю, и они поднялись по узкой лестнице вверх, в небольшой, тоже уставленный ящиками склад, где запах обуви был еще сильнее, чем внизу, хотя обуви и тут не

было в помине. Соня открыла дощатую дверь, но войти в комнату они не могли, так как там было необыкновенно тесно: в маленькой комнатушке стояли три канцелярских стола и один письменный, у каждого из столов стоял стул, а на каждом стуле сидел человек. Причем сидели они так тесно, что спинка каждого стула упиралась в задний стол, а животы людей упирались в край их столов. Казалось, им нельзя было вздохнуть, не раздвинув столы.

Письменный стол, самый большой из всех, стоял в центре. На нем красовался самый большой письменный прибор. Он был покрыт сильно поблекшим красным сукном, облитым разноцветными чернилами. За этим столом сидел полный человек, суровый, с красным лицом, в защитной гимнастерке и защитной фуражке.

— Лев Степанович, — сказала Соня, стоя на пороге. — Ко мне из деревни сестра приехала. Разрешите пойти с ней, проводить ее домой. Еще заблудится.

— Сестра, говоришь? — лениво спросил человек в гимнастерке. Покажись, какая ты там… — Увидев смущенное лицо Нади и полуприкрытые длиннейшими ресницами глаза, он продолжал: — Вот ты какая! Гм… Полненькая. Что ни говорите, а деревня — это есть деревня. Воздух, здоровая жизнь… Вы что, в Москве первый раз? Ладно, иди, Софья, проводи ее домой. Тут мы без тебя обойдемся. Галоши будут ли, еще неизвестно. Если будут, то немного, пар двести. — Он снова обратился к Наде, приподнявшись и оглядывая всю ее: — Да, вам в одиночку ходить в Москве поменьше надо, Москва — это город такой! В Москве держи ухо востро.

Лев Степанович встал, отодвинул стул, что немедленно отозвалось на заднем столе, который, отодвинувшись, чуть не придушил старика бухгалтера, сидевшего у самой стены. Выйдя из-за стола, Лев Степанович спустился вместе с девушками по лестнице и вместе с ними вошел в магазин под взглядами десятков глаз, устремленных на него из-за витрин и из проема двери. Он двигался медленно, оглядывая углы магазина строго, его ножки в защитных галифе и хромовых сапожках в обтяжечку, пружинили. Острыми глазками из-под рыжих бровей он смотрел то вправо, то влево без всякой цели — просто это выглядело хозяйственно и внушительно и как бы компенсировало несколько пустоту магазинных полок.

Очередь, по-видимому, знала Льва Степановича или определила его ранг по хозяйскому виду — его приход вызвал оживление, очередь вся запузырилась от волнения и тут же затихла, ожидая больших событий. Подобно тому как хороший

актер не смотрит на публику, так и Лев Степанович не обращал внимания на очередь, как будто ее не было, но сознание своего значения было разлито по его лицу, а в его чуть сутулой толстой спине и в его походке чуть-чуть носками внутрь — во всем этом была этакая властительная расслабленность всех частей тела вплоть до век, сонно полуопущенных на внимательные, совсем не сонные глаза.

Пока Соня одевалась, Надя стояла у стены возле большого зеркала. Лев Степанович, сделав круг по магазину, подошел к ней и встал с ней рядом напротив зеркала, переваливаясь с носков на пятки и пружиня, и так они постояли молча друг возле друга, как на фотографии, после чего он подмигнул ей в зеркало и пошел к выходу. Железные старухи в ужасе попятились перед ним. Он встал в проеме и, словно не видя очередь, сказал подошедшим Наде и Соне:

— Проходите, проходите. Ты, Софья, можешь не возвращаться, Тоня с Клавой сами справятся. — Встретившись глазами с Надей, он улыбнулся. Заходите к сестричке, не стесняйтесь. Мы тут народ гостеприимный, Москва она хлебосольная.

Когда девушки вышли из пассажа, Надя спросила:

— Что он у вас, военный?

Соня удивленно взглянула на нее.

— Почему военный? А, по одежке!.. Какой он военный!.. Он не военный, а вор.

У Нади округлились глаза.

Прежде чем ехать домой, Надя попросила Соню проводить ее до Фединого общежития. Она хотела сообщить Феде о том, что случилось с ней в приемной Калинина. Они пошли к Охотному ряду. Наде было страшно и неприятно снова входить в этот дом, и Соня вызвалась сходить сама, а Надя осталась ждать ее на улице под слабым снегом, сменившим бурную пургу. Однако Соня вскоре вернулась: Феди в общежитии не оказалось. Более того, кто-то из студентов, живших с ним в одной комнате, сказал, что он и не ночевал в общежитии. Тогда они направились к университету на Моховую. Там тоже Соне сказали, что Феди на факультете нет. Не было его и в бюро ячейки, куда Соню кто-то направил.

Соня заблудилась в длинных замысловатых коридорах старинного здания, гулких от эха ее шагов, со сводчатыми окнами, светящими тусклым светом в их дальних концах — окнах, которые, когда к ним приближаешься, оказываются прорубленными в необычайной толщины стенах. Двери по бокам коридоров глухие и таинственные и, казалось, никогда не

открывающиеся, манили Соню, представлялись ей ведущими в покои изумительной красоты, полные чудес, именно сказочных чудес — птиц с драгоценным оперением и черных людей в чалмах и неведомых зверей — всего того, что Соня слышала или читала именно в сказках, а не в книгах, где говорится о реальной жизни.

Многочисленные объявления на досках и просто на стенах коридоров вперемежку со стенгазетами, воззваниями насчет сбора утиля, "социалистическими обязательствами", и призывами вступить в Осоавиахим или общество "Долой неграмотность" тоже не в силах были развеять ощущение чудесного, которое испытывала никогда не учившаяся деревенская девушка в стенах Московского университета, куда она попала впервые. Иногда, вконец запутавшись в коридорах, Соня открывала первую попавшуюся дверь. За дверью оказывалась аудитория, иногда потрясающе пустынная, большая, без единого человека, с огромным количеством столов и скамеек; там жило эхо, оно встречало Соню глумливым откликом на открываемую дверь и на робкий Сонин вопрос: "Можно?" Иногда же за дверями аудиторий оказывалась толпа молодых ребят и девушек, десятки безмерно веселых глаз оглядывались на Соню, и их присутствие казалось еще более странным и чудесным, чем пустота в тех, других аудиториях. Парни и девушки сидели за столами, лекторы стояли на кафедрах и говорили, географические карты придавали стенам очень ученый и в то же время лазурно-зеленый, весенний вид; иногда взблескивали стеклянные колбы и пробирки на столах, и нос улавливал запах серы, эфира и спирта.

Наконец Соня выбралась из путаницы коридоров и вышла к Наде, которая стояла на улице возле высокой решетки ограды и уже вся покрылась медленно идущим снегом.

Они пошли к трамвайной остановке, и после того, как картины университетских коридоров и аудиторий потускнели в сознании Сони, она подумала о Феде и встревожилась. Прошлой ночью она следила за Федей неотступно, так как в семье Туголуковых любили посудачить о молодом незнакомом родиче: вчера она не знала о несчастье, постигшем Ошкуркиных, но присущая ей почти звериная чуткость помогла Соне уловить на лице Феди и во всем его облике загнанность — тоже сродни звериной и поэтому близкую ей. Теперь же, сопоставив факты, она испугалась за него и подумала, не наложил ли он на себя руки.

То, что не приходило в голову юной, жизненно неопытной Наде, пришло в голову Соне-сиротке, хотя она была ненамного старше, по той простой причине, что и она часто думала о том, чтобы наложить на себя руки. Она, впрочем, ничего не сказала

Наде, не захотела тревожить девушку, полную в этот момент радостной удовлетворенности собственной удачей и уверенности в будущем.

IX

Федя Ошкуркин, увидев поздний трамвай, бросил веселую компанию у развалин Симонова монастыря потому, что почувствовал, что больше не сможет выдержать шум, смех и крики, и потому еще, может быть, что вид разрушенного монастыря слился в его душе с ощущением собственной разрушенной жизни. Трамвай шел в парк через Ильинку и Варварку. У Ильинских ворот Федя соскочил и пошел к общежитию, но у самого общежития раздумал туда идти. Ему было бы невмоготу смотреть на спокойные лица товарищей по комнате. Он пошел к центральному телеграфу на Тверскую улицу и тут, в помещении междугородной телефонной станции, в тепле и негромком шуме немногочисленных и меняющихся посетителей, просидел часа полтора.

Вокруг тоже сидели люди — некоторые дремали, а другие выглядели деловитыми и энергичными, как средь бела дня. То одного, то другого вызывали из окошка, и тогда они скрывались в кабинках, и их лица были видны из-за стекол кабинок. Видно было, как их рты открывались и закрывались, как они энергично размахивали руками и трясли головами, но ничего не было слышно.

Страшная мысль, беспрерывно гнетущая Федю, не переставала терзать его. Но она тоже как бы скрылась в кабинку и, словно отгороженная стеклом, была не слышна, не кричала в нем, как раньше, истошно и беспрерывно, и от этого было (немного) легче.

Федя сам не заметил, как очутился опять на Тверской; он неизвестно почему вышел и удивился, что не заметил, — удивился и усмехнулся, так как это значило, что он был весь целиком погружен в свои мысли, а между тем ему казалось, что он ни о чем не думает, а так только — живет, сидит и дышит. Но коль скоро он оказался на улице, он не стал возвращаться на телеграф, а пошел вверх к Страстной площади и опять словно бы упал в какой-то глухой колодец, не то сосредоточенной мысли, не то полного бездумья. Очнулся он, почувствовав чью-то руку, просунувшуюся под его левый локоть и схватившую его неуверенно, но цепко. Он посмотрел налево и увидел устремленное ему навстречу женское лицо, вначале показавшееся ему старым оттого, что челка, брови и ресницы были седыми от снега. Но это было очень молодое лицо, в этот миг напряженное и строгое. Глаза из-под заснеженных ресниц сверкали как будто

сердито.

— Скажите, что я с вами, — шепнула женщина быстро и повелительно.

Федя ничего не понял, и только пронзительные милицейские свистки и остервенелые женские крики ниже Моссовета заставили его внимательно посмотреть на пятнистую от метели улицу. Десятка два женщин, из которых некоторые жались к слабо освещенным витринам, а другие пытались бежать вниз, к Охотному, превратили Тверскую в какой-то непонятный театр, в какое-то мгновенное завихрение людских судеб вперемежку с вертящейся снежной заварухой. И Федя почувствовал себя тоже частью этого завихрения, одной из ее снежинок, и оттого, что он в его положении мог еще, оказывается, кому-то в чем-то помочь, показалось ему даже забавным.

В этих женщинах, мятущихся по заснеженной мостовой, визжавших, хрипло ругавшихся невозможной площадной бранью и жавшихся к витринам, было нечто омерзительное. Но не менее омерзительно выглядело то, как милиционеры гонялись за ними, путаясь в длинных шинелях, грубо хватали их, тащили или теснили куда-то, в какую-то подворотню или парадный подъезд, избранный как сборный пункт облавы.

Когда Федя со своей спутницей прошел мимо милиционеров, те поглядели на них подозрительно, но ничего не сказали. Федя и его спутница почти дошли до Страстной площади, девушка тем не менее не выпускала Фединой руки и шла молча, очень чинно, стараясь маленькими ножками ступать в ногу с Федей. И оттого, что она так пыжилась и не без натуги делала широкий шаг маленькими ножками, Феде чудилось в ней что-то детское, а во всей ситуации и в том, как они вдвоем шли, — что-то юмористическое. И он подумал о том, что если бы то же самое случилось вчера, то он, вероятно, как идейный комсомолец и враг распущенности, передал бы эту девицу в руки милиционеров и уж во всяком случае не стал бы ее укрывать от них. А сегодня, после всего случившегося с ним, он уже не мог этого сделать.

Как только они достигли Страстной площади, Федина спутница робко оглянулась на Тверскую через правое плечо, задев головой Федино левое. Обнаружив, что милиционеры исчезли и все вошло в обычную колею, она сразу же отпустила Федину руку, весело, хотя и несколько хрипло захохотала, повернулась лицом к Тверской и закричала:

— Ну что, менты проклятые? Поймали?

От нее пронзительно пахло одеколоном и вином. На ней была короткая рыжая жакетка "на рыбьем меху" и лиловая шелковая блестящая юбка. А на жакетке была худенькая рыжая лисья

головка с блестящими стекляшками вместо глаз, и лицо девушки было похоже на эту лисью головку — тоже с острой голодной мордочкой и блестящими золотистыми глазами.

На Страстной площади было еще несколько женщин, видимо, тоже вырвавшихся из кольца облавы и знакомых Фединой спутнице. Они бегали одна к другой, громко шептались и смеялись, только одна плакала громко, перемежая плач отборными ругательствами: у нее в суматохе потерялась сумочка. Федина спутница отбежала от него к одной из женщин, а с той вместе побежала к третьей. Федя постоял и пошел мимо памятника Пушкину влево по бульвару. Однако не успел он отойти несколько шагов, как она догнала его и сказала полувопросительно, без интереса, как бы по обязанности:

— Пойдем?

Он ничего не ответил и пошел дальше по бульвару, но она и на этот раз догнала его и пошла с ним рядом.

— Ты кто? — спросила она. — Студент? Может, у тебя денег нет? Ничего, пойдем без денег. У тебя, наверно, ночевать негде? Не пьяный, а ходишь ночью…

Он продолжал идти, и она сказала обиженно:

— Ты что, немой, что ли?

— Чего вам нужно от меня? — сказал Федя.

Что-то в этой фразе, сказанной большим и сильным человеком маленькой бульварной потаскушке, поразило ее. Она смиренно сказала:

— Если у вас ночевать негде, то вы можете пойти ко мне.

Он не понял ее слов, и только несколькими мгновениями позже у него в мозгу начали медленно отпечатываться эти слова по очереди: "если, у вас, ночевать, негде" и так далее. Тогда он посмотрел на нее, усмехнувшись, и она поняла его усмешку как согласие, взяла его снова под руку, и они пошли по белому бульвару к Никитским воротам.

— Да, действительно, у меня денег нет, — сказал он, сделав несколько шагов и с досадой остановившись. — На кой я вам сдался? У меня, может, копеек пятьдесят — шестьдесят. Ведь этого мало?

— А как ты думал? — сорвалась она с тона. — Тоже предложил полтинник! За полтинник куры… — Но посмотрев ему в лицо, она прервала себя и сказала опять тихо и ласково, хотя уже на «ты»: — Я же сказала. Такому парнишке и без денег с удовольствием. А чего? Ты что думаешь? Только про деньги и думаю? Не обязательно.

Она повела его по Бронной направо, куда-то к Патриаршим прудам, в безлюдные темные переулки. Оба молчали. Вдруг она

сказала нервно:

— Чего ты молчишь? Знаешь, с тобой ходить небольшое удовольствие. Тоже кавалер! Молчит все время. С тобой страшно даже, честное слово! Ну скажи что-нибудь.

— Что мне сказать?

— Что-нибудь. Хоть про погоду.

— Метель.

— Да, метет, заметает. Ну и что такого? Ты так сказал «метель», что мне страшно стало, честное слово. Как артист. Странный ты какой-то. Как тебя зовут?

— Федором.

— Федя! Люблю это имечко! Федор! Федор Шаляпин. Федор Качалов.

— Он не Федор.

— Нет, Федор.

— Он Василий.

— Василий? А кто же Федор?

— Я Федор.

— Хи-хи… Тоже знаменитость!.. А почему ты не спрашиваешь, как меня звать?

— Как вас зовут?

— Ты послушный. Меня зовут Любой… Почему ты не говоришь: "Ах, любовь!"? Так все сразу говорят, как узнают, что меня Любой зовут. А ты не говоришь. А как зовут Кторова? Не знаешь. Анатолий.

Наконец она замолчала и замедлила шаги. Они стояли перед большим домом с красивым, несколько вычурным подъездом, похожим на боярское крыльцо. Однако повела она Федю не к подъезду, а во двор, и здесь, через черный ход — еле заметную обшарпанную дверь, к которой надо было спуститься на две ступеньки вниз, — они прошли в кромешной темноте в довольно большую кухню, слабо освещенную маленькой лампочкой, заключенной в железную сетку.

Заметив при тусклом свете лампочки, что Федя весь в снегу, Любка жестами предложила ему отряхнуться, они вышли обратно за дверь, здесь она, вставши на цыпочки, сняла с него шапку, ударила ею о стену, затем шапкой же стала стряхивать снег с его куртки, со своей жакетки. Потом они вернулись и прошли через кухню в коридор. Они прошли коридор из края в край. Возле самой дальней двери Любка остановилась, прислушалась и потянула за ручку. Дверь была заперта. Любка негромко выругалась и постучалась. Старушечий голос спросил: "Кто там?" «Я», — ответила Люба и слегка оттолкнула Федю в сторону. Дверь отворилась. Любка вошла одна, притворив за собой дверь, и Федя

остался стоять в темном коридоре, который был освещен только далекой полоской тусклого света, падавшего из двери кухни. Он закрыл глаза и так стоял с закрытыми глазами, равнодушный ко всему, даже к своему глупому положению в этом коридоре перед этой дверью, где он оказался без надобности и откуда должен был бы уйти, если бы не равнодушие и душевная усталость, заставлявшая его стоять тут, как стоят неодушевленные предметы — скамейка, фикус, сундук.

Потом дверь открылась, и Люба поманила его пальцем. Он вошел в комнату причудливых очертаний, со скошенным потолком, освещенную, как и кухня, лампочкой в железной сетке, обставленную очень скудно, с двумя маленькими окнами и огромной, почти во всю стену дубовой дверью, которую пытался, но не мог закрыть убогий платяной шкафчик. По расположению комнаты и по большой двери Федя вскоре догадался, что комнатка сделана из прихожей, примыкающей к парадному подъезду — тому самому, похожему на боярское крыльцо.

В комнатке стояла только одна кровать — довольно большая, с никелированными шарами на спинках. Но теперь, ввиду его прихода, часть постельных принадлежностей лежала на полу и на них сидела полуголая старуха в платке. Она заканчивала свое несложное устройство на полу расправляла рядно, служившее простыней, и натягивала на себя одеяло.

— Здравствуйте, — сказал Федя.

— Здравствуйте, — ворчливо ответила старуха, после чего недовольно промолвила: — Больно поздно стали приходить. Чего-нибудь вылить небось не принесли? Только «здравствуйте» принесли!.. — Она заворочалась, заворчала, зачертыхалась, но вскоре обратила внимание на скромность и сдержанность гостя, на его стеснительность и связанность, молчаливость и деревянность, и тогда она внимательно посмотрела на него маленькими выцветшими глазками, в которых, несмотря на всю, с Фединой точки зрения, позорность ситуации, еще сохранились остатки нормального человеческого и материнского выражения, — и сказала довольно ласково (видимо, его лицо, с большим чистым лбом и русыми, несколько вьющимися волосами и серо-голубые глаза под пшеничными бровями, потемневшие от страдания, произвели на нее впечатление и удивили ее):

— Чего вы стоите? Раздевайтесь, — и добавила одобрительно и немножко завистливо: — Подхватила паренька… Красивый паренек, — и наконец закончила неодобрительно: — такому пареньку жениться надо, а не по б….. ходить.

Люба хихикнула и сказала:

— Понравился ты бабке Милке. — И, зная, что это редкий

случай, чтобы кто-нибудь из посетителей понравился бабке, она тоже внимательно посмотрела на Федю и неожиданно прильнула к нему, глядя ему в глаза снизу вверх, крикнула бабке: "Будет тебе! Спи!" и, все так же глядя ему в глаза, нащупала левой рукой выключатель на стене и погасила свет.

— Я не буду, — сказал Федя.

Ее ручки, расстегивавшие ему полушубок, замерли. Она прошептала:

— Раздевайся, глупенький.

— Я не буду, — повторил он.

Она начинала сердиться, но сдержалась.

— Ты чего? — спросила она. — Ты не бойся, я здоровая.

— Я не буду, — сказал он, пытаясь встать.

Она прошептала ему на ухо бранное, оскорбительное слово. Он промолчал. Оцепенение снова охватило его. Он думал о том, что если бы ока от него отстала, он бы тут же сидя заснул или просто пересидел бы до утра. Оцепенела и она, и в комнате стало очень тихо — в этой тишине стало слышно, как где-то в подполье пищат мыши.

— Чудак, — сказала Любка шепотом и хихикнула смущенно. — Не хочешь, не надо. Очень ты мне нужен. Может, ты святой? В церковь ходишь? Или у тебя машинка не работает? — Не дождавшись ответа, она медленно отделилась от него, отодвинула лицо, убрала руки, отодвинулась вся. Потом легла на кровать к стене. Посидев, он снял полушубок и шапку и тоже лег на кровать.

Они лежали рядом молчаливые и неподвижные. Он вскоре забыл, где находится, и, только изредка вспоминая об этом, думал, что до сегодняшней ночи в сущности не подозревал, что есть и такая сторона жизни в Москве, хотя она, эта сторона жизни, находилась рядом с ним, с его общежитием и его университетом, с его ячейкой и его райкомом. И он думал о том, что, вероятно, никогда не узнал бы об этой стороне жизни, если бы не случилось то, что с ним случилось, если бы он не оказался вышибленным из обычной колеи. О девушке, лежавшей рядом с ним, он не думал совсем. Комсомольское правоверие и крестьянская добропорядочность отделяли его от нее как бы железной стеной. Он даже и заснуть долго не мог не только из-за своих мыслей, но и потому, что в этой постели ему чудилась физическая нечистота, но потом он все-таки заснул.

X

Первое, что Федя Ошкуркин увидел проснувшись, был большой железный крюк, торчавший без всякой надобности из стены почти под самым потолком. Этот крюк способен был изуродовать любую комнату, даже самую нарядную, а здесь, в этой бесформенной прихожей, превращенной в жилье, с потолком, наполовину скошенным под углом в сорок пять градусов, — очевидно, над ним шла лестница на второй этаж, — с обшарпанной мебелью и вытертыми до дыр занавесками, он был совсем омерзителен. Занавесок же тут было почему-то много, жители этой комнатенки, видимо, считали их неким шиком. Занавески висели на шкафу, на окошке, и на двух дверях — заколоченной — к улице и действующей — в коридор. Кроме

того, один из уголков комнаты был тоже огорожен грязной ситцевой занавеской.

Окинув взглядом комнату, Федя убедился, что никого здесь нет — ни Любки, ни старухи. Надо было встать и уйти, и он уже готов был это сделать, но снова взгляд его упал на крюк, и он стал смотреть на этот крюк, так что вскоре крюк стал двоиться у него в глазах.

Снова и снова Федя хотел встать и уйти, но потом подумал, что ему некуда идти, некуда и незачем. И он лежал, несмотря на обычную свою щепетильность в отношении к людям; ему было все равно, если кто придет и придя застанет его на постели и будет недоволен или даже будет возмущаться вслух. Ему теперь все это было безразлично. Ему казалось, более того — он был уверен, что он встанет только для того, чтобы повиснуть на этом крюке. Та основательность, с которой был вбит крюк, завораживала его, он чувствовал — ему даже казалось, что он это делает, — что, раскачивая этот крюк, пытаясь вырвать его из стены, он обязательно встретится с колоссальной силой сопротивления; крюк даже не шелохнется, настолько он намертво вбит, и, видимо, в незапамятные времена, и неизвестно зачем разве только затем, чтобы дождаться его, Феди; чтобы дождаться, пока он, Федя, выйдет из телеграфа на улицу, и девушка схватит его под руку, и он спасет девушку от милицейской облавы, и придет сюда, где его ожидает этот крюк, вбитый, может быть, еще до рождения Феди и все равно предназначенный для него.

Федя с трудом глотнул, ему уже казалось, что горло его стянуто веревкой.

— Дяденька, вы еще не встали? — послышался детский голос, и мальчик лет двенадцати показался из-за занавески.

Меньше всего ожидал Федя увидеть здесь ребенка и, встретившись с ним взглядом, покраснел и быстро встал с постели. Он не думал, что что-нибудь может теперь поднять его с постели, — он не мог предвидеть появления ребенка. Глаза мальчика, большие и ясные, смотрели на Федю без презрения и без укоризны, но с привычным равнодушием, которое укололо Федю сильнее чего-либо другого. В этом детском взгляде было такое молчаливое понимание ничтожества людей, такое спокойное знание изнанки жизни, что Федя, олицетворявший в этот момент для мальчика эту изнанку, почувствовал себя глубоко униженным. Однако именно это чувство заставило Федю сбросить с себя хотя бы немного тяжелое оцепенение, отвлечься от железного крюка и заговорить с мальчиком — вначале через силу, с трудом произнося слова, а потом, после разумных и ясных — под стать его глазам — ответов мальчика с некоторым даже

удовольствием.

Признав в Любином братце (а это был, несомненно, ее братец, он был на нее очень похож) своего сотоварища по принадлежности к великому содружеству несчастных, Федя собрал все свои силы, чтобы оправдаться перед ним. И для этого он заговорил с ним просто и серьезно, как с преподавателем или товарищем вузовцем, — о предметах, очень далеких от этой комнаты. Например, он стал ему рассказывать о рыбной ловле, в частности, о ловле щук на кружки. Эти деревянные кружки, окрашенные в два цвета, зеленый и красный, ставятся кверху зеленым цветом. Когда же щука ухватится за наживу, кружок переворачивается красным вверх, рыболов издали следит из лодки за этими кружками. Как только он видит красный кружок, он, подобно железнодорожнику при виде красного света, бросается туда и вытаскивает рыбу. Потом он рассказал мальчику о растении, которое само ловит насекомых и съедает их. Этот коварный и злой цветок ждет, пока комарик или муха сядут на его лепестки и сжимает лепестки, как руку. Потом он поведал ему об опытах по искусственному дождеванию и объяснил, что это принесет в будущем человеку, когда можно будет сделать дождь по заказу.

Все это он рассказывал ровно и серьезно, и мальчик, не привычный к такому обращению, видевший здесь, в комнате, мужчин только глупых и подлых или оглупевших и оподлевших от водки и низменных страстей, удивился, потом просиял и, засуетившись, только полчаса спустя вспомнил о поручении, которое имел передать «дяденьке» от сестрицы, ушедшей отмечаться на биржу труда: пусть дяденька не уходит, а ждет ее и попьет чай с ним, Костей. И что если он курящий, то здесь в шкафу имеются папиросы "Наша марка".

Костя повел Федю по длинному коридору в умывальню и уборную и стоял на часах возле той и другой, и, когда Федя выходил оттуда, он уже искал и находил ясный и твердый взгляд Костиных глаз — взгляд вполне мужской неподкупной дружбы.

Когда они возвращались обратно по коридору в комнату, открывались двери квартир и оттуда выглядывали лица, главным образом женские, и слышался шепот. Под этими взглядами Федя ускорил шаг и шедший впереди мальчик тоже ускорил шаг, и у одной из последних дверей, которая тоже открылась и из-за которой раздалось совсем уж откровенное хихиканье, мальчик быстро повернул лицо к Феде, и Федя увидел его сжатый рот. И тогда Федя замедлил шаги, и, поравнявшись с окном, выходящим направо во двор, остановился и сказал:

— А метель все метет. Для нас это привычно. А вот на днях

мы встречались с одним человеком из Индо-Китая — он тамошний комсомолец, был здесь на пленуме Исполкома КИМа. Так он никак не мог оторваться — все смотрел в окно, удивлялся и шептал: "нэж, нэж…" Это по-французски снег. Он видел снег первый раз в жизни. Мы потом над ним смеялись — он вздумал взять немножко снега с собой в Индо-Китай, чтобы показать своим.

— Что, положил в карман? — Костя недоверчиво усмехнулся.

— Да, в оба кармана.

Костя помолчал и вдруг прыснул, и его смех, захлебывающийся, веселый, безудержный, неумелый и обаятельный, вызвал отклик в длинном коридоре. Двери раскрылись шире, и человеческие лица, раньше следившие за Федей исподтишка, теперь, не скрываясь, высунулись из-за дверей. Потом появились дети — девочки и мальчики. Некоторые выползали в коридор медленно, робко, другие — выскальзывали после сдавленного шепота, толкотни, сопения, третьи — выскакивали как пробки, может быть, подстегнутые подзатыльниками. Они подошли близко и, не здороваясь, смотрели снизу вверх на Федю внимательными глазами разных оттенков — от черных, как шарики из нефти, до голубых, цвета зимнего неба.

Федя, продолжая все так же серьезно рассказывать Косте разные истории и ловя в промежутках между своими фразами напряженное и полное интереса молчание, подумал с вспыхнувшей внезапно любовью к самому себе, что недаром мечтал он с детства учить детей и что если бы он кончил университет, он, очевидно, мог бы это делать очень хорошо. Но так как он уже не кончит университета…

Резко оборвав разговор, он пошел дальше по коридору, в ту комнату, где висел крюк. Дети пошли за ним и только у самого порога одни остановились, — видимо, здесь для них была некая запретная черта — другие же вошли совершенно бесцеремонно вслед за Федей и Костей. Федя, постояв некоторое время молча, сказал:

— Что ж ты меня не знакомишь с твоими товарищами?

Костя, тыкая каждого ребенка пальцем в грудь, довольно хмуро видимо, не без ревности — назвал всех по имени. Обеих девочек звали Фая, и для того, чтобы различить их, Костя так же хмуро сказал, что одна из них "Фая, которая потеряла рубль", а другая — "Фая, которую оплевал верблюд". Эти прозвища были основаны на действительных фактах. Вторую Фаю, ярко-рыжую, верблюд действительно оплевал когда-то в зоопарке — может быть, ее рыжие волосы на него так подействовали. Потом Костя

представил мальчиков — их было трое. Но Федя уже не слушал, весь ушел в себя и смотрел на крюк. Молчать ему было тем легче, что когда кто-нибудь из детей обращался к нему, Костя обязательно обрывал их, словно Федя был его собственностью.

Потом Федя, очнувшись от своих мыслей, снова посмотрел на детей. Дети стояли молча, но, кажется, им было не скучно, — они смотрели на Федю и при этом, очевидно, жили какой-то напряженной внутренней жизнью, которую Федя не мог разгадать. И это заставило Федю опять заговорить с ними собственно, даже не заговорить, а прочитать "Сказку о рыбаке и рыбке" — он знал ее, как и почти всего Пушкина и Некрасова, наизусть. Они слушали, потрясенные сказкой, показавшейся им великой драмой. Кончив чтение, Федя минуту помолчал вместе с ними, потом спросил:

— Почему вы в школу не идете?

Костя ответил не сразу, ему было трудно выскользнуть из туманного края сказки.

— Нас не пускают, — сказал он наконец. — У нас тут Петька болен скарлатиной… — Подняв острое личико к Феде, он сказал: — Он бы ей надавал по морде… — Его мужская гордость не могла примириться с унижением старика. — Чего он такой смирный! Дал бы ей раз по зубам.

Дверь распахнулась. Маленькая растрепанная женщина с большими обвислыми грудями под лоснящейся от жира ситцевой кофтой появилась на пороге.

— Валька! — заговорила она громко и визгливо. — Ты зачем сюда пришел? Тоже — клуб?! Сколько раз я тебе говорила, сюда не ходить! — Встретив сумрачный взгляд Феди, она осеклась и сразу же понизила голос: — Иди домой, Валька. Там керосинщик приехал, надо за керосином пойти.

— Не пойду, — сказал Валька.

— Почему?

— Тут дяденька сказки рассказывает.

Пять пар детских глаз угрюмо сверлили ее. Она сказала заискивающе:

— А может, дяде совсем неинтересно с вами возиться!..

Она подождала, предполагая, очевидно, что Федя отзовется каким-нибудь приличествующим в таких случаях словом или хотя бы хмыкнет, или хотя бы улыбнется, но Федя ничего не сказал, не хмыкнул и не улыбнулся, а только смотрел на нее молча, так как опять думал о своем. И дети тоже смотрели на нее так же молча, на лету усвоив по какому-то детям свойственному наитию странную манеру этого «дяди» молчать тогда, когда принято говорить, и говорить тогда, когда никто этого не ждет. И от этого

всего Валькина мама окончательно смутилась и, пятясь, вышла из комнаты.

— Пойду и я, — сказал Федя и встал.

Дети заволновались, переглянулись и все вразброд произнесли тонко и вяло, как бы неискренне, одни и те же слова:

— Не уходите, дяденька.

Фая, та, которую оплевал верблюд, наиболее смелая из всех, взялась за Федину руку худенькими слабыми ручками, и другая Фая, потерявшая рубль, от этого тоже осмелела и взялась за ту же руку, но выше, у локтя. Тут и мальчики расхрабрились и стали держать Федю, не пускать его — несильно, настойчиво, как бы в шутку, чтобы он не рассердился. Один лишь Костя ничего не сказал и не подошел к нему, только лицо его враз потемнело. И, увидев это лицо, Федя не снял полушубка с гвоздя, и опять уселся на стул. И дети переглянулись и счастливо засмеялись — именно счастливо и гордо, так как почувствовали власть над взрослым человеком и подивились этому, так как привыкли к тому, что взрослые не исполняют детских просьб.

Тут вошла бабка Милка, она была в ватнике, с фартуком поверх и в яркой фуражке с надписью «Моссельпром». С ней была другая бабка, тоже в ватнике, фартуке и фуражке. Бабка Милка зоркими глазами окинула всю картину и сняла фартук.

— У инвалидов конфеты по рубль по двадцать, а в ларьке по рубль сорок пять, — сказала она, зорко глядя на Федю, и, положив на кровать лоток с папиросами и конфетами, села к столу.

— И куда все девалось? — спросила вторая бабка.

Бабка Милка спросила:

— Чай пили? Не пили? Садитесь, молодой человек. Садись, Констянтин… А вы — марш отседа! Чего пристали к человеку! Идите, идите… Небось Костю из своих квартир гоните, а сами прётеся… И ты, Фая, тута? Мамаша небось не знает, а то дала бы тебе по жопе.

Дети все стояли, сгрудившись вокруг Феди и не трогаясь с места.

— И что ета за дети, за наказание такое? — спросила вторая бабка.

Дети, однако, не уходили. Они привыкли, что все их шпыняют, и придавали этому мало значения. Однако бабка была не из покладистых. Сквернословя и бранясь, хотя и беззлобно, но надоедливо, она одного за другим выпроводила детей из комнаты.

Во время чаепития обе бабки все время разговаривали друг с другом и все делали, не переставая разговаривать. Федя вначале

не слушал их разговора, потом стал слушать. Они говорили о том, что Моссельпром прекращает торговать вразнос и меньше чем через две недели обе бабки окажутся безработными. Потом бабки собрались уходить и снова надели поверх ситцевых платков синие фуражки, по околышам которых было написано большими буквами «Моссельпром». Бабки в этих фуражках выглядели очень смешно, тем более, что явно гордились этими фуражками, и как только надели их, так сразу стали стараться выглядеть подчеркнуто и лихо.

XI

Не успели обе бабки из Моссельпрома выйти, как в комнату вернулись дети, — и не только те, которые были раньше, но и другие, не осмелившиеся раньше сюда войти в силу родительских запретов или природной робости. Федя вывел их во двор, под метель, и слепил при их помощи большого снежного человека. Дети принесли угольки, старую морковку и старую шапку. С угольками вместо глаз и морковкой в качестве носа, в рваной шапке набекрень, человек этот, чуть наклонившись в сторону, как Пизанская башня, и по этой причине похожий на пьяного, был необыкновенно смешон. Вначале дети не смеялись, так как не смеялся Федя, и дети, видя это, тоже старались не смеяться. Но затем, уже не в силах сдерживаться, они стали хохотать и тоже валиться набок. И каждый произносил какую-нибудь фразу от имени снежного человека — либо стараясь говорить басом, либо, наоборот тонким голоском. От имени этого человека они старались сказать что-нибудь очень смешное, и чью-нибудь особенно смешную или особенно заумную фразу покрывали громким хохотом.

Валька сказал:

— Распрягайте, хлопцы, коней, та лягайте почивать.

А Фая сказала:

— Айдапулифурипуски.

И, застыв, стала валиться влево. И на нее стали валиться другие, задыхаясь от смеха и крича: "Айдапулифурипуски!" Затем другой мальчик, по имени Паша, вставил себе в рот карандаш, как папиросу, и, выпуская воображаемый дым, сказал:

— Какие тут могут быть вопросы? И не думайте, и не мыслите, и не гадайте!..

Это вызвало почти истерику, особенно когда Паша с застывшим лицом, как будто бы очень серьезно, тоже повалился на снег.

— Ну вот, играйте, — сказал Федя, — а я пойду.

Он сказал это тихо, не так для детей, как для Кости, который стоял все время возле него, но все услышали и сразу смолкли. А

Костя схватил Федину руку, и Федя постоял-постоял и остался. Он остался потому, что подумал, что ему просто некуда идти. Конечно, он понимал, что ему надо куда-нибудь идти — хотя бы для того, чтобы уйти отсюда. Не может же он быть тут вечно. Но он никак не мог придумать, куда идти, и снова остался, хотя понимал, что выигрывает-то всего час или два, а потом надо что-то решать.

Затем дети разошлись по домам по разным надобностям — кого позвали матери, кого послали за чем-нибудь — и Федя вернулся в комнату с Костей и с рыжей Фаей, которую оплевал верблюд. Потом пришла какая-то женщина мать кого-то из ребят, но Федя так и не понял, кого именно, и пригласила его с Костей к себе обедать. Они пообедали у нее и снова вернулись в комнату. Там уже была бабка Милка — без фуражки и без лотка. Узнав, что Федя с Костей обедали у соседей, да еще к тому же у Тамары Лазаревны, бабка Милка посмотрела на Федю озадаченно и уважительно. И когда в комнату снова пришли дети, бабка Милка ничего не сказала.

Метель все мела, поэтому стемнело рано, свет зажгли чуть не с полдня, и было непонятно — поздно или рано. По-видимому, не знала этого толком и Любка, когда ее нерешительные шаги зашаркали за дверью. Потоптавшись за дверью и прислушавшись, она тихо и очень медленно открыла дверь и шепотом сказала Милке, которую увидела первой:

— Инженера привела.

Она была очень пьяна, еле держалась на ногах. За ней появилось маленькое личико с усиками, в инженерской фуражке.

В следующее мгновенье Любка увидела Федю и детей, наклонившихся над столом, где он что-то рисовал для них. Увидев Федю, Любка поразилась. То ли она забыла о нем, то ли не думала, что он задержится так поздно. Может быть, ее изумила больше всего та поза, в которой сидели рядом Федя и Костя, та близость, которая чувствовалась между ними — до того, что они казались похожими друг на друга; во всяком случае их глаза смотрели с одинаковым выражением.

Инженер, увидев мужчину и детей, страшно испугался и отпрянул от двери. Однако Любка уже оправилась и, схватив его за рукав, потащила в комнату.

— Заходи, заходи, не бойся, — сказала она не очень уверенно.

— Я приехал издалека, — забормотал инженер извиняющимся голосом, знакомых нет…

В руках у него был портфель. Он положил портфель на стол, вынул оттуда две бутылки и не без подобострастия поставил их

на стол перед Федей.

— Выпьем, а?! — воскликнула Любка, тревожно глядя то на Федю, то на инженера. — Вот видишь… Рябиновая настойка и пшеничная водка. Ты что больше любишь, рябиновую или пшеничную? — Не получив ответа на свой вопрос, она злобно сказала: — А вы чего тут сидите, пялитесь? Марш отсюда! — Дети мигом хлынули к двери и исчезли. — И ты, — сказала Любка после паузы, подняв глаза на инженера. — И ты тоже. Иди себе.

Она взяла бутылки и сунула их обратно в инженерский портфель. Закрыв портфель, она отдала его инженеру в руки, надела на него фуражку, которую он снял было, и выпроводила, не говоря ни слова, по коридору на кухню. Ее каблучки, за минуту до того робко скользившие возле двери, теперь решительно стучали по коридору. Она вернулась, молча сняла свою жакетку с лисой, послушала, что говорят между собой Федя и Костя, умилилась, всплакнула быстро и бурно, вытерла глаза, засмеялась и сказала:

— На черта он мне сдался… Просто ему деться некуда… коек в гостинице нет. А вы, Вася, чай пили? Костя, ты Васю чаем угощал?

— Меня зовут Федором, — сказал Федя.

— Ты же сказал Василием, — произнесла она смущенно.

— Нет.

Она помолчала, потом раскрыла свою сумку и вынула из нее завернутые в бумажные салфетки котлеты, жареную картошку и несколько конфет. Она все это положила на стол, потом постояла минуту молча и проговорила:

— Отец наш погиб на гражданской войне. Мама умерла от тифа.

Костя сказал угрюмо:

— Врет.

Любка кротко промолчала, потом стала стелить постели. Себе она постелила за занавеской на Костино место, а Феде и Косте велела лечь на кровати.

Наутро, когда все спали, Любка ушла на базар.

Чем ближе время подходило к вечеру, тем беспокойнее становилось на душе у Феди. Костя заметил его состояние и, тревожно глядя издали на Федю, с замиранием сердца ожидал того мгновенья, когда его новый друг наконец встанет и скажет те слова, которые говорил уже не раз, но которые, как Костя чувствовал, могут теперь оказаться окончательными.

— Ну, мне пора.

Взгляд у Феди стал отсутствующим и пустым, и Костя видел, что его новый друг думает о чем-то далеком и полон равнодушия

к этой комнате и к самому Косте — даже когда его взгляд скользил по лицу Кости, лицо его не выражало никаких чувств, никакой сдержанной ласки, той сдержанной ласковости и мужского взаимопонимания, которые сразу и навсегда приворожили Костю.

Любка, та, напротив, не чувствовала ничего. Она возилась на кухне, готовя обед, с подчеркнутой независимостью топала каблучками по коридору туда и обратно, на кухне вела себя без обычной своей робости, прикрывающейся напускным нахальством. Она довольно бесцеремонно обращалась даже к Полине Марковне, всеми уважаемой даме из третьей квартиры, служившей в Моссовете, и даже несколько высокомерно — к Валькиной маме, Евдокии Степановне. В обычное время эти женщины не стали бы разговаривать с Любкой, а тем более занимать ей соль и лук. Теперь же они с ней разговаривали, как с равной, так как здесь, на кухне, как бы незримо присутствовал высокий мрачноватый, но, несомненно, интеллигентный и умный парень, очаровавший всех детей в коридоре и совершенно не похожий на обычных посетителей Любки. Он как бы незримо защищал ее от оскорблений; его светлые глаза под темными бровями, смотревшие с каким-то загадочным выражением, как бы смотрели через весь коридор в эту кухню, похожую на маленький заводик, полную шипения, пыхтения и клубов пара. Простоволосые ведьмы стояли каждая у своего примуса и мокрыми красными руками что-то резали, чистили, мыли, месили. И впервые Любка находила во всем этом интерес и, чувствуя себя равной со всеми, преисполнилась симпатии ко всем другим женщинам, которые были ей еще вчера ненавистны, и усердия к кухонному труду, который тоже еще вчера был ей в тягость, казался унизительным и ничтожным.

Но вот, забежав на минуту в комнату для того, чтобы взять макароны, тоже купленные ею сегодня на базаре, она увидела, что Федя надевает полушубок.

— Мне пора, — сказал он.

Он одевался быстро, и Костя понимал, что никакие упрашивания здесь больше помочь не могут. Поняла это и Любка. Но она ничего не сказала, только положила кулек с макаронами обратно на стол.

— А обедать не будете? — спросила она спустя минуту, когда он уже направился к выходу.

— Нет, — сказал он рассеянно. — До свидания.

Она пошла следом за ним, неизвестно зачем, так они прошли по коридору, затем по кухне. Когда он открыл входную дверь и ушел, она осталась посреди кухни, затем подошла к своему

примусу, некоторое время бессмысленно смотрела на пар, вырывающийся из кастрюли.

— У вас суп выкипает, — заметила соседка.

— Ну и х… с ним, — спокойно сказала Любка, потушила примус и ушла.

XII

Снова над Федей кружила неугомонившаяся вьюга, и вскоре он был весь белый, как и редкие прохожие, иногда попадавшиеся на его пути.

Было уже довольно темно, но еще, по-видимому, рано. Но Федя решил пойти в Померанцев к Полетаевым и уже там, возле их дома, где-нибудь рядом час или полтора постоять или походить, чтобы не прийти к ним раньше всех.

Однако, очутившись на Остоженке, он поскользнулся левой ногой, и, еле удержав равновесие, остановился, и вспомнил, что это считается дурной приметой. Он подумал о том, что никогда не верил в приметы, с самого раннего детства, и вот теперь вдруг поверил в них. Но, посмеявшись над собой, он тем не менее все еще не решался идти дальше, так как понимал, что в сущности ему нечего делать в доме старого коммуниста-академика, ему — кулацкому сыну.

Но его тянуло туда. Он пошел дальше, миновал Померанцев, добрался до Крымской площади, решил уже свернуть направо, но не смог совладать с собой и вернулся обратно: в последний момент, когда он окончательно решил не ходить к Полетаевым, его заставила изменить свое намерение новая мысль, показавшаяся ему очень здравой и верной. Он подумал, что может рассказать Виктору Васильевичу, отцу Аркадия и Киры, свое горе, рассказать ему, посоветоваться с ним как со старшим товарищем.

"Посоветоваться со старшим товарищем". Как только эта мысль вылилась в такую уже многократно произнесенную фразу, так она стала казаться очень простой, удобной и неопровержимой. Она входила в комсомольскую терминологию, позабытую было Федей за эти дни, теперь она, осторожно отряхиваясь от потрясений, как бы встала на ноги, ожила, даже замахала крылышками.

Нет, Федя не собирался просить Виктора Васильевича о заступничестве перед, например, председателем ЦКК-РКИ Орджоникидзе, с которым Виктор Васильевич был близко и издавна знаком, или перед другими вождями партии, с которыми старик Петров-Полетаев со многими был в дружеских отношениях. Федя хорошо усвоил старый партийный принцип презрения, даже ненависти к достижению каких-либо целей путем

личных знакомств и считал неблагородным воспользоваться случайным знакомством с Петровым-Полетаевым. Но надежда на чудо жила в нем. И когда этой надежде пришла на помощь комсомольская терминология ("посоветоваться со старшим товарищем"), Федя решился и завернул в Померанцев переулок.

Дверь в квартиру Петровых-Полетаевых была, как обычно, не заперта. Федя постоял у двери, прислушиваясь, и ему казалось, что он, как вор, хочет проникнуть в место, где не имеет права быть, что он обманщик, принявший чужую личину для того, чтобы сюда прийти. Он толкнул дверь. В прихожей было полутемно, верхней одежды на вешалке было совсем мало: видно, гости еще не пришли. Из дальних комнат слышались негромкие спокойные голоса.

Федя долго стоял в полутьме прихожей, не осмеливаясь сделать шаг вперед и не решаясь уйти. От чужих пальто пахло сложными запахами: мехом, телом, лекарством, снегом, духами или, если дать им истолкование, спокойствием, благополучием, счастьем. Так казалось Феде в эти минуты, когда он впервые в жизни почувствовал раздвоенность бытия и трагедию своего существования.

Тут раскрылась дверь, послышались легкие шаги, потом раздался испуганный голос Киры:

— Ой, тут кто-то есть!

— Это я, — сказал Федя.

— Федя! — воскликнула Кира и втащила его в ее маленькую комнатку возле вешалки. Здесь было почти совсем темно: метель залепила окно и все лепила и лепила его. Кира зажгла свет, и метель словно исчезла, утонула во мраке.

— Поздравляю, — сказал Федя, бросив на Киру взгляд исподлобья.

Она же ничего не сказала, только махнула рукой не то презрительно, не то горестно.

— День рожденья — буржуазный предрассудок, — произнесла она наконец насмешливо.

Видимо, он был занят собой и не улавливал переходов в ее настроении: он только смотрел на нее, видел ее тонкую фигуру, темные блестящие волосы до плеч и очки, за которыми большие светлые глаза всегда смотрели пристально и смущали людей даже очень взрослых и самоуверенных. Очки на ее юном лице были неожиданны и как бы неуместны, но в то же время придавали глазам Киры особую притягательную силу — подобно тому, как покров, одежда, скрывая тело, делает его еще более желанным.

Кира смотрела на Федю так проникновенно, так печально и

насмешливо, что Федя одно мгновенье думал, что здесь, у Полетаевых, уже известно о постигшей его катастрофе, и он испытал унизительный страх и стыд. Но тут же оказалось, что непривычно горестный взгляд Киры связан с ее собственными переживаниями. Она стала рассказывать жалобным голосом о том, что нынешний день рожденья сорвался, не состоится, так как папа поссорился с ней — "и, кажется, навсегда". Сегодня утром Кира, "совсем даже в шутку", как она выразилась, "просто для интересу", намазалась губной помадой парижской, которую папа привез на днях из Парижа в подарок своей жене.

— Что было с папой! — сказала Кира, усмехнувшись. — Он побледнел как мертвец и стал говорить, говорить, говорить. Начал с матери братьев Гракхов и кончил Кларой Цеткин и Надеждой Константиновной Крупской. А твой дружок Аркаша подбрасывал хворосту в костер, — Кира надменно вздернула подбородок. — Все меня учат. И хоть бы я промолчала… Но я имела глупость спросить папу: "А почему ты бросил маму, которая вся сплошной положительный пример, и женился на Маше, которая — вся сплошной отрицательный?.." На это он, конечно, не смог ответить. Он только швырнул об пол вазу для цветов, разбил ее и сказал, что не будет у меня на именинах, и что вообще никаких именин не будет, тем более, что именины тоже пережитки старого мира, как и губная помада и вообще все на свете, кроме ударных бригад и непрерывной недели!

Пока Кира выкладывала ему свое горе, Федя почувствовал себя необыкновенно усталым и сел, как был в полушубке, на край кровати. А она, рассказывая — то жалобно, то иронически, то со слезами, то с язвительным смехом, — не понимала выражения его лица и принимала его печаль за сочувствие ее горю и закончила неожиданно:

— Ты лучше всех, Федя… Ты ведь меня не осуждаешь, правда? Ты не ханжа ведь, верно? — Она нагнулась и поцеловала его — вернее, обслюнила сладкой слюной висок и бровь и затем, прислушавшись, зашептала: — Он уходит… Пойдем, Федя. Он тебя уважает. Считает тебя человеком, как он выражается, «дельным»… Особенно с тех пор, как он узнал, что ты можешь сложить печку, он в тебе души не чает.

Федя встал и вышел вслед за ней в прихожую.

Виктор Васильевич уже надевал шубу.

— Папа, Федя пришел, — смиренно сказала Кира.

— Пролетарское студенчество, как всегда, в авангарде, — пробасил Виктор Васильевич вовсе не сердито, а, наоборот, гостеприимно и ласково, как всегда. Он уже жалел о размолвке с Кирой в день ее рождения, воспоминания о детстве Киры,

несмотря на раздражение, смягчили его сердце. Кира родилась в 1913 году в городе Париже, в XXIV арондисмане, на улице парка Монсури; в предместье Сен-Жак обычно селились русские эмигранты. Неподалеку, на улице Мари-Роз, жил Ленин, он уехал раньше рождения Киры, но когда она родилась, прислал из Кракова поздравления; Раиса Самойловна, беременная Кирой, полдня просиживала в парке Монсури возле пруда. Иногда Ленин, приходивший туда с книгами и тетрадками, а порой и без всякой работы, просто для отдыха, садился рядом с ней. Тут он никогда не разговаривал о политике и о делах, а больше о деревьях и цветах — Раиса Самойловна была естественницей по образованию. Эти воспоминания и вообще картины довоенного Парижа, любимого города Виктора Васильевича, связанные с рождением и ранним детством Киры, смягчили его, а приход Феди создал возможность для отступления и примирения — разумеется, оно должно было состояться на некоторых условиях, которые Виктор Васильевич чуть ли не весь день втайне вырабатывал, хотя в глубине души порой сознавал свое бессилие.

Не снимая шубы, он завел Федю в столовую, Кира с притворной робостью последовала за ними — в душе она ликовала.

— Пролетарское студенчество голодное, — продолжал Виктор Васильевич, смеясь и глядя на Федю поверх пенсне. — Накормите Федю Ошкуркина обязательно. А то гости начнут съезжаться поздно, а он будет тут пялить глаза на закуски… Я это помню по своей молодости. Когда учился в Юрьевском университете и меня приглашали в богатый дом, где я репетировал молодого кретина… я постарел от долгого и напрасного глазения на вкусную снедь.

Он повернулся к вошедшим из другой комнаты двум женщинам — Марии Христофоровне, или Маше, как ее все называли, жене Виктора Васильевича, и Раисе Самойловне — его первой жене, с которой он разошелся несколько лет назад, она жила отдельно, но приходила часто к детям в Померанцев.

Федю с его остатками деревенских представлений о жизни удивляли и несколько шокировали взаимоотношения в семье Виктора Васильевича. Раиса Самойловна, старая большевичка, работник ЦКК-РКИ, сохраняла со своим прежним мужем дружеские отношения с оттенком снисходительности и насмешки. Кира жила вначале с матерью, но Раиса Самойловна, человек занятой, проводившая дни и ночи на работе, вскоре привела Киру к отцу; к тому времени мать Киры уже присмотрелась к Маше, та ей понравилась, и она решила, что Кире будет у отца лучше.

— Она халда, — говорила про Машу Раиса Самойловна, — но в ней что-то есть.

Маша — большая, красивая, неопрятная, — целые дни курила, и писала коричневые, словно загоревшие на солнце пейзажи и разные фрукты, в квартире все пропахло маслом и красками, на всех столах и часто на полу валялись гниющие груши, заплесневелый виноград и высохшие до размеров грецкого ореха лимоны. Маша все время куталась в огромный цветастый цыганский платок, казалось, что она дома в гостях.

— Вернусь я часа через два, продолжал В[иктор] В[асильевич]. На радиостанции имени Попова в восемнадцать тридцать моя лекция о новом быте и социалистических городах. От антирелигиозной лекции в Замоскворецком райкоме меня обещали освободить в связи с семейным торжеством.

Раиса Самойловна подошла к буфету, где стоял привезенный на днях Виктором Васильевичем из Франции сервиз с тончайшими (чашками,) раскрашенными пастушками и пастушками, придворными дамами и кавалерами. Она взяла в руку одну из чашек и желчно усмехнулась:

— Лекции о новом быте ты читаешь, товарищ Петров-Полетаев. Но сам ты что-то слишком красиво живешь…

Виктор Васильевич ответил с легкой иронией:

— Не волнуйся, товарищ Петрова… Мировую революцию за фарфор не продадим.

— А не продали еще?

— Не продали.

— Что ж, хорошо, — сказала она кротко и поставила чашку обратно на блюдце. Ее суровые глаза за стеклами пенсне смягчились, стали совсем добрыми.

Федя пошел провожать Виктора Васильевича к автомобилю. По дороге, на лестнице, Виктор Васильевич как бы прорепетировал предстоящую лекцию, набросав перед Федей основные тезисы: надо строить большие блоки с общей кухней и столовой, с яслями и детским садом, это должна быть коммуна, но не на двадцать или сорок человек, для которых создавать детские учреждения и учреждения общественного питания невыгодно, а на четыре — шесть тысяч. Никаких кухонь в семьях. Личным имуществом должны быть только зубные щетки. Дети должны с грудного возраста воспитываться в яслях — "смешной термин, происходящий, как ни странно, от яслей, где родился наш спаситель Иисус Христос, теперь это стало вполне социалистическим термином" — без участия родителей, которые, если родительские чувства их не атрофированы, могут брать к себе ребенка на выходной день…

Автомобиль уже был совсем белый от снега. Когда Виктор Васильевич захлопнул за собой дверцу, со всех сторон посыпался снег. Машина завелась не сразу, ей как будто было тяжело или холодно завестись под снегом. Пока она заводилась и глохла, Виктор Васильевич смотрел из окошка на Федю, а Федя смотрел на него, на его доброе большое лицо с темной бородкой и усами и думал о том, что это стекло, разъединяющее их, только мельчайшая доля всего того, что их разделяет теперь и через что невозможно перешагнуть.

Автомобиль отъехал, а на том месте, где он стоял, на снегу осталась только легкая черта и желтизна. Но Федя все стоял и думал: идти ли обратно в дом или уйти. Он все-таки вернулся и даже помогал Кире и Маше приносить что-то из кухни в столовую, носить стулья, что-то отвечал им на вопросы, а потом, когда пришел Аркадий, они о чем-то разговаривали в кабинете Виктора Васильевича среди тысяч книг, — но что он говорил и на что отвечал, Федя мог бы вспомнить только с некоторым трудом уже через минуту после сказанных слов.

Между тем начали съезжаться гости. Столовая и кабинет, комната Маши, вся обвешанная холстами с этюдами, и комнатушка Киры понемногу заполнялись людьми. Общество у Виктора Васильевича собиралось самое разнообразное. За тринадцать лет советской власти Петрова-Полетаева перебрасывали с работы на работу; при своей доброжелательности, обаянии и широкой образованности он всюду заводил себе друзей. Во время гражданской войны он работал в политических органах Красной Армии, затем в Наркомпросе, затем Наркоминделе, снова в Наркомпросе, в «Правде», преподавал в Институте красной профессуры. Соответственно в гости к нему пришли военные, дипломаты, композиторы, писатели и артисты, партийные работники, слушавшие его лекции в Свердловском университете и ИКП, и, наконец, художники друзья Маши и несколько сотрудников ЦКК — товарищи по службе Раисы Самойловны. Были здесь и несколько студентов, друзей Аркадия, в том числе Готлиб и Федя, и подружки Киры по школе. Но те и другие держались скромно, в стороне, пялили глаза из темных уголков на московских светил, сидевших, ходивших по комнатам, оживленных и зевающих.

Отсутствие Виктора Васильевича не смутило гостей: с ним это бывало часто — созовет гостей, а сам опоздает на час — на два, но тем не менее, поскольку не было того центра, который объединил бы всех за столом, гости разбились на отдельные кучки, группирующиеся вокруг того или иного наиболее интересного или наиболее активного человека.

В кабинете, у письменного стола Виктора Васильевича, много народу окружило комкора Орешко, только что приехавшего с Дальнего Востока, где он участвовал в боевых действиях в связи с конфликтом на КВЖД. Этот конфликт — первая проба сил Красной Армии после гражданской войны — был теперь у всех на устах. Конфликт кончился быстрой и решительной победой Красной Армии, а быстрота и решительность победы, по-видимому, имели в настоящий момент особое значение: они послужили предупреждением не только китайцам.

Комкор Орешко рассказал о ходе операции под Санчагоу, которая кончилась окружением и пленением почти стотысячной армии генерала Ляна.

И вот на зеленом письменном столе Петрова-Полетаева командир корпуса изобразил ход операции перед склонившимися над столом сугубо штатскими в своем большинстве людьми. И так как он обладал талантом живописания словом, а в помощь слову привлекал то спичечную коробку, то чернильницу, то карандаш, то жест большой руки — большой, короткопалой, поросшей русыми волосками, красной на фоне яркого света настольной лампы и смуглой, когда она выносилась из-под света лампы, когда Иван Трофимович Орешко, сам восторгаясь и желая, чтобы восторгались другие, разводил руки вширь на уровень своих плеч, как дирижер, вытягивающий из своего оркестра «престо» и «фортиссимо».

Когда он для изображения станции клал на зеленое сукно спичечный коробок, а для изображения железной дороги или реки — карандаш или линейку, то казалось, что настоящие поезда, гудя, несутся мимо настоящих станций, и, когда он левой пятерней не спеша проводил по столу полукруг и останавливался у корешка книги, изображавшей город, то казалось, что видишь верховых красноармейцев конного полка, зашедших в тыл белокитайцам; пальцы, замерев возле книги, начинали постукивать нервно и быстро по сукну, как сдерживаемые кони копытами.

— Я все никак не мог понять, — сказал он внезапно, отстраняя от себя папиросные и спичечные коробки, книги, линейки и резинки и усаживаясь мальчишеским движением на угол стола, — почему китайские солдаты, попадающие к нам в плен, часто пытаются кончить самоубийством. Откуда страх у них. Тогда я велел принести агитационную литературу, которую распространяли среди китайцев. Что там только не писали! Китайские генералы раскопали историю о том, как в Амуре в девятисотые годы потопили две тысячи китайских рабочих… И еще каких только историй не раскопали или не придумали!

Пришлось вместе с политуправлением принять меры, чтобы китайские рабочие и крестьяне отличали как-нибудь царскую власть от нашей рабоче-крестьянской… И надо сказать, что наши красноармейцы и краснофлотцы показали высший класс пролетарской солидарности. Китайским пленным первым отдавали обед, обувь, им раньше, чем нашим солдатам, перевязывали раны. Наши отдавали им последний свой табак. Даже табак! Сахар им давали. Они сахар особенно любили — редко его видят. На китайцев особенное впечатление, кроме сахара и табака, производили товарищеские взаимоотношения между нашим начальствующим и красноармейским составом. Они были удивлены и обрадованы. Говорили: "Шибко шанго красный капитан, наша капитана не шанго, наша капитана бьет, рубит голову, наша буржуя не шанго…"

Густой голос комкора, подражая китайцам, внезапно стал тонким и слегка медоточивым, большое, чуть рябое лицо с темными усами чуть сморщилось.

— Вы настоящий артист! — не удержался от похвалы народный артист Таланов, седой красавец с бархатным голосом, известным всей России.

(2-я половина июня 1961 г.)

В наше время молодые люди созревают поздно. Это многими замечено, но никем не объяснено. Полагаю, что причины таковы:

1. Мир сложнее во сто крат, и постигнуть его сложности во сто крат труднее.

Во времена Веневитинова и Пушкина из обихода молодых людей были исключены тома представлений технического и научного порядка. Воспитание ограничивалось гуманистическими навыками, религией, чувствами.

2. Молодого человека политика как таковая непосредственно не затрагивала. О классовой борьбе он ровно ничего не знал. Круг его знакомств ограничивался сословием, в котором он состоял.

13.8.61. Паланга.

Уже 8 дней, как я здесь. Ничего не пишу, не записываю даже. Много хожу и гляжу на море. Оно обладает дивным даром обрывать, рассеивать все мысли.

15. VIII.61.

О б я з а т е л ь н о к собранию сочинений — если оно выйдет дополнить "Дом на площади" продолжением рассказа о "шести солдатах" путем писем: во 2-й части — три письма, в третьей — три письма (вразброс); письма из России о жизни в городе (Атабеков), о деревне (Петухов) и из Германии в ответ (Небаба, Веретенников), о Германии, Лубенцове, тоске по родине, сравнение уровня жизни и прочее; мысли о будущем, тревога за

умонастроение немцев.

(1961 г.)

(К "МОСКОВСКОЙ ПОВЕСТИ")

…Некоторые идеологи, сознательно или бессознательно, готовы провозгласить девальвацию, то есть обесценение человеческой жизни — каждой в отдельности. В этом особенно заинтересованы диктаторы, считающие возможным объявить каждого человека винтиком огромной машины, которой управляет и которую регулирует якобы только он один, сам диктатор. Обесценение жизни маленьких людей увеличивало цену жизни и судьбу людей «больших», то есть захвативших много места, много благ и много влияния на общие дела своих народов.

После падения диктаторских режимов важнее всего теперь восстановить цену любой человеческой жизни, любой судьбы.

Вот я выхожу на улицу и вижу перед собой огромные толпы снующих туда и обратно вкривь и вкось людей. Это ужасно, если я буду относиться к ним как к быдлу, как к безликой толпе. Напротив, я стараюсь найти в каждом человеке его характер, его отдельную судьбу. Вот этот старичок с авоськой в руке, из которой торчит хлеб и пучок редиски, — я узнал его вдруг — врач из той больницы, где я лежал. И в связи с тем, что я узнал его, я вспоминаю все, с ним связанное, вспоминаю, сколько людей он успокоил, утешил и просто спас, слышу его властный и в то же время ласковый голос, вижу его на обходе, вижу десятки устремленных на него глаз, полных надежды и преклонения. Поистине — это человек, царь природы, существо, полное значения и смысла. И вот я вижу старушку. Это няня из той больницы, где я лежал. Что она такое? Идет себе старушка по тротуару, песчинка в бесчисленной массе таких, как она, ничтожество на взгляд высокомерного седока автомобиля или тщеславного исторического лица. Между тем она способна делать и действительно делает столько добра, она является источником радости и надежды для многих людей. Ее руки, имеющие талант облегчить людям страдания, эти простые красные руки, умеющие взбивать подушку, помочь бессильному делать то, чего он не мог бы без нее, ее ворчливый голос, ее уменье скрывать свою маленькую корысть, вызванную нуждой, а не дурным характером, за словами, полными поддельной заботы и ласки, — все это нужно людям как воздух, которым они дышат. Да, думаю я, это человек, царь природы, существо, приручившее сокола и покорившее слона, добившееся, чтобы от земли оторвался и ушел в воздух аппарат, который тяжелее воздуха, сумевший на дощатых скорлупках переплыть океаны и измерить пространство

между звездами.

Оттого, что я узнал в этих двух людях в течение получаса знакомых мне людей, я посмотрел другими глазами и на других людей, шедших рядом с ними, но знакомых другим людям, и понял, что нет среди них ни одного, который не был бы полезен окружающим или который не мог бы стать полезным, если бы не обстоятельства, злой рок или злые люди, каждый из которых тоже зол не от рождения, а от обстоятельств, простых и страшных в своей простоте.

Так что повесть моя не только о поэте, и не столько о поэте, его таланте, его удивительном даре, сколько о самом простом человеческом таланте, о таланте быть человеком. Вот этот талант надо ценить и беречь. Для этого теперь пришла пора, и если мы теперь этого добиться не сможем, мы проиграли великую битву за будущее человечества, и будем отброшены на столетия назад, чтобы затем снова, ценой морей крови, океанов страданий, начать путь сначала. И хорошо, если наш опыт будет учтен — но ведь может получиться, что человечество опять будет ощупью в кромешной темноте искать путь в будущее.

(8–9 сентября 1961 г., Париж.)

8 сентября я вылетел в Париж. В 9 утра по парижскому времени.

8. IX за день я проделал пешком по Парижу около 30 км. С площади Лафайетт по б. бульварам, затем к Лувру, Тюильри, на пл. Согласия, к пл. Звезды, по ав[еню] Иена к Трокадеро (дворцу Шайо), к Эйфелевой башне, по свят. Доминик, набережным и обратно домой. Нет почти такой улицы, площади, набережной, где не хотелось бы жить или хотя бы гулять.

В одном из бесчисленных кафе сидел человек с девушкой и зевал. И я подумал с безмерным удивлением: "Ты живешь в Париже и зеваешь?" Город рабочий, служащий, трудовой, толпа не нарядная, только очень пестрая. Она — спокойная, нешумливая, неназойливая, у нее внимательные, немного печальные глаза. Она столичная, т. е. не глазеет на тебя и ни на кого, а ведет себя естественно — так, словно она одна.

Память Парижа — большая, глубокая, не ограниченная своим брюхом или своим островом, как Лондон. Она — в названиях улиц и площадей, «беспартийных» названиях, впитывающих весь пестрый мир Европы, а иногда Америки, Африки и Азии. Франция может захиреть, — Париж будет жить, ибо он Европа. Герцен, Гейне, Хемингуэй. Впрочем — хвалить Париж — пошлость. Кто не хвалил Парижа?

Дом Инвалидов. Гробница Наполеона. Маленький итальянец. Маленький грузин.

(Сентябрь 1961 г., Франция.)

О, поля Нормандии, огороженные живыми изгородями, желтеющими в сентябре! О, это олицетворение частной собственности, поля (не сады!), огороженные как бы крепостными валами. После урожая здесь лежат пятнистые нормандские коровы со скучающими лицами членов президиума. Индейки, величиной со страуса, куры, ростом с гуся!

Деревни, где деревянные только деревья.

О, край Мопассана, пославший своего бедного сына заявить о себе миру, край, давший великих завоевателей и прижимистых торгашей! Север без морозов, край яблок и омаров — сады и море, блондинок-скандинавок и брюнеток-испанок! Одна из колыбелей Британии и (неразборч. слово) Сицилии!

Между тем, как мы ходим, смотрим, радуемся, удивляемся, веселимся и сравниваем, наш руководитель испытывает в одиночестве собственную гамму чувств. Он ходит со скучающим и брюзгливым лицом человека, знающего все наперед: он демонстрирует свое равнодушие к изобилию товаров и к красотам природы. Его равнодушие к товарам до некоторой степени искренне: он часто ездил в заграничные командировки с деньгами, и его жена и сам он перенасыщены заграничными промтоварами. Поэтому он может себе позволить высокомерно посмеиваться над нашими бедными дамами, в первый раз попавшими в этот дамский рай. Его, помимо того, коробит наша независимость. На мне он не может сорвать свою самолюбивую злость, и он поэтому выбирает для этой цели более слабых. Он капризен, как баба, и не умеет разговаривать с человеком.

В Канне нас в гостинице встретили несколько человек из общества "Франция — СССР". Один — поэт, маленький, в очках, с ним жена. Он преподает историю и географию в технологическом колледже, она воспитательница детсада. Человек с усиками — торговец. С ним жена и девочка. Жена происходит из Одессы, еврейка, муж — француз. Они полны любви и уважения к СССР и радуются как дети, получая значки с Гагариным или Титовым. Поэт участвовал в юношеском Сопротивлении и сидел в немецком лагере до 45 года.

Гавр.

Я живу в отеле Марли. Мои окна выходят на улицу Эмиля Золя (…)

Угол улицы Шатильон и Орлеанской — Совет ред[акции] «Пролетария» (полукруглый вход). Июнь 1909.

Площадь Орлеан, 110 — типография ("Социал-демократ" и "Пролетарий").

Спальня. Камин из черного камня с белым зеркалом. Дверь —

окно с решеткой и деревья (деревянные жалюзи).

Вид из окна — садик и стена из камня, за ней — буржуазные домики.

2-й этаж по-франц[узски] (наш 3-й этаж).

Коридорчик (4 двери), слева спальня, маленький ведет на кухню (стенной шкаф).

Рядом — спальня Н. К. Крупской (без окна, между спальней и кабинетом), освещение газовое.

Рабочий кабинет — на ул. Мари-Роз.

Камин каменный мраморный бело-коричневый и зеркало (над ним). Коричневая резьба.

Маленький балкон железный, слева фонарь, железные жалюзи (балкон — он же окно). За углом — рю Саррет.

Потолок с гипсовой лепкой (цветы, виноград, фрукты), темная деревянная панель.

Полы — деревянный паркет.

Дом занимает весь квартал от рю Пер Корантэн до рю Саррет.

Верхний этаж — длинные балконы, над ними — мансарды.

Гулял в парке Монсури, читал газеты. Озера парка.

Столярная мастерская в Лонжюмо, там происходили занятия школы стеклянная стена (галерея рядом с каменным домом).

В. И. жил в деревянном домике.

"Closerie des lilas" (ресторан на бульваре Монпарнас). Ленин там иногда обедал (по свидетельству Поля Фора).

Кухня (окна в садик).

Дом четырехэт[ажный] (кроме нижнего), железные балкончики, железные жалюзи, высокие дымоходы.

(2-я половина сентября 1961 г., Москва.)

Необъятна историческая память Парижа. В названиях его улиц — вся Европа, Азия, Америка, Африка, история и география.

В доме Инвалидов, где лежит маленький итальянец, наложивший такой неповторимый и вечный отпечаток на эту страну (…) Наполеон был деспотом, но деспотом, чуждым коварству. Он прикарманивал чужие страны, но сам при этом рисковал жизнью. Он губил врагов, но ласкал друзей. Он был честолюбив, но не был жесток. Поэтому, несмотря на деспотизм и эгоцентризм необычайный, он был так обаятелен, что покорил Гейне и Пушкина, Лермонтова и Гете, Гюго и Бальзака, Стендаля и Байрона.

6.10.61.

Вышла отдельным (прелестным) изданием "Синяя тетрадь". Скольких трудов и нервов стоила мне эта маленькая синяя книжица. Но она вышла.

11.10.61.

Пьеса "Измена родине". Группа туристов. Напуганный и потому строгий руководитель, глупый и плоский, 25 лет. Изменник — ничтожество, мнящее себя "критически мыслящей личностью". Полный предрассудков, член партии, не понимающий ничего и не разделяющий ни одной из основ партии. Промтовары пленили его. Однако не он один виноват. Виноват многолетний самообман: "они — гибнут, мы — процветаем". Для мелкой души это — решающее. Разочарование. Когда все это случается, остальные мечутся. Что делать? Кому-то удается прорваться к нему, она объясняет ему: что-де мы жертвовали и т. д. "А почему ему это раньше не говорили?" (или, может быть, не пьеса, а повесть? Это было бы удивительно интересно! Основные, главные вопросы современности были бы поставлены во всю ширь.)

14.10.61.

О С-ВЕ И ДРУГИХ

Их объединяет не организация, и не общая идеология, и не общая любовь, и не зависть, а нечто более сильное и глубокое — бездарность. К чему удивляться их круговой поруке, их спаянности, их организованности, их настойчивости? Бездарность — великая цепь, великий тайный орден, франкмассонский знак, который они узнают друг на друге моментально и который их сближает, как старообрядческое двуперстие — раскольников. Бездарность — огромная сила, особенно в нашем мире, который провозгласил счастье и процветание обыкновенных простых людей своей целью. Простых, обыкновенных, не обязательно талантливых и умелых. Наши недостатки суть продолжение наших достоинств; провозгласить процветание всех людей своей целью — достоинство; оно превращается в порок, когда дело касается таланта; ибо это достоинство нашего строя используется Бездарными со всей силой их цепкости и жажды низменных наслаждений, составляющих смысл жизни для Бездарных.

Они сильны, потому что едины, а едины из чувства самосохранения, ибо каждый из них в глубине души знает, что в одиночку он нуль.

24.12.61.

Я. Господи, разве можно так поступать? Дать человеку талант и не дать ему здоровья! Смотри, как мне плохо. А ведь я должен написать свой роман. Кто-кто, а ты ведь знаешь, как это нужно написать.

Бог. Ты напрасно жалуешься. Тебе 48 лет. За это время можно было успеть кое-что, согласись. Приходится еще раз тебе напомнить, что Пушкин, Рафаэль и Моцарт умерли в 37 лет, что многие другие умирали еще раньше, и успевали сделать так

много, что откладывали отпечаток своей личности и своего искусства на целые поколения.

Я. Это… верно, но ты ведь знаешь причины, почему я не смог развернуть свои силы. Ты не можешь не учитывать время, в которое я жил; разруху, голод, многолетнюю жестокую диктатуру. Ты не можешь не знать, что в такие времена вообще, а в наше время в частности, люди рано созревают житейски и поздно — в моральном отношении, что в нашем демократическом обществе — ибо несмотря на диктатуру, общество было и старалось казаться демократическим — знания преподавались односторонне и опыт приобретался односторонний: то, что требуется знать художнику, было в загоне: латынь, Гомер в оригинале, свобода духа. Ты ведь все это знаешь; некоторые даже считают, что именно ты всему этому виновник. Я не стану на тебя взваливать всю ответственность, но знать-то ты должен.

Бог. Все это верно. Но великие тем и отличаются, что даже в труднейшие времена они способны остаться собой и оттиснуть очертания своего лица (или хотя бы ладони) на огромном изменчивом железном лице времени. Раз ты не смог, значит ты не велик. Примирись с этим и не жалуйся.

7.1.62.

Незаметно в русский язык вошло очень умное, емкое, выразительное слово, вначале техническое, затем ставшее психологическим «обтекаемость», «обтекаемый». Какой язык! Какая выразительность!

15.2.62.

ДЕСЯТЬ СТРОК О ГРИНЕ

Он непохож; на всех других. Разве этого мало? Непохож: не потому, что старался быть непохожим, а потому, что иначе не мог. Вероятно, хотел, но не мог.

Почему он был таким, а не другим — это вопрос особый; разрешить загадку Грина — значит разрешить некоторые важные проблемы всей нашей литературы — литературы эпохи великого перелома. Понятие «перелом», кроме всех прочих, переносных, смыслов имеет еще один, совсем прямой, смысл: от глагола «ломать», «переломать». Грина время тоже ломало и переламывало, а он не давался. По мере сил.

Только в процессе деятельности познается человек. Мысль — тоже деятельность. Переживания, сомнения и преодоление их — тоже деятельность.

Обладая властью, весьма заманчиво преувеличивать достоинства своего руководства. Бойтесь этого.

(11–22.3.1962 г.)

1. Аэровокзал и вокзал в Риме.

2. Флоренция. Конгресс. Джанкарло Вигорелли. (…)

Твардовский устал и грустен. Выглядит неважно (…) Говорили с ним о сельском хозяйстве. Ведь он сам был на Пленуме, но впечатления его и заботы полностью совпадают с моими.

Моя гостиница «Риччиоли» — на самом берегу. Мутные воды Арно довольно быстро текут слева направо, и от этого кажется, что я плыву вместе с домом. Напротив — холм Сан-Миннато, кипарисы и оливки, дома с зелеными жалюзи и бурыми черепичными крышами.

Равенна. Чудесная дорога через Аппенинские горы. Фоли. Равенна сама по себе нехороша. Но гробница Галлы Плачидии, чудная церковь с византийскими и римскими мозаиками и баптистерией (все 5–6 веков) поразительны. На обратном пути в горах нас застала снежная буря.

Гробница Данте нехороша, но там лежит все-таки не кто иной, как он. За гробницей висит колокол, отлитый на средства всех муниципалитетов Италии; каждый день в час заката он бьет 13 раз: 13 числа Данте умер (1321 г. какого месяца?).

Вчера в автобусе из гостиницы «Минерва» в кинотеатр Андронников сказал Хикмету, что я здесь. Хикмет вдруг встал (они сидели впереди) и прошел ко мне и сказал: "Я старый глупый турок. Простите меня. У меня склероз. Я слышал, что вы приедете, и все спрашивал о вас. А когда вы приехали, я не понял, что это вы, — человек, которого я люблю". Он расцеловался со мной. Он был очень растроган, я — смущен, и мне было неловко перед другими за то, что меня любят. После кино Хикмет зазвал нас выпить. Мы разговаривали до 1 ч. ночи. Он иногда смотрел на меня с любопытством.

(…) После этого мы ушли к себе в гостиницу через ночную Флоренцию.

Здесь я неожиданно услышал через стенку голос Твардовского. Я зашел к Винокурову и Вознесенскому. Там были три итальянца, Твардовский, оба поэта молодых, (…) Ирина Огородникова и русская жена итальянца Страды — Клара. (…) Мы много пели. Перед уходом (в 4 ч. утра) итальянцы сказали: "Мы тут говорили между собой: разве мыслимо, чтобы изв[естные] итальянские писатели: Моравиа, Пратолини или др., приехав в Ленинград, сидели с русскими и пели до утра!"

Клара — жена Витторио Страда, русская. Она здесь 1 г. 4 мес. Ее тоска по родине доходит до истерии. Она не отходила от нас. Она смотрела на нас — как Мария на младенца — любовно и тревожно. В конце концов она убежит.

20.3.62, Рим.

Я пишу это в ресторане гостиницы «Империо» на Виа Виминале. Я ужинаю один. Я одинок после двух недель беспрерывного нахождения на людях. Все ушли на прием в посольство, а я не пошел, сослался на болезнь (живот!). И очень доволен. Хорошее тихое настроение. Ужасно надоела суета (…)

1. IV.62.

В «Знамени» напечатана статья Ф. Левина "При свете дня". Странный метод! Защищать Ольгу Петровну вздумал! Будто кто-то ее обвиняет. Да хотя бы и обвинял — как можно защищать беспамятность и душевную черствость. Будто у нас нет таких женщин? Такие есть. Единственный упрек, который критик имеет право и обязан предъявить автору, это: выдуманность, нежизненность героя или ситуации. Но раз не выдуман, он существует, и ситуация тоже жизненная, как может критик возражать? Это глупо.

1944

Рассказ об операции «В». В 1944 г. наши захватили в заволжской степи трех немецких шпионов с рацией, спущенных с самолета. У них узнали шифры и стали держать связь с Берлином. По указанию наших немцы прислали новый стратег[ический] бомбардировщик «Ю-124» (?) с большим к[оличест]вом взрывчатки. Из Москвы туда отправили три батальона войск НКВД и оперативную группу, на посадочной площадке прорыли длинную траншею, накрыли ее дерном, выложили огни и стали ждать.

Самолет сел, одно его колесо попало в траншею. Страшный гул моторов. Все бросились к самолету. Оттуда — стрельба из пулеметов. Убили человек 9. Взрыв на самолете: это была взорвана самолетная рация (новейшего типа). Затем полковник — командир самолета — застрелился. Остальные 4 кинулись вниз в траншею, и вскоре сдались. Летчик был убит. Захватили самолет новейшей конструкции. Если бы выдержали нервы — всё захватили бы целиком.

30. VI.1962 г.

(В Кунцевской больнице.)

В голове что-то явственно поворачивается, и я явственно слышу вопросы то басом, то детскими голосами — краткие, быстрые. "Цедалкитамо. Ой-ой-ой". И другие.

1. VII.1962 г.

(В Кунцевской больнице.)

Два заглавия. Первое для книги: "Человек и его страдания", если я смогу ее написать, и второе — для части о старшем Ловейко: "Левая губерния".

3. VII.1962 г.

(В больнице.)

Когда я что-то говорю и меня понимают, — меня это удивляет. Это к ощущениям больного человека. головой — диктовать хотя бы.

(4.VII.1962 г.)

Выяснить, когда был отменен партмаксимум и каким образом: решением или как-нибудь иначе.

Во время бреда — стихи:

Шепот в Ваганьково и в Новодевичьем:

Ну, что же медлят там с Казакевичем?

(Август 1962 г.)

(…) Большинство человечества, подчиняясь укоренившимся инстинктам самым элементарным, но самым сильным — заботе о

собственном благополучии и продолжении рода — считают стремление к собственности естественным состоянием человека, а заботу о других — довеском, украшением, весьма приятным для самолюбия, но не обязательным в жизни (…) Бороться за лозунг коллективизма, социализма трудное дело.

18 сентября 1962 г.

Таганская больница.

Если я все это превозмогу, надо написать маленькую повесть о чувствах одного хирурга — со всеми подробностями, разумеется. Это дает такой материал — социальный, бытовой и лирический, что, пожалуй, не с чем сравнивать. При этом я смогу описать это с точек зрения самого хирурга, больных, их родственников, обслуживающего персонала — сестер и няней, других врачей, выше и низке поставленных. Такая многозначительная вязь! Дает возможности необыкновенные. Я к ней совсем готов уже. Правда, нужна одна малость — чтобы болезнь отступила.

Тут может быть еще один роман мирового масштаба, вроде Фауста и Маргариты или Отелло и Дездемоны: молодой врач и молодая сестра, пожилой врач и молодая пациентка.

Ох, когда я уже смогу владеть своими конечностями, чтобы писать! И головой — диктовать хотя бы.

КОММЕНТАРИИ (*Л. Гладковская*)

Из дневников и записных книжек. — Впервые посмертно (фрагменты): Вопросы литературы, 1963, № 6 ("Из дневника и писем") и 1964, № 9 ("Из дневников и писем"); Литературная газета, 1973, 28 февраля ("Различать великое в малом. Из записных книжек"). В настоящем томе представлены наиболее полно — с января 1948 года, когда Казакевич начал делать записи, до сентября последнего года жизни. Иначе говоря дневники охватывают период всей послевоенной литературной деятельности писателя.

Записи не были ежедневными, но делались регулярно, с небольшими, редкими промежутками. Они не предназначались для публикации, не подвергались обработке. Разноплановость и разнохарактерность записей, сделанных даже в один и тот же день, говорит о их «первозданности». Не видно какой-либо особой заботы о композиции или стиле. Это записи для себя. Казакевичу хочется побыстрее зафиксировать впечатления от встреченного, увиденного, прочитанного, запечатлеть заинтересовавший факт, сформулировать внезапно осенившую мысль или выстраданную идею. Дневник стал для писателя своеобразной опорой, позволял сосредоточиться на планах, замыслах, прочертить близкую или более отдаленную перспективу работы, осмыслить сделанное, определить задачу на будущее. Вместе с тем это проза, которую интересно читать. В ней отчетливо выразилась личность автора, его искренность, самокритичность, способность к самоконтролю, его симпатии и антипатии, устремленность его интересов, его эмоциональный мир, склад его ума, — все, что может сблизить читателя с художником.

Круг тем широк. Казакевич много думает о влиянии общественной жизни, характера времени на писательский труд. Его волнуют судьбы тех художников, у которых были непростые отношения со временем. Размышления о власти его над художником и об обязанностях последнего перед ним, о трудностях постижения современной жизни с близкого расстояния человеком, являющимся и сыном и невольником своей эпохи, не были отвлеченными, они для Казакевича актуальны и подсказаны собственной работой, в частности, сложными отношениями с критикой.

Писатель убежден в силе искусства слова, у него есть здесь свои небожители, свое представление о вершинах, о их загадочности. Одна из них — Шекспир. Писатель предлагает собственную версию разгадки. Аргументов для нее немного, но

попытка проникнуть в тайну интересна.

Вместе с тем великие загадки не мешают будничным литературным заботам, которые то и дело заставляют втягиваться в обсуждение дискуссионных проблем: положительного героя, сатиры, типического, бесконфликтности, художественной правды, шире — отношений литературы с действительностью. Казакевич специально не занимается разработкой теоретических проблем, его суждения конкретны, но нередко направлены против теоретического упрощенчества.

Дневниковые записи дают многочисленные подтверждения разносторонности эстетических интересов писателя. Заметки, сделанные во время поездок в Италию, во Францию, в скандинавские страны, отражают не только естественное внимание к политическим, культурным, бытовым особенностям страны, впервые увиденной, но и взгляд на ее прошлое, на сохранившиеся следы ее истории. Историческая ее память ощущается писателем остро, он словно вживается в нее, убеждаясь, как богат и прекрасен европейский мир, и мы — его наследники, "наследники событий живой жизни многих столетий".

Многие страницы дневников — это записи о творчестве, о работе над произведениями. Приоткрыта дверь в писательскую лабораторию, обычно остающуюся недоступной читательскому взору.

Казакевич рано ушел из жизни, оставив нереализованные замыслы, задуманные, но не написанные или лишь частично написанные произведения. Дневники щедро знакомят с ними. Заготовки, наброски, наметки сюжетов, их «конспекты» позволяют догадываться, в каком направлении суждено было писателю развиваться.

Осуществление замысла эпопеи в нескольких книгах ("Новое время" "Новая земля") осознавалось писателем как решение новых для него задач. Возникает имя Л. Н. Толстого. Желание проникнуть в секреты писательского обаяния Льва Николаевича сочетается с наблюдением над тем, как происходит у него создание огромного самостоятельного мира. Аналогичную задачу ставил перед собой и Казакевич. Эпопея была задумана масштабно, должна была вместить разные исторические пласты с конца 20-х до начала 50-х годов, широкий круг лиц разных социальных слоев, исторических и вымышленных. Действие романа предполагалось развернуть на большой территории: в столице, Московской области, Ярославле, на Урале, Дальнем Востоке, часть повествования должна была быть перенесена в послевоенную Германию. Предполагалось отразить события

международной жизни.

В дневниках даны и общие очертания грандиозного замысла, и первоначальные наметки к романам. Наконец, судить о романе позволяют помещенные в записных книжках, отделанные набело главы начала первой книги эпопеи.

"Московская повесть" — это тоже прорыв за привычную тему "человек и война". В центре — трагическая судьба большого русского поэта, Марины Ивановны Цветаевой и ее семьи. Записей к повести меньше. Работа над ней была продвинута менее, чем работа над "Новой землей". Но основные очертания прояснены, как и идея, ради которой повесть была задумана.

Совсем немного записей о замысле "Мифов классической древности", однако и в этом случае речь должна идти о новых исканиях писателя. "Мифы…" определены как повесть, но повесть эта необычная, ока носит характер сказания, легенды, так что и по материалу, и по жанру явно отличается от предыдущих произведений. Главный герой — певец, и Казакевич знакомит читателя с его песнями. Прозаический текст должен был сочетаться в ней с поэтическим, для чего пришлось вспомнить опыт собственной довоенной работы над стихом.

Как видно из дневника, у Казакевича было задумано автобиографическое произведение, и он хотел назвать его "Моя жизнь". Интересно, хотя и не во всем бесспорно, писатель размышлял о том, какое принципиальное оправдание может иметь обращение к автобиографическим заметкам, этому, как он считал, "полуфабрикату искусства". Для себя откладывал подобную задачу на будущее — время и силы должны быть отданы сочинениям, которые уже созрели, настойчиво просились на бумагу, мучили его воображение. "Моя жизнь" к ним не относилась, не была первоочередной, могла подождать. Страницы дневников до некоторой степени можно рассматривать как заготовки к будущим автобиографическим заметкам, как их «полуфабрикат». "Капля морская состоит из той же материи и мыслит так же, как и океан". По автобиографии, исповеди можно судить о бурно развивающемся мире вокруг. Правда, "требуется немало воображения, чтоб по этой капле воссоздать огромную толщу океана". Воображения требуют и дневники Казакевича. Но они позволяют воссоздать и образ сложной переходной эпохи, и образ человека, ищущего способ ее осмыслить, сказать о ней правду.

Все тексты даются по автографам, дополненные текстологом слова воспроизводятся в квадратных скобках, авторские датировки сохраняются, редакционные даты заключены в угловые скобки, в угловые же скобки взяты отточия, обозначающие

сокращение текста.

Стр. 216…письмо от Л. Брик: сестре ее, Эльзе Триоле, и Арагону понравилась «Звезда», они переведут ее для журнала «Europe». — Брик Лиля Юрьевна (1891–1978), близкий друг В. Маяковского, в известном завещании поэта ("Всем") названа членом его семьи. Триоле Эльза Юрьевна (1896 1970) и ее муж Луи Арагон (1897–1982) — французские писатели и общественные деятели. «Звезда» Казакевича во французском переводе была напечатана в «Europe» (Париж) в 1949 г.

…пятую главу «Огаркова». — Речь идет о повести "Двое в степи".

…первые части "Весны в Европе". — Первоначальное название романа "Весна на Одере".

Стр. 217…колорит (…) свинемюндевский… — от старого немецкого названия гавани и морского курорта на балтийском побережье бывшей Пруссии.

Шлиссельбуржец Н. Морозов… — Морозов Николай Александрович (1854 1946), революционер, народоволец, находившийся в заключении в Шлиссельбургской крепости 21 год, известен также как ученый, занимавшийся, в частности, историей религии и христианства.

…в литературе XX века Галсуна, Банга и др. — Гамсун Кнут (1859 1952), норвежский писатель. Банг Герман (1857–1912), датский писатель, театральный деятель и критик.

Стр. 218…спиралями Бруно… — Речь идет об особом виде проволочного заграждения (военный термин).

Стр. 219…(чувство Кекушева)… — Кекушев — персонаж, в процессе работы исключенный из романа "Весна на Одере".

Стр. 220. "Крик о помощи"… — замысел повести не осуществлен.

…города, созданного французом… — Создание Одессы в 90-х годах XVIII в. связывают с именем герцога Ришелье, который в 1796 г. занял должность градоначальника. При нем Одесса стала большим благоустроенным городом, с 1805 г. — административным и торговым центром всей южной России.

Стр. 221…или Гракхов… — Братья Гракхи, Тиберий (162–133/132 до н. э.) и Гай (153–121 до н. э.), политические деятели Древнего Рима, народные трибуны, провели ряд важных государственных реформ.

…роман не закончен, а пьеса только начата, и две маленьких повести существуют только в голове. — Речь идет о романе "Весна на Одере", повестях "Крик о помощи" и "Человек, пришедший издалека" (впоследствии рассказ "При свете дня"). К пьесе

"Русские в Германии" был написан ряд сцен.

Стр. 222…о влиянии критики «Двоих»… — Повесть "Двое в степи" вызвала разноречивые отзывы, среди которых были и отрицательные, например, статья А. Марьямова в "Литературной газете" (1948, 10 июня), Б. Соловьева "Поощрение натурализма" (Новый мир, 1948, № 10), Т. Остапенко "Советский суд в кривом зеркале" (Социалистическая законность, 1948, № 12).

Стр. 224. Может быть, мой роман будут хвалить… — Имеется в виду "Весна на Одере".

Стр. 225…закончить «Колумба»… закончить «Моцарта»… — Трагедия в стихах о Колумбе ("Адмирал океана") и киносценарий о немецком композиторе В.-А. Моцарте — работы, начатые еще до Великой Отечественной войны.

Думать об эпопее. — Первое упоминание о новом замысле. Последующие записи отражают начало реальной работы над романом "Новая земля".

Делать заметки о колхозной деревне (имея в виду "Письма из колхоза" и др. рассказы). — Свое намерение писатель выполнял. Часть заметок, замыслы рассказов нашли свое место и в дневниках. О рассказе "Два председателя" см. с. 299 наст. тома.

Стр. 227…"Мы кузнецы, и дух наш молот". — Искаженная первая строчка самого популярного стихотворения (1906 г.) пролетарского поэта Шкулева Филиппа Степановича (1868–1930).

Стр. 234. "Четыре сердца"… — см. примеч. к рассказу "При свете дня" в наст. томе, с. 462.

Стр. 236. На вопрос Бориса Васильевича… — Токарев Б. В. в те годы секретарь райкома партии.

Стр. 237…каждая часть романа… — Речь идет о многотомной эпопее "Новая земля".

Стр. 246…один из крупнейших драматургов англ[ийского] Возрождения Грин. — Грина Роберта (1558–1592) относили к предшественникам В. Шекспира.

Стр. 250…да еще в "Р. в Г."… — "Русские в Германии" неоконченная пьеса Казакевича.

Ненавидит он только гебертистов… — Гебертисты — самая левая часть якобинцев во Французской буржуазной революции конца XVIII в.

Стр. 250–251…может кончиться только девятым термидора… — По республиканскому календарю 9 термидора соответствует времени от 19–20 июля до 17–18 августа 1794 г. 27 июля этого года во Франции произошел контрреволюционный переворот, положивший конец якобинской диктатуре.

…прочитать Олара. — Олар Альфонс (1849–1928), французский историк либерального направления, автор

исследования "Политическая история французской революции".

Стр. 255…как буриданов осел… — Выражение, ставшее крылатым, приписывается французскому философу-схоласту XIV в. Жану Буридану, который считал примером отсутствия свободы воли осла, находящегося на равном расстоянии перед двумя одинаковыми охапками сена. Не зная, с какой начать, он должен умереть с голоду.

Стр. 261…печатать поэму Твардовского… — Речь идет о поэме "За далью даль", она вышла в 1954 г. в издательстве «Правда».

Стр. 262…написать очерк о Венгрии. — Отрывки печатались в журнале "Новое время" (1954, № 27), газете "Красная звезда" (1954, 17–19, 23 июля) под названием "Глазами друга". Полностью: "Венгерские встречи. Путевые заметки". Воениздат. М., 1955.

Стр. 265…(читая Костомарова). — Костомаров Николай Иванович (1817–1885), историк, этнограф, писатель, автор книг по истории народных движений, по русской и украинской истории, трехтомной "Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" и др.

Стр. 268…"Дон-Кихота" Ибера… — Ибер Жак (1890–1962), французский композитор.

Стр. 273…ни Филипп Орлеанский, предавший свое сословие… Филипп Орлеанский (1674–1723), регент Франции (1715–1723) при малолетнем Людовике XV, сначала восстановил права парламента, а затем отменил сделанные ранее уступки ему, учредил советы, в которых преобладала придворная знать, затем их ликвидировал.

Стр. 274. Кьяпп им всем роздал темно-серые пальто. — В 30-х годах XVIII в. начальник парижской полиции.

Стр. 275…не мы украли Кутепова… — Кутепов Александр Павлович (1882–1930), деятель российской контрреволюции, генерал-белогвардеец, связанный с Деникиным и Врангелем. После разгрома Врангеля эмигрант. 26 января 1930 г. исчез из Парижа при неясных обстоятельствах.

…Читали в «Правде» Ермилова против вас и Сельвинского? — Имеется в виду реальный факт выступления В. Ермилова в «Правде» 9 марта 1930 г. о «Бане» В. Маяковского и «Пушторге» И. Сельвинского.

Стр. 276–277. Здесь бедствовала одинокая Марина Цветаева… О ней я еще напишу. — Исполнением этого намерения должна была стать "Московская повесть", посвященная судьбе семьи Марины Ивановны Цветаевой (1892 1941).

Стр. 279…"Западня" или "В погоне за утерянным

временем". — Речь идет о романе Золя Эмиля (1840–1902) и о цикле романов "В поисках утраченного времени" Пруста Марселя (1871–1922).

Стр. 293. Итак, Магнитогорск. — Дневник содержит множество магнитогорских записей (здесь они даны в сокращении). Осуществляя свое намерение "жить с народом, среди народа", Казакевич почти полгода прожил в Магнитогорске, на квартире у доменщика Георгия Ивановича Герасимова. Общение с ним, дружба, позднее переписка дали писателю очень много для понимания эпохи строительства Магнитогорска (чертами этого человека он хотел наделить одного из своих героев). Дневник отражает контакты писателя и с другими старожилами Магнитогорска, чьи судьбы были характерны для 30-х годов. В письме М. Алигер 10 марта 1958 г. Казакевич сообщал: "Я каждый божий день встречаюсь с одним-двумя интересными людьми, а в особенно удачный — с тремя. Кроме того, присутствую на партийных активах и рабочих собраниях, и это тоже бывает интересно". Он понимал, что избранная им методика не сулит легкого и короткого пути к правде, но считал счастливой для себя возможностью погрузиться в эпоху первой пятилетки, соприкоснуться с ее участниками, увидеть и почувствовать тех, кто ее создал. "Ведь дело не в том, чтобы просто рассказать о пятилетке, колхозах, войне, — писал он о предстоящих трудностях. — Задача писателя — показать все это через судьбы людей, через глубины психологии и дет гили быта, кипенье страстей и столкновение характеров" (В мире книг, 1962, № 4). Мы не знаем, как Казакевич смог бы использовать записи для «магнитогорской» части эпопеи, но даже в необработанном виде они имеют самостоятельную ценность, будучи своеобразной историей Магнитостроя в фактах и биографиях.

Стр. 296…побеседовать с Брутом, Катоном Утическим или Долабеллой… — Брут Марк Юний (85–42 до н. э.), один из руководителей заговора против Юлия Цезаря. Противником Цезаря был и Катон Младший (95 46 до. н. э.), покончивший самоубийством в Утике (отсюда прозвище "Утический"). Публий Корнелий Долабелла (ок. 69–43 до н. э.), римский политический деятель, народный трибун, претор, в гражданской войне 49 45 гг. сторонник Юлия Цезаря.

…и Бубнову. — Бубнов Андрей Сергеевич (1884–1940), советский государственный и партийный деятель. С 1924 г. — начальник Политуправления РККА, с 1925 — секретарь ЦК, член ВЦИК и ЦИК СССР.

Стр. 311. Статья о Менерте… — Была написана только часть статьи-ответа Менерту, эмигранту, литератору, публично

горевавшему о своих потерянных в России родовых имениях.

Окончить "Михаила Калганова"… — Повесть осталась неоконченной.

Стр. 318. Повесть. Русская повесть. — Первое упоминание о "Московской повести", своеобразный конспект человеческой судьбы с ее главными трагическими поворотами. К тому времени Казакевич был уже хорошо знаком с обстоятельствами жизни М. И. Цветаевой, подружился с ее дочерью Ариадной Сергеевной Эфрон, помог ей подготовить первое посмертное издание сочинений М. И. Цветаевой (об этом пишет А. С. Эфрон — см. сб. "Воспоминания о Э. Казакевиче").

Волошины. — С Волошиным Максимилианом Александровичем (1877–1932) Цветаева была дружна с 1910 г., а летом 1911 г. подружилась и с его матерью, Еленой Оттобальдовной, когда гостила в их доме в Коктебеле. "М. Волошину, — писала она, — я обязана первым сознанием себя как поэта и целым рядом блаженных лет (от лето) в его прекрасном суровом Коктебеле" (цит. по комментариям А. Саакянц: Ц в е т а е в а М. Сочинения в 2-х томах, т. 2. М., 1980, с. 505). Там же "Живое о живом", воспоминания о Волошине, которые Цветаева начала писать в 1932 г., сразу после того, как узнала о смерти поэта.

Вражда Брюсова. — О недобрых взаимоотношениях В. Я. Брюсова и Цветаевой можно судить по статье Брюсова "Вчера, сегодня и завтра русской поэзии" (Печать и революция, 1922, № 7) и записках М. Цветаевой (Воля России, 1925, IX–XI) "Герой труда". Отдавая свои симпатии пролетарской поэзии, Брюсов нелестно отозвался о М. Цветаевой и ее поэзии, творчестве, причисляя к тем поэтам, которые не дали "ничего самостоятельного ни в содержании, ни по форме". Но и Цветаева критически относилась к Брюсову, в частности, к его положению мэтра в поэзии, и стихи Брюсова казались ей холодными, рациональными, слишком академическими.

Стр. 319. Рейснер пытается удержать… — Рейснер Лариса Михайловна (1895–1926), русская советская писательница, участница гражданской войны.

Новые вехи. — Имеется в виду сменовеховское движение среди эмигрантов (по названию сб. 1921 г. "Смена вех"), допускающее примирение и сотрудничество с Советской властью, в расчете на ее перерождение в условиях НЭПа.

Пасионария. Диас. Л. Кабальеро. — Пасионария — псевдоним Ибаррури Долорес (род. в 1895 г.), деятеля испанского и международного коммунистического движения, в 1942–1960 гг. генеральный секретарь, с 1960 г. — председатель КП Испании.

Диас Хосе (1895–1942) — деятель испанского и международного коммунистического движения, генеральный секретарь КП Испанки с 1932 г., один из организаторов революционной войны против фашистских мятежников и итало-германских интервентов. Кабальеро Ларго (1869–1946) — деятель испанского рабочего движения, в 1932 1935 гг. — председатель социалистической рабочей партии, в 1936 1937 гг. — премьер-министр правительства Народного фронта, затем перешел на позиции антикоммунизма, был отстранен от руководства ИСРП. В январе 1939 г. эмигрировал во Францию, в 1943–1945 гг. находился в немецком концлагере, освобожден Советской Армией.

Сын. Его ненависть, его ужас, его детская жестокость. — Георгий Эфрон родился в 1925 г. в Чехословакии. В СССР вернулся вместе с матерью. О нем и его взаимоотношениях с матерью см. «Воспоминания» Анастасии Цветаевой (главу — "Последнее о Марине").

…в истории с «Живаго»… — Рукопись романа Пастернака Бориса Леонидовича (1890–1960) "Доктор Живаго", отвергнутая журналом "Новый мир" по идейным соображениям, была напечатана за рубежом без согласия автора.

Стр. 320. "До крови кроил наш век-закройщик" — строка из поэмы Б. Пастернака «Спекторский».

…Николае Ставрогине и полковнике Шабере, в Таис и деле Джорндайс Джорндайс… — Николай Ставрогин — один из героев романа Ф. Достоевского «Бесы». Полковник Шабер — герой одноименного романа О. Бальзака. Таис героиня одноименного романа А. Франса. Тяжба Джарндис против Джарндис главное звено в сюжете романа Ч. Диккенса "Холодный дом".

Стр. 323. Владимир Соловьев — Соловьев Владимир Сергеевич (1853 1900), философ-мистик, поэт-символист.

Сергей Аполлонович Скирмунт (1863–1932) — в дореволюционные годы книгоиздатель, владелец издательства «Труд».

Стр. 327. Тетка Марфа… — о ней Казакевич планировал написать рассказ во втором полугодии 1960 г., имея в виду случай, описанный в дневнике. Рассказ не был написан.

Стр. 328…более властной, чем Мария-Антуанетта и даже Мария-Терезия. — Мария Антуанетта (1755–1793), французская королева, жена Людовика XVI, организовывала контрреволюционные заговоры против революционной власти. По приговору Революционного трибунала была арестована и казнена. Мария Терезия (1717–1780), императрица, австрийская эрцгерцогиня с 1740 г.

Стр. 329. 11.4.60, Италия. — На 11–23 апреля 1960 г. падает

первая поездка Казакевича в Италию в составе советской делегации на Ассамблею Всеевропейского сообщества писателей вместе с А. Твардовским, А. Сурковым, В. Пановой и др.

Стр. 333…"Лоллобриджида!" — Джина Лоллобриджида (род. в 1927 г.) — популярная актриса итальянского кино.

Стр. 338…"Поразительное отсутствие доброты". — По-видимому, речь идет о "Московской повести", в которой эта тема должна была стать основной.

Стр. 341. Сегодня Ляличка… — младшая дочь Казакевича, Лариса.

…чтобы Галя выздоровела. — Галина Осиповна, жена писателя.

Стр. 342. "Русские в Италии" — повесть в 7 новеллах. — Не была написана.

Стр. 350…кровь Серго и Орахелашвили, Картвелашвили и Лакобы, Ломинадзе (…), Паоло Яшвили и Тициана Табидзе… — Серго — партийная кличка Орджоникидзе Григория Константиновича (1886–1937) — советского партийного и государственного деятеля, с 1921 г. члена ЦК ВКП(б), с 1930 г. члена Политбюро ЦК ВКП(б), с 1932 г. наркома тяжелой промышленности. Орахелашвили Иван Дмитриевич (1881–1937) — советский государственный и партийный деятель, член ВКП(б) с 1903 г. Член ЦК ВКП(б) в 1927–1934 гг. С 1932 г. зам. директора ИМЭЛ. Картвелишвили Лаврентий Иосифович (1890–1938) — советский партийный деятель, член партии с 1910 г. Член ЦК ВКП(б) с 1934 г. Лакоба Нестор Аполлонович (1893–1936) советский государственный и партийный деятель, член ВКП(б) с 1912 г. С 1922 г. председатель СНК, с 1930-го — председатель ЦИК Абхазской АССР, член ЦИК СССР. Ломинадзе Виссарион Виссарионович (1897–1935) — советский партийный деятель, член ВКП(б) с 1917 г., с 1930-го — 1-й секретарь Заккрайкома ВКП(б), член ЦК ВКП(б) с 1930 г. Яшвили Паоло Джибраелович (1895–1937) — грузинский советский поэт. Табидзе Тициан Юстинович (1895–1937) — грузинский советский поэт.

Стр. 355. Новая земля. Картины советской жизни. — Начало первой книги романа, не было завершено. Отрывки из романа печатались посмертно: "У "всесоюзного старосты" (Известия, 1963, 24 февраля); "Новая земля". Отрывок из романа" (Литературная газета, 1963, 28 декабря) — публикация подготовлена Е. Пельсон; "Новая земля". Картины советской жизни. Роман. Кн. 1-я. "Столица и деревня", ч. I (Урал, 1967, № 3) — публикация и вступительная статья Н. Эйдиновой.

Стр. 363…после шахтинского процесса вредителей… —

Имеется в виду проходивший в Москве в мае — июле 1928 г. судебный процесс над специалистами промышленного Донбасса. Они обвинялись во вредительстве в пользу бывших владельцев донецких шахт.

Стр. 371…во время конфликта на КВЖД. — В 1929 г. китайские милитаристы совершили нападение на китайско-восточную железную дорогу, которая была построена еще в 1897–1903 гг. и по соглашению от 31 мая 1924 г. находилась под совместным управлением СССР и Китая. Части Красной Армии отбили наступление и восстановили границы СССР.

Стр. 380…времена Апокалипсиса… (еванг.) — будущие судьбы мира и человечества в изложении Апокалипсиса, одной из книг Нового завета, древнейшей из дошедших до нас христианских литературных произведений.

…как Иоанн Златоуст на Патмосе… — по канонической версии легенды, видение на Патмосе явилось Иоанну Богослову, любимому ученику Христа, апостолу, евангелисту, сосланному на полупустынный остров за проповедь христианского вероучения. Впрочем, существовала и другая, неканоническая версия, связывающая с Апокалипсисом имя Иоанна Златоуста. Казакевич мог знать ее по книге Н. А. Морозова "Апокалипсис с астрономической точки зрения. Откровение в грозе и буре. История возникновения Апокалипсиса" (М., 1907).

Стр. 392…о временах Диоклетиана и Юлиана Отступника. — Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (243 — между 313 и 316), римский император, известный жестокими гонениями против христиан. Юлиан Флавий Клавдий (331–363), римский император, Отступником назван христианским духовенством за то, что объявил себя сторонником языческой религии, восстановил языческие храмы и издал ряд законов против христиан и христианства.

Стр. 441. Июнь 1909. — Здесь и далее речь идет о местах, связанных с пребыванием В. И. Ленина в Париже. Частично использовано в очерке "Ленин в Париже".

Стр. 443. Пьеса "Измена родине". — Нереализованный замысел.

Л. Гладковская